

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

В НОМЕРЕ:

ДМИТРИЙ БАЙДАК

ТАТЬЯНА БЕК

ЕКАТЕРИНА БЕРЕЗОВСКАЯ

ИЛЬЯ БЕРКОВИЧ

МАРИНА БОРОДИЦКАЯ

МИХАИЛ БЯЛЬСКИЙ

БОРИС БОРУХОВ

УРИ ЦВИ ГРИНБЕРГ

ТАМАРА ЖИРМУНСКАЯ

МИХАИЛ КИЦИС

ГАЛИНА КЛИМОВА

МИХАИЛ КНИЖНИК

АРКАДИЙ Ф. КОГАН

ХАВА КОРЗАКОВА

ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ

ВЛАДИМИР ЛАНЦБЕРГ

АРОН ЛИПОВЕЦКИЙ

МАРИЯ МАКАРОВА

ФЕДОР МАКАРОВ

ДАВИД МАРКИШ

СВЕТЛАНА МЕНДЕЛЕВА

ДАН ОРЬЯН

ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА

ВИКТОРИЯ РАЙХЕР

ЭДУАРД РОЗЕНШТЕЙН

ИРИНА СКУРИДИНА

ДМИРИЙ СУХАРЕВ

АЛЕКС ТАРН

РАХЕЛЬ ТОРПУСМАН

МИХАИЛ ФЕЛЬДМАН

СВЕТЛАНА ШЕНБРУНН

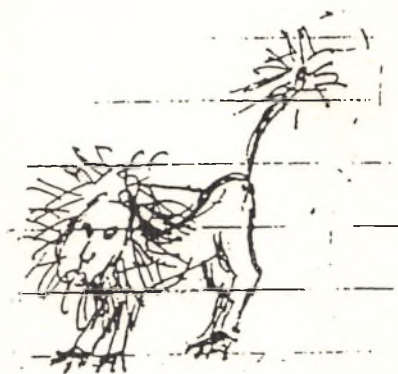
МАРИЯ ФАЛИКМАН

ВЕЛВЛ ЧЕРНИН

МИРИ ЯНИКОВА

И ДРУГИЕ

N19



JERUSALEM LITERARY REVIEW

ירושלים ספרותית

2005 '19

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ



И Е Р У С А Л И М

⑪ 2005

Иерусалимский журнал, № 19, 2005

Журнал современной израильской литературы на русском языке

Виртуальный вариант в Интернете: www.antho.net/jr/

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение «Иерусалимская антология»

Редколлегия: Игорь Бяльский (главный редактор),

Елена Игнатова, Юлий Ким, Зинаида Палванова, Дина Рубина,

Роман Тименчик, Велвл Чернин, Светлана Шенбрунн

Ответственный секретарь: Леонид Левинзон

Художник: Сусанна Черноброва

Веб-дизайн: Карина Пастернак

Редактура и корректура: Бина Смехова, Любовь Лейбзон

Организационное и техническое обеспечение номера: Ольга Аксютина,

Михаил Бяльский, Борис Бронштейн, Даниил Бурштейн,

Виктор Гопман, Григорий Гордин, Светлана Мойбер, Илан Рисс

Издательство «СКОПУС»

Типография «ЦУР-ОТ»



При поддержке

Совета по литературе и искусству

при Управлении национальной лотереи

«Мифаль а-паис»;

Общественного совета

при Фонде «Апотропус» Министерства юстиции

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2004. All rights reserved

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: Jerusalem Review, P. O. Box 32297 Jerusalem 91322

E-mail: review@antho.net

Тел. (972-2) 6720025; 6434005; 6432962

*Мы стараемся отвечать на письма, присылаемые по электронной почте,
но, к сожалению, не можем взять на себя обязательства
по рецензированию и возвращению рукописей*

Представители «Иерусалимского журнала» в других странах:

Москва –

Игорь Грызлов, 5507747; igorgr@dol.ru

Виктор Инденбаум, 9157178; sifriya@mail.ru

Новосибирск –

Владимир Болотин, 329944; bolotin55@mail.ru

Нью-Йорк –

Андрей Грицман, 1-201-2250090; agritsman@msn.com

Рита Бальмина, 619-4606179; rita_balmin@yahoo.com

Чикаго –

Александр Блинштейн, 1-847-6761134; blindotcom@yahoo.com

Ефим Котляр, 1-847-5819304; YefimK@aol.com

Бостон –

Татьяна Гольдмахер, 508-8819355; tgoldmakher@hotmail.com

Будапешт –

Жужа Хетени, 361-3866277; hetenyiz@ludens.elte.hu

Париж –

Владимир Смехов, vladimir.smekhov@free.fr

Торонто –

Илья Липес, lipes@idirect.com

В Израиле:

Арад – Ольга Кравченко, 08-9971014. **Ариэль** – Самуил Кушниров, 03-9365452

Афула – Любовь Серегина, 04-6492095. **Герцлия** – Леонид Шейнкман, 09-9502681

Кфар-Саба – Виталий Кабаков, 09-7673293. **Лод** – Михаил Гиль, 08-9201291

Реховот – Марк Павис, 08-9353758. **Хайфа** – Михаил Басин, 04-8213657

Ури Цви Гринберг

УЖАС ПРОРОЧЕСТВА

ОТЦЫ И ДЕТИ

Чтобы я жил под черепичной крышей, в домике из кирпичей;
Чтобы заслужил благосклонность и Господа и людей;
Чтобы женился и родил сыновей и дочерей;
Чтобы труды мои были успешны; чтобы жил я,
не зная скорбей;

Чтобы днем бодрствовал, как все добрые люди, а ночью спал;
Чтобы на *пиры зубоскалов* следом за друзьями не бежал;
Чтобы был богобоязненным; чтобы путь мой лежал
Между уделом моих трудов и домом молитвы,
вдали от кружал —

Так хотели мои родители. Ведь все родители хотят одного:
Чтобы мы не отрывались от дома в поисках бог знает чего;
Чтобы не пытались рвать цветы из самой гущи шипов,
Чтобы не лезли за светлячками в дремучие чащи
чужих лесов,
Откуда выходят лишь наутро, с багровыми глазами,
сбившись с пути,
Откуда дорогу к лужайкам детства уже не найти;
Чтобы мы держались за сушу, а не плыли по морям;
Чтобы наша жизнь текла за толстыми стенами,
куда не доносятся взрывы, и шум, и гам...

Чтобы мы любили только ту,
чей палец обручен нашим кольцом,
Мать тех детей, которым мы приходимся отцом;
Бог посылает нам пищу вне дома — но она ее приносит в дом,
И голод нам не страшен ее заботами, ее трудом...

Чтобы нас не увлек, не дай Бог, голос или взгляд в чужом окне,
Чтобы мы жили за оградой, от соблазнов в стороне;
И если гора на пути попадется, чтобы мы и ее обошли стороной.

* В этом разделе мы публикуем переводы и стихи лауреатов Второго поэтического фестиваля, который был организован Домом наследия Ури Цви Гринберга. Переводы и стихи других лауреатов Фестиваля будут опубликованы в следующих номерах журнала.

Но нас манит – неодолимо – сладкий голос, звучащий за окном,
И мы идем за соблазном, нежным запахом,
звonom, светлячком...

Ибо велико поле скуки, и нет ему конца –
Кто из нас тогда помнит заветы отца, и матери, и Творца?

Но лишь немногие из нас довольны могут быть собой –
Те, кто, презрев ограды и низины,
шли от одной вершины к другой;

Бог избрал их и дал им великую цель,
В их жилах кровь поет!
А мы – хоть и обошли запреты, и уплыли за тридевять земель,
Но и горы, и вершины обошли мы стороной,
И наша жизнь – сплошной обход!

1948

ИЗ «ПЕСЕН СИОНА»

Сион, меня вышвырнули твои евреи,
Как выстрелом в спину, плюнув мне вслед,
И с паспортом палестинским, со шрифтом латинским,
Я попал в чужой город – как на тот свет.

Бедные мои братья – евреи изгнания!
Они тебя видели только во сне,
Для них ты надежда и утешенье...
А я тебя видел. Мне больно вдвойне.

При мысли об улицах Тель-Авива
Мне кровь заливает глаза каждый день:
Там лизут мороженое лениво
Тысячи потных парней и девок –
В окружении моря и арабских деревень!

Если в город ворвутся окрестные банды,
Некому будет их задержать:
Все так и будут сидеть развалившись,
Жрать или петь в домах и на крышах,
Да на лавочках мороженое лизать!

И всё будет как в страшной арабской сказке:
Ножи, и дубинки, и черные маски,
И винтовки, и бомбы, и кровь потоком,
И дай Бог мне оказаться лжепророком!

29.9.1934

Перевела с иврита Рахель Торпусман

УЖАС ПРОРОЧЕСТВА

Еще не было здесь облаков, еще солнце палило,
и сравнились разумом люди с детьми, что грудь сосали,
и тогда мне было пророчество о великой печали:
тучи над Иерусалимом!

И поэты еще слагали стихи об оленях
и о гроздьях звезд в виноградниках поднебесных,
ну а мне пророчество было о днях гонений,
когда мы обнаружим, что воды несут нас, как листья, в бездну.

Так откуда же это знание мне досталось?
Если чья-то душа разорвана в трауре и кровоточит,
в ней тогда открывается этого знания источник.
И пророчество билось во мне, и ключом прорывалось.

И сухие губы издали вопль того, кто погублен,
и того, кто остался в живых единственным после боя,
и чье сердце упало внутрь раскаленным углем,
что останется тлеть, даже если все реки его омоют.

И когда спасенья от жажды искал я в колодцах братьев,
зачерпнули в одном из ключей, и затем повернулись
они к морю; тогда луна на небо взобралась,
золотые блики с нее упали, волны коснулись.

Вот то горе, несчастье, что мне в виденье предстало!
Вот несут на носилках мертвых неисчислимых!
Есть ли такая беда, что еще не пришла, не настала,
не об этом вопил ли я в уши Иерусалима?

Вот и беженцев лежбище – будто грибное царство,
на краю селений – прах плодов непригодных,
вот позор молодых, что вдруг превратились в старцев,
тени тех сухих тель-авивских деревьев бесплодных.

Нет спасенья. Одна безысходность вокруг и изгнание.
Пусть изгнание теперь не на Западе, а в Сионе,
но в Европе нас донимали лишь христиане,
а отсюда еще ислам вместе с ними гонит.

И смотрите – уже поэты стихи слагают
о несчастье и горе; их песни – чернила, а слезы – как воды,
что хотели сказать – умирает в устах, на губах застывает,
с головы и до ног покрывают их нечистоты.

О, послушайте их! Они лепечут, как дети!
Со вчерашнего дня раздается напев их небесный!
Свои рифмы пустые плетут они, будто сети,
расправляя их над иерусалимскою бездной!

Как же сладко вам спится! Напевы звучат все нежнее,
колыбельные их безыскусны и неодолимы.
Но вчера здесь другой был поэт, чьи напевы сложнее,
он единственным был, кто взывал в воротах Иерусалима.

Ночь... И где же те виноградники под небесами?
Вот затихли обманутые в колыбели, поднялись к вершинам.
Ну а я здесь стою, по веленью закона, у вас пред глазами,
и осколки пророчества моего, как осколки кувшина.

*Вы все – поколение мертвых... Давно вы мертвы,
пусть даже нескоро в могилу уляжетесь вы.*

31 марта 1930

ИЗ ЦИКЛА «ЧЕРНАЯ ХРОНИКА»

Я утром проснулся – а всюду кровь.
Небо – в крови, и солнце – как кровь.
Кровь на одежде, на обуви кровь.
В Киеве будто проснулся сегодня:
в воздухе кровь и в глазах преисподняя.

«Кровь!» – возглашает колокол громко,
будто бы в Киеве в дни погрома.

На Русском подворье евреев скопление –
будто бы киевский сброд в исступлении.

Кто здесь погромщик? Где здесь гонимый?
Киев смешался с Иерусалимом,
всюду проклятие, нет Откровения.

Как киевский сброд, кипятится еврей,
он возбужден, он взывает: эй-эй,
скованы братья железом цепей!

Иерусалим – будто Киев сегодня:
В воздухе кровь и в глазах преисподняя.

Варшава–Тель-Авив, 1933-1934

Перевела с иврита Мири Яникова

Ури Цви Гринберг

*МАНИФЕСТ**

Мост, четыре стены и потолок для бездомных, поэтов-одиночек, в их иноземном скитании по различным центрам еврейской народной экстерриториальности. Литературная расплывчатость.

Я не имею в виду таланты Поэтов грядущего. И не их «пригодные к печати» вещи. Сейчас не время для литературных опытов. У целого поколения кровь идет горлом. Его рвет желчью. Целое поколение изранено, мчится куда-то или лежит в конвульсиях (муки победителей или агонизирующих). Потрясение в глубинах. Дым на поверхностях. А таланты – это искры. В пламени они незаметны. Они заключены в собственные узкие рамки индивидуальности. Но не те индивидуальности, которые в штурме и натиске духовно выросли и идейно приросли к всеобщему: человек-ты-миллионен...

Здесь провозглашается миллионноглавый и миллионносердый индивидуализм: героический человек-рана, который стоит весь, какой он есть, гигантский, как мир, весь, как распахнутый глаз, весь, как вслушивающееся ухо, весь разверзнутый, как удивленный рот. Вливаясь пульсом в струящуюся жизнь, всей кровью трехсот шестидесяти пяти жил, все глубже, глубже...

Индивидуальности этого рода являются самым ярким выражением конвульсий. Их тела содрогаются и несут на обнаженных своих плечах темную боль земного шара. Жгучее мировоззрение, клубок идей... Человек, мир – во всех воплощениях столетия...

И такие у нас есть. Поэты целостные, неделимые, с тяжелыми раскаленными головами и с пронизанными ужасом ощущениями расстояний. Люди-поэты, высасывающие из собственных костей твердое, как скала, выражение скрытого глубоко-глубоко и собранного по пригоршням сокровища дней и ночей, переживаний всех дорог мира.

...Все двери распахнуты во все четыре стороны света, где тянутся вереницей вечные пилигримы, сыны непокоя, светлого познания вселенной-всечеловека. Альбатросы младоеврейской

* В оригинале – «Прокламирung». Обращение к противникам «новой поэзии». Манифест «еврейских экспрессионистов». Опубликовано в 1922 году в Варшаве в первом номере журнала «Альбатрос».

Девятнадцатый выпуск «ИЖ» составили, в основном, произведения так называемых «молодых авторов», точнее говоря – поэтов и прозаиков, чей путь в «большую литературу» начался сравнительно недавно. Редколлегия посчитала уместным опубликовать именно в этом номере «Манифест» и прозаические миниатюры, которые будущий национальный израильский поэт У. Ц. Гринберг написал в довольно молодом, без кавычек, возрасте.

поэзии, духовная пища: собственная плоть, жилы, нервы. Напиток в кубках их собственных черепов: пульсирующая кровь. И черный субботний хлеб – наши хлеба приношения: страдание. ...Чего еще не хватает в царстве святой бедности? Нас – поющих на ходу божьих бедняков. Альбатросов. Поэтов...

Благословение нашим печальным матерям, выносившим нас для этого мира и для этого поколения! Хотя проклятие этому миру и этому поколению прямо в похожую на раскрытый рот бесконечность, чей язык обжигает жаркий, как Сахара, крестный путь: Эльдорадо, нирвана.

* * *

Обновление. Перелом. Революция духа. Возвышение – и еще. Конечно. Так-то оно. Так у них, так у нас. Пересмотрены все литературы в их классической отсталости. Через идиллическую мечтательность и элегическое умиротворение поэзией пролетел вихрь: «Твори!» Кузнечиком застрекотал разверзнутый колосс: человек, миллионноглавый (согласно Грошу, «застрекотал, как машина» – времена техники!). Судьба всех книг – это судьба готических храмов и римских башен: застывшие минувшие. Страшно взглянуть. Дороги проходят мимо них. Мир и красное столетие стоят выше в гору. Оптимисты вставляют в глаз монокль, пытаются интуитивно наколдовать (пока что) раскаленный кусок новорожденной луны где-нибудь на краю горизонта. Пока еще закат, и мир тащит красную скрипящую колесницу кровотока столетия к закату. Под гору, с гниющими клубками, вековой пережиток...

Так-то оно. Хотим мы или нет. Мы стоим такими, как мы есть, с открытыми ранами, с вытянутыми жилами и с вывернутыми суставами, после оваций и криков: «Ура!», после газовых атак, после приступов тошноты, после наркотического опьянения: омерзение. И закатная пена лежит на губах.

Поэтому грозное в стихе. Поэтому хаотичное в картине. Поэтому вопль крови.

Грозно. Хаотично. Обливаясь кровью. Поэтому закат. В наших мировых тюрьмах выросла духовная пища для поколения потерянных, и черный субботний хлеб – наши хлеба предложения. Поколение, которое правит красную третью трапезу, в сумерках черной субботы мира, в изножье мира прошлого. За спинами – черные столбы крестов. Такие напевы должны распеваться. Грозно. Хаотично. Обливаясь кровью. ...

Может быть, стих станет иным после рождения новой луны, и слава будет покоиться над альбатросовыми головами поэтов-бунтарей. Но пока мы наги. Расхристанны. Растрепаны. Евангелие ужаса и позора из жил и костей беспокойного поколения, выросшего из первобытного хаоса, стоящего у крестного пути Эльдорадо-нирваны.

Перевел с идиша Велвл Чернин

Ури Цви Тринберг
ИЗ ПРОЗЫ 1918 ГОДА

ЛЕГЕНДА НАШИХ ДНЕЙ*

...море у берегов Яффы еще вчера ночью словно кипело. Можно было подумать: море хочет затопить страну и руины. Но когда вошла утренняя звезда, море вернулось в свои берега. Ангелы больше не возносили песнь. Среди руин завывали первые шакалы. И в полном радости пространстве, на самых высоких башнях закачались самые тяжелые колокола:

– глин-глон... глин-глон...

Последняя подвода с пурпурным балдахином вернулась из Иерусалима, тяжело нагруженная лулавами и саронскими розами. Гордое тело запряженного пленного иудея под колесами клонилось к земле и скрытно, в шуме сумеречных напевов родился Мессия.

Мессия, душа Избавления, скитался из страны в страну, шел от поколения к поколению и превратился в человека. Но народ считал своего Мессию ложным. Каждый узнавал в нем только человека: сына человеческого. А что же такое Мессия? Кем ему быть?

А молитва – это молитва... Народ продолжал, не осознавая этого ясно, молить о приходе Мессии: пусть он придет, пусть он придет...

И настоящая тоска затерялась в бездне молитвы. Молитва высосала костный мозг и кровь. Остались мертвые буквы на пергаменте и холодные слова на устах мертвецов.

И были там и тут немногие знавшие, что Мессия – это лишь судьба народа, и они молчали, нося тайну в кровоточащем сердце и скрипя зубами где-нибудь в уголке.

Но гораздо больше было тех, кто говорил: Мессия – это тот чудесный печальный образ, который сидит укутанный и скованный цепями у ворот Рима. Тысячи рассветов и закатов разгораются и отгорают, а его раны все кровоточат, мы питаемся этой кровью и ею живем среди народов. А тот, кто уединяется, удаляется от людей и суеты среди бела дня, слышит голос, возносящийся к небу:

– Когда придет время Избавления?

А позади, в затхлых закутках стоит согбенный народ и просит: Пошли нам Мессию, Бог! А он, Мессия, гневно мечется тогда в цепях у ворот Рима. Немногие избранные слышат их звон.

* В оригинале – «Ди легенде фун гойве». Впервые опубликовано в газете «Тогблат» (Львов, 18 октября 1918 года).

...Тысячи рассветов, тысячи закатов... Бог-судья заставил содрогаться основы мира и уронил большую слезу в собрание вод. Вскипели все моря.

И он сказал так:

– Грешны мои творения. Поэтому я очищу их в моей собственной крови...

И так стало.

И Бог-судья снова стал Богом милосердия. Мир перевел дыхание. А Бог поблагодарил своего Мессию и сказал так:

– Я очистил души всех народов, но твой народ оказался единственным, потерявшимся в молитвах и в слепой вере. Твои собственные собратья не разорвали твоих цепей, поэтому я посылаю других, чтобы освободить тебя

И так стало:

Море у берегов Яффы разбушевалось и вознесло свой напев в пенящихся столпах к нему. Светлая, как во сне, и прекрасная, как сон, лежит страна былого. Ангелы разбрызгивают золото над руинами. Древний Ливан будит свои кедры:

– Разве вы не слышите, что идет Мессия?

Гора перекликается с горою:

– На наших склонах мы слышим шаги Мессии.

Тучные маслины говорят сами себе:

– Мы снова будем отдавать по капле масло в золотые кувшинчики...

Но когда солнце садится на западе и святой багрянец тлеет в глубинах Кинерета – смолкает все. На вершину горы Скопус поднимается в свете заката высокая мужская фигура, лицо ее обращено к Западу, руки раскинуты на юг и на север:

– Где тот живой народ, который просил об Избавлении?!

И голос теряется в глубокой голубизне ночи. Голос Мессии, не встретившего народа. Шакалы воют в руинах. Некто, вроде Святой, да будет он благословен, воркует как голубь в облаках. Немногие избранные слышат это воркование и заламывают руки:

– Горе! Горе!

В ДОЛИНЕ ПЛАЧА**

Все светильники гаснут. Я ощущаю в своей душе глубочайшие сумерки. Настоящего нет. Даль перед глазами – это лишь фильм, и я вижу картины и снова картины – позади спин, далеко-далеко лежит страна грез. Мимо текут темные воды Вавилона. Плакучие ивы на берегах стоят, согнувшись, по колено в воде. Опечаленные птицы жалуются в листве, а на ветвях ви-

** В оригинале – «Ин тол фун гевейн». Впервые опубликовано в газете «Тогблат» (Львов, 25 октября 1918 года).

сят бывшие арфы: поскольку пальцы обкусаны, лишь ветер перебирает их струны, и когда звучат жалостные песни ветра, склоняются головы тех, угнанных в Изгнание, и из их глаз падают слезы.

Картина исчезла. Я поднимаю головы из глубочайшей погруженности в себя и пою самому себе эти жалостные песни, услышанные в моем воображении, и при этом смеюсь громко и светло.

Тогда я слышу вдруг гром гласа небесного:

– Ты смеешься? Сын человеческий!

– Да! – отвечаю я. – Смеюсь! Вавилонское Изгнание принесло Избавление, арфы снова были повешены на лозах сладчайших виноградников Эй-Геди.

Глас небесный замолкает.

Я снова склоняю голову. Фильм продолжается. Изображение дрожит. Когда я устремляю глаза свои, чтобы смотреть, глаза слезятся. Глас небесный рычит:

– Что ты видишь? Человек!

Я вижу город, гибнущий в пламени. Сияет утренняя звезда и падает роса, как прежде. Я вижу людей, сражающихся подобно львам. Я слышу крики из их ртов и звон их мечей. Падают горсти чего-то. Сожженные пожаром здания рушатся, и я вижу оставшийся отряд героев, окруженный множеством врагов. И когда враг поднимает свое знамя над уцелевшими строениями крепости, я вижу этот маленький отряд героев, бросающихся на собственные мечи или пропарывающих себе грудь копьями, и я узнаю красную кровь моих братьев и упавший расколотый щит Давида.

Я плачу, а глас небесный рычит:

– Ты плачешь, сын человеческий?

– Плачу, – отвечаю я, – потому что народ, пришедший после них, забыл их гордость. Он сам ковал звенья своих цепей. Не напрасно ли пролилась кровь героев?

И тогда глас небесный прорычал:

– Встань и иди!

И я встал и спросил:

– Куда?

– На все четыре стороны, – ответил глас небесный, – везде, куда я забросил изгнанников, они построили дома, в которых возносят ко мне мольбы. Иди и говори: «Так сказал Господь Бог: Я сыт вашей молитвой, а ваши слезы переполнили океан, теперь же время подняться! Видите солнце с Востока? Оно целует руины той страны. Каждое утро роса орошает степи. Скалы скрывают в себе мед. Поднимайтесь туда!! Так сказал Бог».

Но если они оттолкнул тебя и не поверят голосу твоему, тогда отвернись от них, но не кляни их! Они невиновны. Это их отцы, деды и прадеды согрешили. Из поколения в поколение передавали только молитвы и склоняли шею под ярмо. Последняя искра отгорела.

И я упал на колени и расплакался. Глас небесный прорычал:

– Встань и иди!

И я встал и сказал с дрожью в голосе:

– И я происхожу из народа... Я знаю... народ отвергнет меня!!

И глас небесный сказал так:

– На все четыре стороны иди. Повсюду, где я рассеял изгнанников, есть их кладбища. Встань и разрушь их надгробия, на которых и родословная вырублена серыми каменными буквами. Оскверни могилы, и вытащи кости мертвецов на солнце, и возвысь свой бичующий голос – так сказал Господь Бог.

А я, так говорит Бог, скрою солнце в облаках. В половину неба появится моя радуга. А сам я как бы упаду лицом в море. Море разбушует. А мой голос подобно львиному рыку пронизет мир.

И я припал к земле и заломил руки:

– Боже!! Неужели я должен осквернять могилы? Что же еще, кроме них, осталось моему народу?? Боже!!

И я заплакал. Вокруг меня воцарилась святая тишина. Сквозь слезы мне привиделось открытое лицо Бога. Лицо было укутано голубым туманом, и мягкий голос говорил мне:

– Я буду ждать еще две тысячи лет.

Перевел с идиша Велвл Чернин

Арон Липовецкий
КРУЖЕНИЕ ВЕТЛА

* * *

И было это осенью,
в лучшее время года для этого.
— Ицхак, — сказал Авраам, —
укрепи эти сучья на ослах
и захвати еду в дорогу.
Пошел дождь, из первых, редкий, недолгий.
— Набрось капюшон, Ицик, — сказал он, —
и иди к машине.
Был первый день
и были дороги тесны от автомобилей.
Они ехали в потоке и останавливались
на каждом светофоре.
Через несколько дней пути Авраам сказал:
— Вот это место. Привяжи ослов и развяжешь их.
Захвати дрова с собой.
Он поправил армейскую сумку на плече сына,
помог ему надеть винтовку,
которая стянула плечи и грудь.
— Удачи сынок. Звони.
И было: не мог он оторвать взгляда
от сильной спины сына,
от легких его шагов к воротам базы.

— Сара, не умирай, Сарале.
Ангел успеет.

* * *

Басё приделал крылья стручку перца,
и красная стрекоза
выпорхнула на луг.

А я лишь положил в траву
счетчик Гейгера,
и он ожил цикадой,
холодом печали,
поднял стрекот над клевером.

ЗОНТ

Знаю я, знаю, сынок.
В этом доме желтеют фотографии
«когда-ты-был-маленьким».

Здесь всегда найдется
«что-нибудь-вкусненькое»

И твои лишние вещи
«могут-иногда-понадобиться».

Ты вылупился из этой скорлупы,
застарела пыль в ее трещинах,
и пересохла плацента.

И лучше отзвякать своим ключом,
когда родителей нет дома,
чтобы без ворчливых назиданий.

Не морочь мне голову,
что «ты-спешил-а-потом-забыл».

Просто верни мне зонт.
На завтра обещают дожди.

Алекс Тарн

ИОНА

ЛАХИШ

1

Чувство было неприятное, как от повестки в суд. Когда просыпаешься поутру и сразу – вот она, бесформенная гнетущая тяжесть, лежит на сердце студенистой медузой, ящерицей шастает вдоль позвоночника, жадно чмокает, присосавшись к священным водам беззащитной души твоей. Бр-р-р... Что такое, откуда, почему? Отчего так плохо-то, братцы? Вроде и не пил вчера... И тут наконец вспоминаешь: а... ну да... конечно... повестка в суд! Неприятно-то как...

Только чушь это все, лажа, ерунда. Нету никакой повестки, и суда нету. И насчет просыпания... или как там... пробуждения?... да, и насчет пробуждения тоже говорить не приходится, хотя бы потому, что спит он, Яник, спит, дрыхнет, как сурок, и все никак ему не проснуться, а надо бы, ох как надо, но – не получится, это он точно знает, не получится, пока не дойдет до младенца, ага, до младенца, – до последнего, знакомого, заранее известного кадра в этом бессвязном и назойливом киносне. Проснись! Проснись! Нет, куда там...

Сейчас ему показывают дорогу... или даже не дорогу, а какую-то широкую утопанную тропу, пыль крупного помола, заросли кустарника и хрустящие от солнца холмы бурого летнего цвета. Против этой картинки он ничего не имеет, – знакомые, милые сердцу места. Иудея? Шомрон? Беньямин? Где-то там, не иначе... С ним-то все в порядке, с пейзажем то есть. Чего никак не скажешь о ногах. Ноги ужасны – какие-то задубелые расстрескавшиеся коряги, а не ноги. Босиком, по мелким камешкам, по колючкам, по раскаленному песку, по острым гранитным сколам... нет, это ни в коем случае не могут быть его, яниковы, ноги.

Это явный перехлест, даже для ночного кошмара. «Где она, правда жизни?» – зовет Яник к зарвавшемуся режиссеру – из сна, как из кинозала. Мы ведь босиком, знаете ли, не ходим, все больше – в обуви; у нас даже и детство «босоногим» не назовешь; даже по травке – в туфельках, даже на пляже – в шлепанцах: а вдруг стеклышко или какая другая пакость?... пятки наши нежны, как мочки на ушах; нет, перехлест, враки, господин режиссер, так в жизни не бывает, отредактируйте, переснимите, будьте так любезны, дубль шестьдесят седьмой бе, мотор!

Только какой там мотор... нету тут никакого мотора; ни мотора, ни асфальта, да и вообще ничего гражданского не наблюдает-

ся, одна лишь пустыня под ослепительным небом, и пыль, и бурые растрескавшиеся холмы, и бурые растрескавшиеся ноги – его ноги – размеренно и неторопливо – по мелким камешкам, по колючкам, по раскаленному песку, по острым гранитным сколам – раз-два, раз-два, раз-два... Куда? Зачем?

Непонятно – куда, непонятно – зачем, только мертвая тяжесть в сердце, только щекочущее предчувствие плохого под ложечкой... и дышать трудно, ко всем прочим радостям, и ноет в животе, и пот – со слезами пополам – ест поездом твои наглухо закрытые, безнадежно спящие глаза... Проснуться бы, Господи! Проснуться бы... дудки, никак. Но все-таки, отчего это так тяжело? Не иначе – повестка в суд или еще что в том же духе... в общем, беда тебе, Яник, карачун с прибабасами, неизвестная страшность в неопределенном будущем – то ли завтра, то ли через год, а может, и прямо сейчас, вон там – за этим вот, ближним поворотом.

Раз-два, раз-два... мерно чередуются ноги-коряги, приближая поворот. И ведь главное – сам виноват, идиот; был поворот как поворот, не страшнее прочих, и черт же тебя дернул такое про него подумать, и вот он, результат... короче – сам напросился, кретин. Что ж теперь делать? Что делать? Сколько там осталось? – сто метров?... девяносто?... нет, теперь уже меньше. Проснуться бы... нет, не дадут. Господи, страшно-то как. И вокруг – никого, ни единой живой души, даже птицы куда-то подевались, даже кузнечики молчат. Один на всем свете.

Перед самым поворотом – сухое русло и дерево. Тянет узловатые ветки, хватает за плечо, цепляется колючками за рубашу: «куда ты, глупый?... не надо тебе туда, вернись!» Раз-два, раз-два... Вот оно.

Вот она, старая знакомая, чертова бабка-ежка – стоит перед ним, подслеповато моргая выцветшими глазами. Белая тряпка на голове, фиолетовая юбка с разводами, малиновая шерстяная кофтенка да еще и синяя безрукавка поверх. Вырядилась карга – в такую-то жару! А впрочем, нет уже и жары... – была, да сплыла; и неба больше нету, и холмов, и даже ног твоих бурых не видно, Яник. Всего-то в мире и осталось: ты, да старая ведьма... да еще он – младенец у нее на руках. Он-то тут и главный, дураку ясно. То ли год ему, то ли два, черт его знает; спит себе спокойно в байковом своем свертке.

«Возьми его...» Нет, это не старуха; старуха молчит. Молча протягивает она Янику коричневый сверток с желтой каймою – бери, мол, бери... Но Яник не берет. «Кто ты? – кричит он. – Что тебе надо от меня, старая сука? Что вам всем от меня надо? Оставьте меня в покое! Пошли вы все...» И рывком просыпается.

На часах – шесть с копейками. Считай, что и не спал совсем. Яник садится на койке и хмуро свешивает кудлатую нечесаную башку. Проклятый сон! Когда же это кончится?... Немытый линолеум пола не дает ответа. Зато в углу вдруг неожиданно возбуждается старый холодильник. Для начала он оглушительно стучит чем-то по чему-то, затем, радуясь жизни, дважды подпры-

гивает, торжествуяще выдает какую-то особенно праздничную руладу и наконец переходит на равномерное оптимистическое урчание.

Две тарелки, кастрюля и стакан с ложками, составляющие почти полный набор местной посуды, возмущенно позвякивают на полке.

– Глохни, дятел! – угрюмо говорит Яник. – Смотри, как ты всех напугал.

Холодильник подобострастно булькает и виляет несуществующим хвостом. «Ладно-ладно... – смягчается хозяин. – А вы-то чего переполошились? Могли бы уже привыкнуть за это время».

Посуда, смутившись, замолкает. Ну вот. Наведя таким образом порядок, Яник закуривает и выходит на крыльцо своего вагончика.

Ночью была непогода; ворочаясь в постели, стараясь и боясь заснуть, Яник слышал неровный топот дождя и петушиные наскоки ветра на окна и на деревья. Теперь потоптанная дождем и взъерошенная ветром природа сияет, как довольная удачным свиданием курица. Яник наклоняется и ласково треплет ее по ветке бугенвиллии.

«Пойти что ли к врачу? Сколько я так протяну, без сна? Может, таблетку какую даст...» Он вздыхает и садится на мокрый садовый стул. Надо же так попасть... Во рту горчит от сигареты, и голова слегка подплывает. Э, что это за шум, там, сзади?

Яник оглядывается. Это – колесница. Запряженная двойкой урартских лошадей колесница медленно катит по пыльной дороге, тяжело подсакивая на кочках и камнях. Яник удивлен. Он удивлен не самим фактом появления колесницы – это-то ясно, – снова задремал ненароком, а во сне чего не привидится... Нет, он удивлен тем, что ему абсолютно точно известно, что лошади – урартские. Почему – урартские? А черт его знает... урартские и все тут, зуб даю, да что там зуб – берите всю голову на отсечение. А что такое «урартские», Яник?... – а вот и не знаю я, что это такое, без понятия; может, это такие кони, которые кричат «ура»... ну, когда, скажем, – в атаку?... короче, не знаю. Знаю только, что называют их «урартские», причем знаю твердо. Точка. И отстаньте от меня с вашими дурацкими вопросами, мне и без того тошно.

Колесница приближается, перемалывая камешки грубыми деревянными колесами. Медные ободья сияют на солнце. Надо бы убежать. В колеснице – трое, бородатые, коренастые, потные, в кожаных островерхих шлемах, в странных безрукавках, обшитых металлическими пластинками. А, это доспехи. Надо же, как в кино... У одного из них – лук; второй держит щит и копье; третий – водила. Водила что-то кричит и указывает в сторону Яника, сидящего на придорожном камне. Лучник достает стрелу из привязанного к борту колчана. Надо бы убежать, но Яник не может двинуться с места. Взгляд его прикован к веревочной сетке, свисающей с колесничного борта, рядом с колчаном. В сетке – отрубленные человеческие головы, как футбольные мячи. Задыхаясь от ужаса, он смотрит на оскаленные рты, на застывшие зрачки полу-

открытых мертвых глаз, на запекущуюся кровь в волосах, на рваные кустики жил...

Лучник натягивает тетиву. Что-то обжигает Янику пальцы. Стрела? Нет, это догоревшая сигарета. Он ожесточенно трясет головой и, окончательно проснувшись, встает со своего мокрого пластикового стула. Подумать только – какая пакость! Нет, надо к врачу. Пусть прибывает крышу на место, а то ведь так она, ненароком, совсем уедет...

2

– Здравствуйте, сударь, – врач говорит по-русски. И не просто по-русски, но еще и «сударь». «Сударь!» Видали такого? Яник хмыкает и качает головой. Но делать нечего: назвался психом – полезай в «сударь»...

– Шалом, адони, – из принципа отвечает Яник, садится и начинает оценивать обстановку. Кабинетик крошечный, метров шесть; ты-то ожидал чего-то другого... типа, как в голливудских муви – витрина с видом на Тихий океан, телевизионный экран в полстены, дизайнерская мебель по спецзаказу, кожаная кушетка для пациента, да подтянутый – в некоторых местах – Майкл Дуглас с сигарой, которую он, конечно же, не курит – Боже упаси, а вовсе даже наоборот – задумчиво проводит в политкорректной близости от своего породистого носа.

Дудки. Ничего похожего. Ни тебе Дугласа, ни тебе Тихого океана. Даже окна нету. Кладовка, одним словом. Кроме доктора с Яником, на шести квадратных метрах размещаются набитая папками этажерка, обшарпанный шкаф, припадочный на правую заднюю ногу стол со вздыбившимся пластиком и два стула. Впрочем, стулья не в счет – они площади не занимают; то есть, займут, если кто встанет. Но какой дурак тут встанет – тут и места-то такого нету – стоять. Разве что если взять один из стульев на руки...

– Как вас зовут? – прерывает его размышления доктор. – Вы не возражаете, если мы будем говорить по-русски? Я ведь, знаете, за двадцать пять лет иврит так и не выучил...

Ага. Каков приход, таков и поп. Доктор тучен и кучеряв. В большой бесформенной бороде застряли хлебные крошки – хорошо бы сегодняшние. Толстенные очки в старомодной оправе; одно из стекол – с трещинкой. Дужка неумело прикручена проволокой.

– О'кей, – отвечает Яник. – Давайте по-русски, мне все равно. А зовут меня Яник. Яник Каган.

– Яник? Странное имя... Это сокращенное? От «Янкель»? От «Яков»? Если так, то мы – тезки. Меня тоже зовут Яков. Яков Шварц.

– Нет, доктор, Яков тут не при чем. Родители называли меня Иона. Такая, понимаете, дурацкая фантазия. Кто-то там некстати помер, из дальних родственников, в Жмеринке. По нему и назвали.

Ах, Яник... зачем кривишь душой? Жмеринка... дальний родственник... Мелко это, брат, некрасиво. Дед все-таки. Ну да... умники... Вас бы в мою шкуру, вам бы хоть на недельку почувствовать себя мальчиком с невообразимым именем Иона, да в русском детсаду, да на русском дворе, да в русской школе. Как ни скрывайся, как себя не переиначивай – Яник, Веня, Ваня, Вася... – все равно прознают; рано или поздно просачивается в уши ненавистное слово; и вот уже кто-нибудь особенно вредный, со значением ковыряя песок носком сандалика, спросит как бы невзначай: «А какое у тебя настоящее имя?» И все. Конечно. Даже если немедленно убить вредину этой вот пластмассовой лопаткой – не поможет. Потому что все уже знают. Потому что на следующий день уже весь двор бегаёт вокруг тебя, тычет пальцами и хором кричит: «Иуда! Иуда!». Потому что нету разницы между Ионой и Иудой, во всяком случае – для детей, во всяком случае – на русском дворе.

И потом, в школе... все эти «ионические ордена», «Ионычи» и «ионизации», вызывающие немедленный прилив творческой энергии у классных остряков. И садист-завуч, упорно вписывающий проклятую «Иону» во все ведомости и журналы – «потому что так указано в официальном документе». Вам бы с мое помучиться, прекраснодушные вы мои... О чем думал он, яников отец, когда, выдержав двухнедельное сражение с мамой и со всеми прочими родственниками, положил заполненный бланк перед немедленно вылезшими из орбит очами регистраторши районного ЗАГСа? – «...как вы сказали?... Иона?... есть такое имя?... вы уверены?... вы хорошо подумали?... а может быть, не стоит торопиться – мальчику ведь потом жить...»

И мальчик «потом жил», имея, как говорила бабушка, «все эти удовольствия»... Хотя, с другой стороны, а был ли у отца выбор? Мог ли он назвать сына иначе, даже тогда, в угрюмом 1979 году? Нет, не мог. Потому что его отец, яников дед, помирая в Песочной, в раковом диспансере, взял с него соответствующую клятву. А деда звали Иона, и не просто Иона, а Иона Ионович – в честь его собственного родителя, зарубленного петлюровским всадником на улице города Киева – аккурат в тот самый момент, когда бежал он в соседнюю улицу за повитухой. Вот ведь какая закрутка получилась: нет, чтобы потерпеть яниковой прабабке! И приспичило же ей рожать именно тогда, когда гулял по матери русских городов удалой еврейский погром, когда никакой нормальный еврей из дому картуза не казал, а сидел, как положено, тихо, молясь своему Богу и поджидая – экий погромный глагол! – поджидая: придут резать или пронесет. Так и прадеду бы сидеть... глядишь, и был бы теперь его израильский правнук каким-нибудь Борисом или Алексом или, на худой конец – Грегори... но роды-то были первые, боялся за жену – вот и выскочил.

А уж как прадед Ионой стал... ну да ладно, в глубь веков не полезем, так уж и быть. Мы ведь тут не за тем сидим, правда, Яник? Мы ведь сюда за таблеткой пришли, крышу на место ста-

вить. А значит, дедушка Ион Ионыч к делу не относится, светлая ему память.

– Вас в детстве, наверное, много дразнили из-за имени... – вдруг выдает доктор, не в бровь, а в глаз. – Вы ведь когда в Израиль переехали? С последней волной, в девяностые?

– В девяносто шестом. В возрасте семнадцати лет. Один, по молодежной программе. Родители у меня до сих пор там, в Питере.

Вот так, коротко и ясно. Чего тянуть-то? Как школу закончил, так и слинял – туда, где злосчастное имя звучит не столь экзотично. Потому что одно дело – отмахиваться от «Иуды» в детсадовской песочнице и совсем-совсем другое – в казарме российского стройбата. Ведь, что ни говори, а разница между детским пластмассовым совочком и саперной стальной лопаткой – примерно такая же, как между прадедовым картузом и петлюровской шашкой. Такой вот, доктор, практический сионизм, крайняя степень ионизации...

– А что же ваши родители не переезжают?

– Бизнес у них там, – объясняет Яник неохотно. – И вообще...

И вообще, твое-то какое дело, фрейд малахольный? Ты таблетку давай, а не разводи туры на колесах. А то завел шарманку: имя... родители... при чем тут это все? Ишь, засопел, как паровоз... или недоволен чем-то?

Доктор наклоняет голову вперед и набок, как бы прислушиваясь к внутреннему состоянию своего колченогого стола. Видимо, что-то в услышанном его не устраивает, потому что он берет в руку небольшой – сантиметров двадцать – проволоочный прут и принимается настегивать стол, как норовистого коня. Яник наблюдает за экзекуцией с некоторой тревогой.

– Вы тут телесные наказания не практикуете?

– Что? – удивленно спрашивает доктор, не врубаясь в шутку. – Вы о чем?

– Прутик...

– А, прутик... – говорит доктор без улыбки. Он оставляет в покое стол, но прут из руки не выпускает. Несчастная деревяшка несколько раз переступает с ноги на ногу и замирает, настороженно вздыбив исцарапанную столешницу.

– Ээ-э... доктор... – неуверенно вступает Яник, нарушая воцарившееся молчание. – Я, собственно, к вам вот по какому делу...

– Но почему?! – возмущенно восклицает доктор, и прут в его руке со свистом описывает два полных оборота – вжик-вжик. – Почему?! Как хотите, сударь, но я этого совершенно не понимаю!

Он даже поднимает кулак с явным намерением пристукнуть по скорчившемуся от ужаса столу. «Интересно, бывает ли у мебели инфаркт?» – думает Яник про себя, а вслух спрашивает:

– Вы, собственно, о чем?

– Еврей должен жить в Израиле, молодой человек, – напряженным голосом провозглашает доктор и мечет на Яника сердитый взгляд сквозь треснутое очко. Вжик-вжик – подтверждает прут. «В Израиле!»

– Это медицинская рекомендация? – насмешливо осведомляется Яник.

– Если хотите, – да!

Доктор настроен самым решительным образом.

«Господи, к кому я попал, – в отчаянии думает Яник, глядя на мелькающий перед его носом прутик. – Плакала моя таблетка... Он же полный псих... Все эти «судари»... Он что – старых советских фильмов посмотрелся? Сейчас еще скажет: «да-с, батенька!» и щелкнет подтяжками, как Ленин в Октябре...»

– Да-с, батенька! – запальчиво заявляет доктор. – В Израиле!

Уйти сейчас или потерпеть еще немного? Яник решает терпеть. Альтернатива противнее; таблетка нужна – кровь из носа, причем срочно.

Терпение, как всегда, вознаграждается. Доктор Шварц, посопев и побулькав, медленно и неохотно возвращается в исходное состояние. Уставившись в стену, он с видимым отвращением произносит, наконец, долгожданный вопрос:

– Что же вас беспокоит... сударь?

Яник облегченно вздыхает. Слава Богу, прорвало...

– Видите ли, сударь... – начинает он и осекается, боясь быть неправильно понятым. Но нет – опасения напрасны; доктор, не моргнув глазом, продолжает безразлично смотреть в стену, туда, где висит хевронский календарь с Гробницей Патриархов на картинке, месяц Шват, год тав-шин-самех-гимель, 5763-й от сотворения мира. Яник поспешно продолжает:

– Видите ли, я с некоторых пор не могу спать. То есть могу, но боюсь. Стоит мне задремать, хотя бы на несколько минут, как тут же начинается сон, один и тот же. То есть – не совсем один и тот же, но похожий, из раза в раз. А кроме того – конец. Конец там всегда одинаков: бабка какая-то с младенцем. Началось это с полгода назад, и сначала ни капельки не мешало – ну снится себе и ладно. Но потом стало доставать... понимаете, во время этих снов у меня всегда возникает очень неприятное чувство. Очень-очень неприятное. Это даже не страх, доктор, знаете, когда обычный кошмар. Это намного неприятнее, какое-то давление, что ли... ну совершенно невероятное давление.

Яник притормаживает. Доктор угрюмо молчит, крутя в руках прутик. Гробница Патриархов из мглы тысячелетий укоризненно смотрит на маленького Яника с его смешными детскими глупостями. Таблетку мне, патриархи, таблетку! Вы-то там спите в своей гробнице, без всяких снов, без кошмаров, без бабок с младенцами, без сеток с мертвыми футбольными головами... дайте и мне поспать спокойно, ну пожалуйста, патриархи!

– В общем, смешно сказать – стал я бояться этого дурацкого сна. Да так, что просто не даю себе заснуть. Потому что сразу – он, этот сон, стоит только глаза закрыть. Это просто преследование какое-то, прессинг по всей площадке, как, знаете, на футболе. Такая вот ерунда. А спать хочется – ужас. И страшно, и хочется... жуть, да и только. Я уже боюсь в машину садиться – засыпаю за

рулем. Работать не могу ни черта. Короче – полный кирдык, доктор. Вы уж дайте мне какую-нибудь таблетку от этого дела. Вот.

Яник облегченно переводит дух. В комнате повисает молчание. Сначала небольшое, размером с лампочку, оно быстро разрастается и в без того тесном пространстве... вот уже нельзя даже пошевелить пальцем, чтобы не задеть его жирный локоть. Наконец доктор Шварц пожимает плечами и кладет прутик на стол.

– Странная история. Мне такие случаи незнакомы, молодой человек. Возможно, где-то они и описаны, но я не читал. Нда... странно... – Он задумчиво барабанит пальцами по столу.

– Что же... и таблетки никакой нет? – безнадежно спрашивает Яник. – Как же так? Что же это такое, доктор?

– Не знаю, не знаю... На навязчивую идею не похоже. Хотя чем-то и сродни. А таблетки я вам пропишу, не волнуйтесь. Антидепрессант.

Подумав, доктор начинает копаться в бесформенной книгописчебумажной куче, громоздящейся на столе. Как и следовало ожидать, куча немедленно рассыпается, разбрызгивая на пол вер бумажек, отплевываясь книжками и блокнотами. Но доктору на такое ее поведение глубоко начхать. Плевать он хотел на всякие там кучи. Полный псих. Найдя нужный бланк, доктор Шварц удовлетворенно крикает и, сопя, начинает выводить крупные каракули.

– Вот, возьмите. По одной таблетке два раза в день.

Рука с бланком висит в воздухе. Потому что Яник забыл про свою таблетку. Яник смотрит совсем в другую сторону – на обложку растрепанной книжки, любезно поднятой им с пола. «История Урарту». И рисунок – колесница о двух конях с тремя ездоками в остроконечных кожаных шлемах.

– Что случилось? – спрашивает доктор. – Что? Вы интересуетесь историей?

За толстыми стеклами его очков впервые за всю беседу загорается отдаленный огонек интереса к пациенту:

– Неужели вы знаете, что такое Урарту? Редкий случай для нынешней молодежи... – Доктор кладет на стол ручку и снова вооружается прутиком.

– Это колесница из моего сна, – отчего-то шепотом сообщает Яник. – Только без голов...

– Голов? Каких голов?.. Так вы видите во сне древние колесницы? Любопытно, батенька, любопытно...

– Доктор... «Урарту»... это что – страна такая была?

Доктор заметно оживляется. Видно, что колесницы занимают его намного больше таблеток.

– Представьте себе, молодой человек, Урарту – это именно государство, а не новый вид йогурта. Стыдно не знать. Племенной союз, образовавшийся вокруг озера Ван, на стыке Северной Месопотамии и Закавказья.

– И давно это происходило?

– Три тысячи лет тому назад. Годы их наивысшей славы приходятся на восьмой век до нашей эры. Тогда они здорово потре-

пали ассирийцев. Дошли до Сирии, даже овладели переправами через Евфрат, хотя и ненадолго. До наших мест, правда, не добрались – силенок не хватило. Но контроль над Верхним Евфратом – это, я вам скажу, тоже не фунт изюму...

Доктор сосредоточенно крутит прутиком и продолжает:

– Видите ли, батенька, напрямую из Индии в Египет и обратно в те времена было не попасть. К западу от Евфрата лежат непроходимые пустыни, а асфальтовых дорог с бензозаправками тогда еще не построили. Так что торговым караванам приходилось давать здорового крюка. Поднимались на север, вдоль реки...

Прутик очерчивает энергичный полумесяц.

– ...вот так. Доходили до большой излучины Евфрата и там переправлялись, в районе Киркемыша. А затем уже – на запад, в Сирию, к финикийским портам и далее – на юг. В общем, тот, кто владел тогда большой излучиной, сидел, почитай, на золотом мешке. Хлебное место... Неудивительно, что все на него зубы точили. Вот и Урарту кусочек перепал...

Яник нерешительно кашляет:

– Доктор, я вот что хотел бы уточнить; может, это имеет какое-то значение... Сны мои... они... как бы это сказать... короче, происходят они в нашем, израильском пейзаже. Я это точно знаю. Вы, конечно, можете спросить – откуда это у тебя такая уверенность? Действительно, сухие холмы с колючками не только у нас имеются; наверняка, полно похожих видов и в Азии, и в Северной Африке... а может, и в Америке или еще где. Но дело не в этом. Дело в том, что я, там, внутри сна, точно знаю, что я – в Иудее. Понимаете? Я ведь почему так на вашу книжку напрыгнул? Да потому, что я слова этого, «Урарту», в жизни не слыхал – не видал, только здесь вот, в первый раз, можно сказать, познакомился. Но это здесь – наяву. А там, во сне, я смотрел на эту колесницу и совершенно четко знал, что она – урартская, представляет?..

– Чушь! – решительно перебивает его доктор. – Я же вам объяснил: так далеко урартское войско не добиралось. Ассирийские колесницы в те времена тут и вправду покатались, и немало, будь они неладны... А вот Урарту – нет, не доехали. Лошади их – да, те бывали. Урарту ведь славилось своими конями – на весь тогдашний мир. Они-то, видимо, ассирийцам лошадок и поставляли...

– Подождите! – кричит Яник. – Подождите! Ну конечно! Я же просто сейчас неправильно вам сказал. А тогда, во сне, я так и подумал – «две урартские лошади»! Ну слово в слово! Не про колесницу подумал, а именно – про лошадей... Ну, чудеса...

– Гм... – говорит доктор.

3

Др-р-р!.. Редкий звук – звонит телефон. Это Ави. Он, как всегда, возбужден, многословен и скороговорен.

– Яник! Привет, мужик, как жизнь? что ж ты не звонишь, дурик? тебе что – бабки не нужны? и на телефон не отвечаешь; уже две

топталовки без тебя сыграли и три свадьбы; а бар-мицвы я не беру, ты же знаешь... но без тебя – труба! этот хмырь, ну тот, лысый, – ты знаешь – ни хрена не въезжает; так что давай! ну что ты молчишь? скажи уже что-нибудь – чисто для разнообразия...

– Так ты ж не даешь... – устало вставляет Яник. – В поток твоей речи нельзя войти даже однажды.

Ави хрюкает и сбавляет темп.

– Ты к врачам ходил? – Пауза после вопросительного знака дается ему с трудом, но Ави мужественно терпит – чего не сделаешь ради друга.

– Ходил. Неделю назад.

– Ну?

– Моржовый. Если, конечно, называть вещи своими именами. Дал мне какие-то колеса, антидепрессанты, два раза в день...

– Ну и... ну и... – голос в трубке нетерпеливо переминается на верхних обертонах и наконец взрывается возмущенным фейерверком. – Да что ты мне как по кусочку отрезаешь? Ты три предложения за раз связать можешь? Или не можешь? Или ты сейчас верхом на косяке? Или пьяный? Или все свои антидепрессанты в один присест заглотил? А? Помогло или нет, ты можешь сказать? Ну?..

– Да погоди ты, Ави, не части!... Ни черта не помогло. Нет, колеса, конечно, хорошие; примешь – и такая благодать... но это все – наяву. А во сне – тот же балаган, хоть плачь. Сейчас вот сколько... первый час, да?

– Ну?

– Так вот: я только-только проснулся, минут за пять до твоего звонка. Тот же сон. Дорога. Колесницы там, всадники. Люди какие-то бредут, страшные, обдолбанные, в крови все, в грязи. И ужасы всякие, не приведи Господь. Головы отрубленные. Дети зарезанные. И конец. Ну, ты знаешь, я тебе говорил... Бабка с младенцем в байковом одеяле...

– Эк тебя младенец этот достал... Слушай, Яник, а может, ты беременный? – Ави раздражается мелким дробным хохотком.

– А пошел ты... – обиженно посылает его Яник. – Смешно ему... Мне не смешно. Тебя бы на мое место, волчара.

– Слушай, – говорит Ави, упрямо досмеявшись до конца. – Я ведь тебе чего звоню. Есть идея. Классная. Я тебя с одним чуваком познакомлю, он как раз по этим делам. Заговаривает двинутых, вроде тебя. В общем, так: сегодня вечером ты помогаешь мне на топталовке. Заодно и заработаешь пару грошей. Там я вас и сведу. О'кей?

– Ладно. Куда подъезжать?

Он щелкает крышечкой телефона и улыбается, впервые за последние несколько дней. Ави, хлопотун ты мой ненаглядный, друг сердечный... что бы я без тебя делал? Кажется, что знакомы целую вечность... а прикинешь – всего какой-то год с небольшим. Ну да... акkurat прошлой зимой и познакомились, на Хануку.

Яник снова улыбается, вспоминая веселые дембельные деньки последних месяцев армейской службы. Его боевая часть стоя-

ла тогда на Хермоне, по уши в снегу; «хаммеры» приходилось откапывать. Как-то раз намело столько, что не смогли открыть двери бункера – так и просидели внутри весь день... Хорошая зима выдалась, что и говорить, давно такой не видали; за десяток засушливых лет почти весь Кинерет выпили, и вот, наконец, – Божья благодать. И в бункере – благодать, особенно ему, дембелю-«пазамнику». Лежишь себе целыми днями в просторной «стариковской» комнате и в ус не дуешь. Тут тебе и телевизор, и видак, и стерео-система, и даже Плей-стейшн – живи, не хочу!

Кто к «дедушке» сунется? За полгода до дембеля он – кум королю. Офицерик-салага в дверь поскребется, заглянет, скажет робко:

– Яник, может быть, выйдешь на построение? Выйди, прошу, не подрывай мой командирский авторитет...

А ты ему в ответ на вопиющую эту наглость спокойно так, вежливо отвечаешь:

– А ну, пшел вон, салабон! Мать... мать... мать... Не видишь, что ли – дедушка отдыхать изволят?!

А потом элегантно так наклоняешься, берешь сапог из-под койки и метко бросаешь в самый что ни на есть офицерский чухальник. Успел дверь закрыть с другой стороны – его счастье; не успел – мое, дембельское... Еще и кричишь ему вслед:

– Эй ты, шестерка! А ну вернись! Кто за тебя сапог на место поставит? Вернись, падла!..

Ну, вернуться-то он, конечно, не вернется... но и наказывать мы его за это не станем, пускай себе плывет, рыбка мелкая. Не станем наказывать еще и потому, что слишком-то борзеть не надо, даже нам, пазамникам; во всем должен быть порядок, а иначе что?

Вот в это-то расслабленно-счастливое дембельское бытие и пробила с Большой Земли заезжая передвижная бригада армейской радиостанции «Галей ЦАХАЛ». Зачем они тогда к нам пожаловали? Яник качает головой... нет, теперь уже и не упомянешь. То ли Хизбалла опять мин покидалла, то ли по случаю Хануки – показать народу Израиля, в каких ужасающих условиях вынуждены доблестные его защитники зажигать ханукальные свечи... а скорее всего, просто захотелось ребятам порезвиться на халяву на близлежащем горнолыжном курорте. В общем, прикатили.

А как прикатили да размотали свои кабели с микрофонами и прочими усилками, тут-то и оказалось, что какой-то один, самый важный усилочек не фурычит. А без него – труба, каюк программе, сворачивай все хозяйство и – вниз, несолоно хлебавши, под не приветливые начальниковы очи. В общем, загрузили джобники, особенно техник ихний – он-то ведь во всей этой истории крайним выходил. Он уж и так к этому усилку, и эдак... и по коробке погладит, и отверткой пощекочет, и в нутро еванное дунет... – нет, все зря, все понапрасну. Карачун, да и только.

И местные солдатики тоже загрузили, особенно салаги. Они-то ведь уже намылились приветы по радио передавать, заказы-

вать с понтом музыку по заявкам – для Геулы из Афулы, для Ривы из Тель-Авивы – мол, помню, люблю, скучаю, жди в следующий шабат, оторвемся... А тут – такой облом. И вот в этой-то, безусловно, крайней ситуации и решился самый старший и самый смелый из салаг обратиться за помощью к верховному существу, дедушке-пазамнику, его превосходительству Янику Борисовичу.

Дело в том, что если существовал на небесах бог звуковой электроники, то Яник, несомненно, являлся его наместником на земле. Этот дар открылся у него еще в России, лет эдак с десяти, то есть, по сути – немедленно с возникновением личной необходимости во всевозможных магнитофонах, приемниках, плеерах, вертушках и усилителях. Никогда и ничему специально не учась, Яник, тем не менее, обладал каким-то совершенно сверхъестественным чутьем. Он мог взять набитую микросхемами плату, в буквальном смысле принюхаться к ней, поводить над нею руками, подобно экстрасенсу, пощупать тут и там... и в итоге – безошибочно указать на неисправный элемент. На просьбы восхищенных зрителей и завистливых специалистов объяснить, заради Бога, – как?!.. каким макаром?!.. – Яник обычно пожимал плечами и говорил что-то совсем несурзное, типа «эта схема слишком теплая» или «как-то он странно пищит, этот конденсатор», а то и «этот транзистор как-то неестественно накренился»... – поди пойми.

В общем, салага знал, к кому шел. Подойдя к яниковой комнате, он не стал стучаться наобум святых, а предусмотрительно прислушался к звукам телевизора и дождался конца передачи, чтобы, Боже упаси, не помешать дедушке своим невежливым стуком... а уже затем, деликатно поскребясь, приоткрыл дверь. Все эти предосторожности, вкупе с недавней победой «Бейтара» привели к тому, что Яник принял салагу благосклонно и сразу не выгнал, а, наоборот, выслушал почти до конца.

Когда он вразвалку вышел к народу, все смолкли. Яник молча потрепал по плечу несчастного техника – мол, ну-ка, отвали, сявка, – зевнул и присел перед усилком на корточки. Потом, не глядя, протянул назад руку и прищелкнул пальцами.

– Отвертку... отвертку... скорее... – прошелестел старший салага. Техник поспешно вложил отвертку в нетерпеливо подрагивавшую кисть. Яник брезгливо сморщился и влез в недра усилка обеими руками.

– Может, отключить его сначала... он под питанием, дернет... – осторожно посоветовал техник.

– Глохни, споцалист, – ответствовал мастер, и гримаса его стала еще брезгливее. В животе усилка зародился какой-то странный свист. Яник снисходительно кивнул:

– Боишься, блин... ничего... все бояться... – Затем он встал с корточек, неторопливо отряхнул руки и все так же, вразвалку, направился восвояси.

– Что, не вышло? – спросил техник его удалявшуюся спину.

Яник обернулся. Безграничное презрение сквозило в его профессионально-дембельском взгляде.

– Не вышло балалайки из дышла, – произнес он, медленно цедя каждое слово. – Начинайте работать, господа сапожники. У вас есть ровно полтора часа. На одном мосту больше не протянет. Засекайте время. – Старший салага послушно засек – для истории.

Усилок и в самом деле работал, хотя и посвистывая. Бригада уложились меньше чем в час, передача успешно ушла в эфир, но усилок не отключали – всем было интересно. Усилок еще какое-то время насвистывал, затем поперхнулся, внутри у него что-то щелкнуло, и лампочки вспыхнули прощальным фейерверком; бедняга дернулся всем корпусом и замолк.

– Сдох, – констатировал пораженный техник. – Сколько?

– Час двадцать девять минут с копейками, – сказал старший салага, поднимая над головой секундомер. – Сорок секунд не дотянул... Странно. Часы у меня, что ли, неправильные?

Перед отъездом техник зашел к Янику – познакомиться. Его звали Ави Шахар, и у него было деловое предложение... даже, вернее сказать, – поправился он, оглядывая самодостаточное дембельское жилье, – просьба. Дело в том, что в свободное от службы время Ави сотоварищи предоставляли диск-жокейские услуги жаждущим хорошей музыки лицам и организациям. С фургоном, набитым аппаратурой, они разъезжали по городам и весям, за неплохие деньги обслуживая свадьбы, организуя дискотеки или просто обеспечивая качественное музыкальное сопровождение всевозможным праздничным событиям. Такой человек, как Яник, для них был бы совершеннейшим кладом. А потому, не согласился бы он... Деньги – не слабые... не повредят после дембеля. Ты, кстати, чего после дембеля делаешь? В Латинскую Америку, как все? Ну так вот – у меня ты за год столько бабок понасшибаешь – на пять Америк хватит, еще и на Индию останется... В общем, обменялись телефонами. И пошло-поехало.

Яник качает головой. Бабок-то он и в самом деле насшибал немеренно... да только куда ему теперь – с этим невесть откуда взявшимся бзиком? Не до Америки... отдышаться бы, отоспаться... Да, блин... Нет, блин... Не до Америки.

4

Топталовка намечена в Бен-Шеменском лесу. Яник слегка опаздывает и вылезает из своего раздолбанного «эскорта», когда большая часть аппаратуры уже разгружена. Тут же подбегает взмыленный и взбешенный Ави:

– Мánьяк! Пaдел недодроченный! Где тебя носит? Мне, сабре, на роду опаздывать записано, так я, идиот, вовремя приезжаю... но ты-то, сука русская, ты-то всегда тик-в-тик норовишь... что же сейчас-то случилось?..

– Извини, братишка, я опять задремал... – начинает оправдываться Яник.

– Заткнись, гад! Задремал! Чтоб ты сдох! – орет Ави. Он уже точно забил косяк, может, даже не один. – Давай, работай, бляжий сын! Не всё нам за тебя отдуваться!

Яник послушно принимается за работу. Виноват, ничего не скажешь... Уже часа два как стемнело; большая поляна огорожена, и сторожа в белых футболках бдят на подходе.

На местном жаргоне топталовка именуется «месибат а́сид» – «кислотная вечеринка». Полицией не поощряется, но кто ее спрашивает, полицию? Вот уже чихнул, разогреваясь, оглушительно прокашлялся, фыркнул и пошел трындеть генератор; вот уже размотаны пыльные цветастые кабели; вот уже установлен пульт – «раз-раз-раз... раз-раз-раз...»; вот уже свистнули страшным индейским кличем – «ййййуу-у-у!» – и притихли до поры до времени мощные динамики... вот уже стрелки часов подтягиваются к одиннадцати; скоро люди начнут собираться, все ли готово?... – вроде всё. Яник переводит дух. Подруливает Ави, умиротворенный, косой вусмерть, с бутылкой минералки в руках:

– Привет, братан... Ты когда подъехал?... Да что ты говоришь? А я и не заметил... Хочешь «хомер»? У меня тут есть кое-что – бен-зона, мать твою так!..

– Нет проблем, братик... за меня не волнуйся... ты лучше давай, врубай-ка свою дребедень – смотри, народ уже тут.

И впрямь – народ подъезжает – сначала тонким ручейком, потом все гуще и гуще, и вот уже все подъезды запружены страждущими. Кого тут только нет... Вот старшеклассники на семейных машинах, выцыганенных нетрудным переговорным процессом у кемарящих перед телевизорами отцов:

– Пап, дай тачку на вечер...

– А куда это ты собрался?

– Да тут, недалеко...

– Ладно, бери, только не пей, обещаешь?

– Боже упаси!

А и в самом деле: кто же наркоту с выпивкой мешает?

Охранник смотрит на молодняк неприветливым глазом, подозрительно косится на просевший задок могучего папиного шевроле:

– У вас бабки-то есть, мелюзга?

– А сколько надо?

– Сотня на рыло!

Что ж, никто и не спорит:

– Бери, цербер, рви нас, жри нас!.. вот тебе пятьсот, за всех!

Но сторожа на мякине не проведешь:

– Давайте еще триста!

– А триста-то за что? Имей совесть, брат!

– За что? – За тех двоих, что у вас там сзади лежат, плюс сотня штрафа от меня лично, чтоб в следующий раз не борзели. А ну – открывай багажник!

И открывают, и там, в багажной тесноте и обиде, – не двое, а все трое... во как!

А вот боевые солдатики в отпуск, вырвались забомбить черепушку; впрочем, они и так уже сильно на кочерге; стосковавшиеся в разлуке подруги гроздьями висят на их мускулистых татуированных плечах. К этим сторож со всем почтением, как к равным... да он, сторож, и сам такой же; просто сейчас он халтурит по случаю, а через пару деньков – пожалуйста назад – в форму, на базу, вместе со всеми остальными братьями по крови. Завтра им рядышком по шесть часов в луже лежать, в раскаленном танке сидеть, на вышке замерзать... Что же, он их сегодня задарма не пропустит?

Конечно, пропустит... как, впрочем, и этих – пушеров, толкачей, некоронованных королей топталовки. Они ведь сюда не развлекаться приехали, у них – бизнес. Кто травку косит, кто колеса катает, а кто и пыль-порошок метет... Налетай, братва – кому в тягость голова! И налетают, еще как налетают – и сосунки-малолетки, и солдатики, и снобствующие интеллигенты с тель-авивских бульваров, и всякая прочая, летучая, неопределенного возраста, неопределенных занятий и неопределенной сексуальной ориентации космополитическая шваль...

Гудит, шумит пестрый веселый муравейник; шныряют в толпе переодетые менты – в конце концов, им, ментам, топталовка тоже не во вред: все тут как на ладони, все в одном месте – и торговцы и потребители; столько материалу за раз – где еще соберешь? Так что пусть себе тусуются... главное, чтобы меру знали, не борзели. Да только куда там! – Борзеют, будьте нате как борзеют; вот и приходится время от времени перекрывать топталовкам кислород, собирать джипы-воронки со всей округи, окружать очередную райскую поляну и грузить пачками отключившихся бедолаг, отлавливать в чаще пушеров, вытаскивать из-под кустов бессознательно совокупившиеся парочки, ползать в лесной пыли, собирая многочисленные вещественные доказательства...

Но это – нечисто, это – всегда успеется. А пока пусть себе веселятся, родненькие, пусть себе крутятся на бдительном ментовском карандаше... Вот уже кашлянули динамики, сдержанно, с достоинством, как лауреат конкурса чтецов. И то – время за полночь, пора заводить. Ави встает за пульт – его час, его взрыв, его планида, его сумасшедший полет в синтетические небесные дали, туда, где Люси лыбится алмазной своей улыбкой. Он заряжает диск, он касается движков чуткими пальцами. Он выпрямляется, слепо глядя в ночное небо, не слыша ничего, кроме дальнего рычания лавы в подкорке. Звуки нарастают, теперь это уже не дальнейшее рычание, теперь это – ближний рык, рев, ужасающий девятый вал, сметающий все в диком своем порыве. Ави наклоняется к микрофону, как будто его рвет этим ревом... и... ничего не выходит; он разевает рот, немо, как рыба. Но это ненадолго – ведь вал уже захлестнул его всего, без остатка; и вот – Ааа... А... А!!! – вырывается вал блевотиной нечеловеческих звуков из рыбьего авиного рта. «Ууу... Уу... У!!!» – тысячекратным эхом отзывается топталовка...

– Ааааа!!! – продолжает Ави; атомная бомба взрывается у него в голове, крышка черепной коробки слетает и исчезает в небе. Хрен с ней, потом найду, успеваю подумать Ави. Он поднимает расpiraемые лавой руки и с размаху бросает их на пульт, на застывшие в напряженном ожидании движки и вертушки. – Ййююуу!!! – вступают динамики на пределе громкости. Топтало-вка приседает. Она тоже что-то кричит, уже не слыша себя. Она хочет еще. Авины руки судорожно дергаются, и горячая волна транса выплескивается наконец на истомившуюся топтало-вку.

– Умц-умц-умц-умц-умц-умц... ййююу... ййююу... умц-умц-умц-умц-умц... ййююу... ййююу... – Яник, примостившийся недалеко от сцены, вздыхает и смотрит на часы. Все, вошли в режим. Теперь так – до десяти утра, с небольшими вариациями. Он по-правляет звукоизолирующие, как у стрелков-спортсменов, наушники. Сами по себе наушники не спасают, поэтому в дополнение к ним Яник надежно забил уши ватой. Он прикрывает глаза – просто так, на пробу... нет, спать все равно невозможно из-за мельтешения лазеров, раскачивающего мозг пульсирования прожекторов, неимоверного шума, пробивающегося даже через тройную защиту. Ну и слава Богу... Часа через два кто-то хлопает его по плечу. Это Лиат, старая знакомая, верная завсегдатайка авиных топталовок. Яник уже знает, что будет дальше. Он пожимает плечами – почему бы и нет? Лиат что-то кричит, наклоняясь к его наушникам. «Пойдем, попрыгаем!» – угадывает Яник.

Они ввинчиваются в беснующуюся толпу и начинают топтаться, воздев к небу руки. «Умц-умц-умц... ййююу...» Лиат визжит. На ней – коротенькая фосфоресцирующая маечка, которую она время от времени задирает резким движением, обнажая блестящие от пота груди. Яник смотрит на груди. Они весело подпрыгивают в такт умце-умце. Вдруг девушка перестает топтаться и со стоном прижимается к Янику, лапая его за ширинку. Ага. Подъезжаем... Лиат цепко хватает его за руку и тащит в сторону, к деревьям. Они отходят совсем недалеко. Лиат достает из кармашка презерватив и таблетку. Презерватив – Янику, таблетку – себе.

– А тебе не хватит уже? – кричит ей Яник. – И вообще, давай отойдем подальше...

– Нет! – смеется Лиат. – Пусть смотрят! Так больше кайфа!

Она снимает трусики, поворачивается к Янику спиной и наклоняется, упершись в дерево обеими руками. Круглые белые ягодички сияют в пульсирующем свете прожекторов. Что ж... Яник послушно пристраивается сзади и начинает двигаться в такт музыке. «Умц-умц-умц... ййююу...» Лиат кончает почти сразу, потом еще и еще. Она воеет и вибрирует, обдирая с дерева кору. Рядом останавливаются двое малолеток. Они тоже под-вываюу, штаны их приспущены, и слюна течет у них по подбородкам совершенно одинаковым образом. Лиат косится в их сторону и кончает еще раз. Яник грозит малолеткам кулаком, и они свинчиваюу куда-то в кусты.

Янику становится скучно. Ему никак не дойти – от усталости и недосыпа. Тем временем Лиат, видимо, исчерпав ресурс, начинает проявлять признаки нетерпения. Ей хочется назад, в толпу. Яник сосредоточивается на ягодицах и на умце-умце, и, наконец, вздыхает с облегчением.

– Уф! – кричит Лиат и прислоняется к дереву. – Ты чемпион, Моти!

– Я – Яник! – кричит ей Яник. – Яник!

– Ага! – кричит она, натягивая трусики. – Пойдем попрыгаем, Моти!

Яник машет рукой – иди, мол, я не хочу. А ей и не надо. Мало ли тут таких яников? Она поворачивается к нему спиной и вприпрыжку уходит, притоптывая и покачивая бедрами в такт умце-умце, воздевая руки к темным небесам, к сухопарому красноглазому богу транса.

5

Хочется пить. Вода на топталовке – дефицит. Непрерывное движение вкупе с наркотой порождают вечную, все увеличивающуюся жажду. А где ее взять – воду, в лесу? Понимающие люди захватывают с собою связки бутылей и канистры; беспечные малолетки или случайные чужаки собираются или отдают последние деньги шустрим личностям, шныряющим в толпе с бутылочками минералки. Эти сшибают не хуже наркотолкачей – загоняют ценный товар по тридцатикратной цене, а то и покруче. Так или иначе, к утру вода кончается у всех.

Яник идет к одному из аппаратных фургонов на водопой. Дверь оказывается незапертой, и он забирается внутрь, в кузов. Там уже сидит кто-то из Авиной команды. Это новенький, Яник с ним не знаком. В фургоне относительно тихо, и он снимает наушники.

– Привет, – говорит новенький с тяжелым русским акцентом. – Ты – Яник, я знаю. Ави мне про тебя много рассказывал. Я – Саша.

– Говори по-русски, Саша. Что ты язык ломаешь?

Саша кивает. Он выглядит совершенно измученным, как будто вот-вот чебурахнется в отключку. Красные глаза косят, движения замедленные; вот рука приподнялась, да и остановилась на полпути, задумавшись – а куда это я? зачем? а... правильно... кипу поправить... На вид Саше под сорок; волосы прямые, русые; плечи – большим углом; и нос. Нос у Саши – выдающийся, причем выдающийся далеко и криво, с каплей на красном заостренном кончике. Саша лезет в карман и неуверенно, в три приема, достает скомканный клетчатый платок. Таких советских платков Яник не видел лет шесть. Ага, с момента приезда.

– Эк тебя перекособило... – сочувственно говорит Яник. – Грибов наелся?

– Нет, – улыбается Саша. Рот у него тоже огромный, под стать носу, и оттого улыбка придает лицу совершенно неожиданную гармонию. – Все почему-то думают, что я наркоман. А я этих вещей вообще не потребляю. Я и не пью даже... и не курю... Я просто устал очень. Так, что даже спать не могу от усталости... знаете, как бывает...

Перейдя на русский, он переходит на «вы». Перейдя на русский, он переходит из статуса обдолбанного косноязычного израильского задрыги в статус многословного и многослойного российского интеллигента. Яник начинает чувствовать себя неуютно и пытается вернуться на привычную почву.

– А чего это ты мне выкаешь? – говорит он, стараясь звучать максимально демократически. Демократия – последнее прибежище хамства. – Давай лучше на «ты». В Израиле «вы» не существует, ты что, забыл?

– Да нет уж, извините, мне так удобнее, – стоит на своем вредный новичок. – Вы, кстати, можете оставаться на «ты», я не против.

Вот так! Слыхали? «Оставаться»... Мол, Вы, господин абориген, «можете оставаться» в своем питекантропском каменном веке, чавкайте себе у костра, почесывайте волосатую свою спину обглоданной бизоньей лопаткой, а я, неприятный аристократ мысли, – уж какнибудь тут скромненько, в уголочке, с платочком своим клетчатым... Ну не сука ли?

– Как хотите... – пожимает плечами Яник. – Где-то тут вода была, вы не видели?..

Пока Яник, запрокинув голову, булькает из горла, Саша не сводит с него глаз. А может, и не с него. Глаза-то косые. И разные. Один, широко раскрытый, неподвижно уставился на яникову бутылку, а другой, прищуренный, мучительно моргает в сторону окошка, туда, где скачут бесы воздетых рук вперемешку с разноцветными нитками лазера и пульсирующим туманом проекторного света.

– Расскажите мне про колесницы, – говорит Саша.

– Что?!

– Ави сказал, что вам нужна помощь... сны... или что-то в этом роде.

– А... – врубается Яник. – Это с вами он хотел меня познакомиться, правильно? А вы кто – психиатр?.. экстрасенс?.. колдун-ведун?..

– А какая вам разница? Рассказывайте, а там посмотрим. Что вы теряете? У нас ведь вся ночь впереди. – Он поправляет кипу.

Что ж... – пожимает плечами Яник вот уже второй раз за последний час – почему бы и нет? Ведут – иди; какая, собственно, разница? А вдруг поможет – если не сумасшедшая потаскушка Лиат, так этот странный, сопливый гриб-носовик... Он присаживается на пол, в тени от Шашиного носа и начинает пересказывать свои сны, один за другим, серия за серией, как бразильскую мыльную оперу. Времени и в самом деле, – навалом. Саша слу-

шает молча, упревшись глазами, как циркулем, в смежные углы фургона.

– Вы говорите, что это началось сразу после демобилизации, когда вы вернулись домой. А где вы живете?

– В дыре на верхней полке... – ухмыляется Яник. – У меня ведь здесь никого, в Стране. Ни семьи, ни угла. До армии жил по молодежной программе в кибуце, в Негеве, недалеко от Кирьят-Гата. Ну вот. А после дембеля подыскивали мне там же, в окрестностях, чудный джоб с жильем – холм какой-то охранять, с раскопками. Лахиш называется. Может, слышали?

– Лахиш?... – переспрашивает Саша и по-лошадиному фыркает. – Холм какой-то, говорите?... – Он еще пару секунд сдерживается, булькая и подхмыкивая, но смех все-таки прорывается наружу. В следующее мгновение он уже хохочет по-крупному, с визгом, придыханием и слезами.

– Извините... ради Бога... – выдавливает он между приступами смеха. – Не обижайтесь... это нервное... Лахиш...

На свет снова извлекается клетчатый платок; Саша оглушительно сморкается и утирает слезы.

– Извините... сейчас я вам все объясню... сейчас...

Он глубоко вздыхает, закрывает глаза и откидывается спиной к стенке. Молчание зависает в фургоне. Яник ждет. Наконец его странный собеседник открывает рот. Он говорит громко и внятно, без запинки, будто читая невидимый текст, напечатанный на внутренней стороне его сомкнутых век.

– В семьсот первом году страшный Синаххериб, царь Ассирии, великий и могучий, владыка Вавилонa, господин Шумера и Аккада, повелитель Вселенной, подошел к Лахишу со своим огромным войском. Ужас летел впереди его армий на крыльях стервятников, смерть и запустение ползли позади них, пресмыкаясь на брюхе. Камня на камне не оставляли после себя ассирийцы; у каждого воина, кроме копий и стрел, мечей и палиц – орудий убийства, имелись бронзовые кирки и топоры – орудия разрушения. Всюду, куда дотягивался ассирийский меч, лилась кровь, слышались стоны умирающих. Всюду, куда дотягивался ассирийский топор, вырубались сады, обрушивались стены домов, вытапывались поля и виноградники. Не было ночи ассирийскому царю – зарево пожаров гнало тьму от его колесниц.

Все живое уничтожалось; раненых добивали, стариков и детей вырезали за ненадобность. Уцелевших взрослых собирали в стада и гнали в разные концы великой Ассирийской Империи, и прежде всего – в царскую столицу Ниневию, на колоссальную стройку невиданного доселе города-дворца. А навстречу им брели стада таких же несчастных, перегоняемых с других мест – из Урарту и Сирии, из Вавилонии и Элама... Так расселяли их на пепелищах чужих домов – без корней, без родины, без прошлого, сломленных и отчаявшихся.

Всего несколько лет назад отец Синаххериба, жестокий Саргон – «истинный царь» Шаррукин – стер с лица земли северное

Израильское царство, сжег столицу – Шомрон, смешал с пеплом и золой ее сильные стены, утопил ее обитателей в крови их же собственных детей. Десять колен Израиля жили тогда в Северном царстве; всех убил Саргон – зарезал мечами, зарубил топорами, посадил на колья несчастное отродье десяти иаковлевых сыновей... А потом приказал счесть оставшихся, и было их всего двадцать семь тысяч и еще двести восемьдесят человек, вместе с царем их Ошайей. И угнал он их в никуда, развеял, как пыль по ветру, так что и следа не осталось. И не было с ними Бога – защитить их. А царя их последнего Ошайю повелел Саргон запрячь в колесницу; а на колесницу нагрузить кости его же, Ошайи, отца и деда, специально извлеченные по такому случаю из оскверненных могил. И тащил обезумевший от горя и пыток царь кости своих предков до самой ассирийской столицы, до царского дворца в Дур-Шаррукине. И просил у Саргона смерти, но не дал ему смерти Саргон. И не было с ним Бога – дать ему смерть.

И посадил его Саргон в клетку у столичных ворот, дал в руки ступку и приказал смолоть в порошок отцовские и дедовы кости, пообещав, что если выполнит Ошайя эту работу в срок, то получит от Саргона легкую смерть. Так и сидел у ворот безумный царь, торопливо перемалывая в ступке отца с дедом, дыша костным душным прахом рук, некогда подсаживавших его на коня, прахом груди, к которой прижимался ребенком, прахом головы, которую целовал в детстве. День и ночь трудился Ошайя, и успел, и получил от Саргона легкую смерть: заживо содрали кожу с последнего израильского царя и натянули ее на башню Дур-Шаррукина. Так завершилась история десяти израильских колен, и вот теперь пришел сын Саргона Синаххериб в Иудею – завершить начатое отцом ремесло.

Саша останавливается на минуту. Он сидит неподвижно, смежив веки, и отсвет горящих городов Северного Царства играет с тенью его огромного носа; чертями из горячего бреда прыгают за окном воздетые руки пьяных от крови ассирийцев... ах, нет... это всего лишь топталовка...

Яник тоже закрывает глаза. Он ясно видит свой караван, и кусты бугенвиллии, и холм напротив. Нет, это не холм – это крепость, иудейский город Лахиш, обнесенный мощными башнями и двойною стеною. Он видит душную удавку ассирийской осады, стянувшуюся вокруг обреченного города и ассирийский лагерь невдалеке, обнесенный валом, расчерченный прямыми линиями улиц, с крепкими воротами и царским шатром посередине.

На мерные звуки сашиного рассказа ложатся удары тяжелых таранов. Ассирийцы подтащили их к стенам в нескольких местах; дрожат и крошатся камни под натиском мощных, обшитых медью бревен. Защитники города отвечают градом стрел и камней, опускают сверху цепи, чтобы уловить баранью голову тарана, скинуть его с рамы. Но ассирийцы тоже не дремлют. Осадные орудия надежно прикрыты огромными плетеными щитами; за щитами прячутся лучники – огневая поддержка. Даже если осажденным уда-

стся вывести из строя таран – не беда... вон их сколько!.. да и этот починить недолго. Рано или поздно проломят стену ассирийцы – через месяц, через год, через два... – неважно, время терпит.

А пока что насыпают рабы огромную насыпь, широкий пандус – с самого низу и до самого верху, вровень с крепостной стеною. Чтобы не пришлось ассирийским пехотинцам в тяжелых доспехах карабкаться по шатким приставным лестницам, чтобы взбежали они на стену с удобствами, неудержимой лавиной ниневийского боевого порядка, оцетинившись смертоносными жалами копий из-за сплошного панциря бронзой окованных щитов.

Яник видит момент решающего штурма, слышит ужасающий рев атакующей массы, свист стрел и пращных камней, тучей взметнувшихся в равнодушное небо. Тысячи разъяренных воинов рвутся в проломы, опрокидывая немногочисленных защитников; густыми муравьиными цепочками ползут по приставным лестницам, карабкаются по выступам стен. Вот они врываются в город, вот падают крепостные ворота, вот дикая мидийская конница смертоносной лавой растекается по улицам. Смерть! Смерть! Смерть! Неумолимая смерть накрывает дрожащий город черным саваном пожара, пляшет на площадях и в переулках. Пока что она убивает торопливо, на бегу, даже не оборачиваясь, чтобы посмотреть – убил ли?.. не надо ли добить ползущего?.. Пока что победители заняты грабежом – они спешат загрести, ухватить, хапнуть, набить мешки и карманы липкими от крови монетами, перстнями на отрубленных пальцах, ожерельями с обезглавленных тел.

Красные ручьи текут по умирающему городу, чавкает, пузырится красная грязь под ногами торжествующих ассирийцев... А вот и главный триумфатор. Синаххериб въезжает в поверженный Лахиш на своей колеснице. Это сигнал к прекращению грабежа. Кончаются частные праздники солдатни; пора приниматься за работу. Теперь можно отложить боевое оружие – воевать уже не с кем. На свет извлекаются кирки и топоры. Дом за домом, стена за стеной – в пыль, в прах; бесформенной грудой камней должен стать некогда цветущий город. Отдельный отряд сооружает другую груду – из отрубленных голов. Великий царь хочет оставить по себе память, чтоб убоялись враги, чтоб дрожал от ужаса среди своих каменных пирамид главный враг – фараон: подожди, и до тебя доберется могучий Синаххериб... а пока – взгляни-ка на его пирамиду, не чета твоим!

Из-под развалин, из убежищ, из нор и колодцев извлекают уцелевших – бывших жителей бывшего Лахиша. Удивительно – казалось, всех вырезали во время штурма... ан нет, смотри, сколько их осталось! Теперь победители уже не торопятся, время терпит; теперь они могут заняться пленниками вплотную, поразвлечься на славу; теперь выжившие позавидуют погибшим, горько позавидуют, и не один раз... Ночь опускается на истерзанную Иудею, на торжествующий лагерь Синаххериба. До рассвета пирует царь; до рассвета сотрясаются окрестные холмы от

воплей истязаемых людей. Плохо попадать в плен к любому врагу; стократ хуже – к врагу-садисту; тысячекратно – к ассирийцам. Выситя рядом с лагерем страшная пирамида, прирастает новыми кругляками...

Но сколько ж можно праздновать?.. пора и честь знать... Рабов – в Ниневию, армию – к порядку. Перед отправкой пленников сортируют в последний раз. Головы детей и стариков пополняют пирамиду; остальным сверлят подбородки и накрепко прикручивают язык к коротко связанным ногам – чтобы шел раб мелкими шажками и думал чтобы не о побеге, а о том, как бы не споткнуться... Потому что споткнулся – язык вон, с корнем, на потеху охране.

Яник глядит вслед веренице рабов, семенящих мимо холма, совсем рядом, внизу. Кто-то трогает его за плечо. Он оборачивается. Привет, старая! И ты здесь, а как же иначе... Белая тряпка на голове, фиолетовая юбка с разводами, малиновая шерстяная кофтенка, да еще и синяя безрукавка поверх. И младенец в коричневом свертке. Бери его, бери... бери его, Яник, ну же... Безрешечные веки ребенка вздрагивают, как будто он вот-вот проснется. Ужас охватывает Яника.

– Нет! – кричит он. – Нет! Отстань! Уйди!.. – и открывает глаза, разбуженный собственным криком.

За окном фургона утро. Яник смотрит на часы. Надо же! Целых три часа проспал; давно у него так не получалось... В углу шевелится Саша, поднимает всклоченную русую голову:

– Что такое?.. Что вы кричите?.. А... – опять тот же кошмар?

Яник кивает.

– Знаете что? – говорит Саша. – Я посоветуюсь с равом. Сегодня же. Оставьте мне ваш телефон.

Яник пожимает плечами. С равом, так с равом. Нам, шизикам, все едино...

– Вставай, Саша, – говорит он, потягиваясь. – Пора собираться. Ави нас, наверное, уже обыскался.

6

Восемь вечера. Яник подруливает к условленному месту, и Саша, с видимым трудом оторвавшись от фонаря, садится в машину.

– Куда?

– Езжайте пока прямо... – Саша длинно зевает и закрывает глаза. Голова его медленно клонится вниз под тяжестью носа.

– Эй, друг! – тревожится Яник. – Ты мне тут не засни. Я ведь дорогу не знаю, ты помнишь?

– Не волнуйтесь, – слабо откликается Саша. – Я в порядке. Просто устал очень...

– Опять? Ты что – все время такой задроченный? Тоже кошмары, как у меня? Или мешки в порту разгружаешь по шестнадцать часов в сутки?

– Да нет... работа у меня не тяжелая – техником на телевидении. Русскоязычный канал «SAS-TV»... может, слышали?

– Не-а... – мотает головой Яник. – У меня и телевизора-то нету. Прием у меня в караване хреновый. Я свои кина во сне смотрю. Хватает.

– Ага... – продолжает Саша, не слушая. – «SAS-TV». Паршивый такой каналчик. Мыльные оперы и всякие ток-шоу дурдоголовые. Правда, сейчас хотят новости делать, вот и набрали команду... война в Ираке, то да се...

– Ну? А устаешь-то почему? Мыло взбиваешь... для оперов?

Саша улыбается:

– Я учусь, Яник. Ночами. В ешиве. Там, куда мы едем... Сейчас – налево, и паркуйтесь... рядом с тем домом... ага.

Уже совсем стемнело. Они входят во внутренний двор большого комплекса, кишашего мелкими конторами, адвокатскими офисами, складами, лавками и дешевыми едальнями, и, обойдя огромный мусорный бак, оказываются перед запертой металлической дверью. Саша нажимает на кнопку переговорного устройства и задирает голову к дупотопной телекамере, закрепленной сверху на ржавой скобе. Дверь, посомневавшись, жужжит и щелкает замком. Саша и Яник поднимаются на второй этаж по едва освещенной щербатой лестнице. Видавший виды дворовый кот, выгнув спину в форме «умру, но не сдамся», встречает их на лестничной площадке и неохотно пятится в шипящую темноту коридора.

Путь свободен.

Наверху оказывается неожиданно большая комната, даже, скорее, зал... ну да, – большой зал, уставленный столами. Сейчас он пуст, если не считать растрепанных, издавших виды – как кот – книжек, аккуратными стопками сложенных на столах.

– Садись. – Саша подводит неожиданно оробевшего Яника к одному из столов в середине зала. – Я пока соображу какого-нибудь кофе-чая.

Яник остается один. У дальней стены аккуратными стопками – как книги – сложены матрацы. Тут и спят, надо же... У другой стены – невысокий подиум, на нем – заваленный книгами стол с лампой и микрофоном на длинной жирафьей шее. Ага, это, видать, для главного. Сбоку от стола подвешен телевизор. Он включен – на экране какой-то старикан бубнит непонятно что – не слышно из-за приглушенного звука.

Подходит парень, в джинсах и мятой футболке, за ним еще один, и еще несколько. Они поочередно здороваются с Яником, называя свои имена, которые он, впрочем, немедленно забывает. Ему отчего-то неловко, причем чувство это усиливается оттого, что все подошедшие усаживаются именно за его стол, рядом и напротив, как будто другого места им нету. Они сидят молча, разглядывая Яника... судить будут, что ли? И куда это Саша запропастился? А! Вот и он, слава Богу – мечет на стол пластиковые стаканы, графины с водой, термос, чай, кофе...

– Рав уже здесь?.. – Конечно... – Ну так позови его... – Уже позвали... – Ну ничего, подождем...

– Ты не тушуйся, Яник, – успокаивает его Саша вполголоса. – Они тут все, чтобы помочь. Положительная энергия. Налей себе что-нибудь...

Из комнатки, выгороженной в углу зала, выходит рав, удивительно похожий на питерского портного-частника, шившего в свое время яниковым родителям. Старичок такой, небольшого росточка, белая рубашка, аккуратное брюшко и коротковатые штаны на подтяжках. Ребята за столом, особо не суетясь, освобождают ему место – не во главе, даже не посерединке, просто сбоку, где пришлось. Он садится и потирает кисти маленьких белых рук. Потом поднимает одну из них и стучает себя в грудь.

– Я – Менахем, – говорит рав, взглянув на Яника. – Саша рассказывал мне про вас. Вас ведь зовут... – он делает паузу, как бы припоминая.

Яник приходит к нему на помощь. Рот его открывается, чтобы сказать «Яник», но отчего-то произносит: «Иона». Надо же... яниковы щеки и уши краснеют, пораженные столь непонятным поведением рта.

Рав кивает, не обращая внимания на яниково смятение. Он вообще не слишком докучает Янику своим взглядом – посмотрит, когда покороче, когда подлиннее... да и отведет. А Яник и рад: непростые глаза у старика; все вроде в порядке – и цвет теплый, и морщинки добрые вокруг... а все же что-то не то, непроницаемость какая-то, будто мерку снимает. Не зря портного вспомнил. Только портной-то – понятно для чего снимает, а этот зачем?.. неудобно, в общем.

– Итак, вас преследует сон, – говорит рав. – И вы пытаетесь от него избавиться, но пока безуспешно. Вы пытаетесь убежать от него в явь, но он настигает вас и там. Сон этот связан с Ассирией, а вас зовут Иона... Аналогия настолько прозрачна, что мне даже не очень понятно, как это вы сами не догадались. Думаю, что и Саша мог бы объяснить вам все уже при первой встрече...

Сидящие за столом кивают и укоризненно смотрят на Сашу – мол, что ж ты так, оплошал, Александр? Тот смущенно разводит руками. Сейчас, небось, скажет: «устал...» – думает Яник.

– Устал я тогда... – виновато объясняет Саша. – Не просек...

– Вы помните историю пророка Ионы, вашего тезки? – спрашивает рав недоумевающего Яника. – От него тоже требовалось совершить нечто, чего он не хотел. А именно – идти в Ниневию со страшной вестью о предстоящей гибели города. Я не знаю, какими предстают ассирийцы в ваших снах, но реально Ассирия была воплощением ада на земле. Ни до, ни после мир не знал столь страшной, возведенной в ранг религии, массовой жестокости. Ассирия была империей узаконенного изуверства, а Ниневия – его столицей. Если бы целью ассирийских царей были только завоевания, подчинение народов, разруше-

ние... – это бы еще куда ни шло. Мало ли разрушителей проносились по земле в разные годы?

Нет, целью ассирийцев было мучительное уничтожение, с упором на «мучительное». Им было недостаточно просто захватить город, просто разрушить его, просто истребить всех его обитателей. Главное удовольствие заключалось для них именно в мучительстве, в садистском истязании побежденных. Ассирийские законы чудовищны, ассирийские боги отвратительны, коварны, блудливы. Если требовалось тогда указать на место, где расположен вход в ад, то место это располагалось именно там, между Калахом и Дур-Шаррукином, в Большой Ниневии, в самом сердце Ассирии, в логове сатаны. Идти туда, да еще и с угрозами – означало верную смерть, причем не просто быструю, легкую смерть, но страшные, длящиеся, нечеловеческие мучения...

Рав Менахем замолкает. Он сидит, уютно сложив на столе маленькие руки и печально кивает в такт собственным мыслям.

– Сейчас эти места называются иначе, – говорит Саша. – Калах именуется Нимродом, а Дур-Шаррукин – Хорсабадом. А рядом с ниневийским дворцом Синаххериба стоит теперь большой город – Мосул. Северный Ирак, курдские провинции... слышали, наверное; сейчас эти имена на слуху.

– Слышал, – отвечает Яник. – Конечно, слышал – по радио... Только при чем тут я? Мосул... Ниневия... ассирийцы... Мне до них – как до Луны. Какая связь? Не понимаю...

Старик поднимает палец.

– Вот! И тот Иона не понимал.

Он поворачивается к Янику всем телом. Теперь он смотрит на него, не отводя взгляда, не выпуская растерянных Яниковых глаз из цепкой хватки своих непроницаемых зрачков.

– Каждый человек приходит в этот мир во имя определенной цели; а иначе – зачем ему приходиться? Как правило, цель эта не ясна ему самому, и многих это мучает в течение всей их жизни. Кто я?... зачем я?... – спрашивают они, и нет ответа. Возможно, я прожил всю свою жизнь только для того, чтобы сказать вам эти слова, а Саша родился на свет только затем, чтобы привести вас ко мне. Кто знает? Только Хозяин и знает.

Он беспомощно разводит руками.

– Знает, но не всегда говорит. Скорее всего, часто Ему не кажется столь необходимым объяснить тебе – кто ты и зачем ты; возможно, Ему даже не важно – поймешь ли ты свою задачу или нет... или даже – выполнишь ли ты ее или нет; ведь Он всегда может найти других исполнителей. Конечно, Он предпочел бы, чтобы все всё понимали – представь себе, сколько бы это сэкономило сил и страданий... Тем не менее, Он обычно не настаивает на своем, оставляя выбор в наших руках. В этом, собственно, и заключается человеческая свобода. Но иногда Хозяин не столь снисходителен. Иногда Ему отчего-то важно, чтобы именно данный, конкретный Иона совершил данное, конкретное действие. И тогда Он объясняет Ионе его задачу, сначала почти не-

уловимыми намеками, затем более явными знаками, а если потребуется, то и прямым, однозначным указанием.

Обрати внимание, даже в этой ситуации Хозяин никого не заставляет – решение всегда остается за самим человеком; просто теперь, после столь исчерпывающих объяснений, человек уже не может сослаться на непонимание.

Яник нервно хмыкает:

– Хорошенькое дело – не заставляет! Насколько я помню историю с тем Ионой, он не больно-то рвался, волинил как мог, даже убежать хотел... Его именно заставили. Добровольно-принудительно... Одна байка с китом чего стоит!

– Э, нет, – не соглашается рав. – Вы не совсем правы. Иона бежал не от самой задачи, а от ее осознания. Чувствуете разницу? Это разница между «не хочу понимать» и «не хочу выполнять». Иона отказывался принять сам факт поручения – в точности так, как неоднократно поступаем мы все в течение нашей жизни. Не хотел расписываться в получении повестки, понимаете? Вся штука в том, что на этот раз Дающий поручения проявил настойчивость... А потом уже само решение – исполнять или нет – оставалось за Ионой и только за ним.

– То есть, он мог бы сказать «нет»? – уточняет Яник. – После того, как понял, чего от него хотят, после того, как подписал повестку? И что бы с ним тогда случилось?

– Не знаю... – рав пожимает плечами. – Скорее всего, никто бы его не тронул. Жил бы остаток своих дней в вечном беспокойстве.

– В беспокойстве? Почему?

– Ну как... – в непроницаемых зрачках вспыхивает на секунду лукавый огонек. – Повестка-то на руках. Вот она, – лежит на тумбочке, не дает о себе забыть... Неуютно как-то, неприятно. Человек места себе не находит, бессонница начинается, раздражительность... в общем, – беспокойство. И жизнь, вроде, нормальная, а вкуса в ней нету.

– Ну вот, – рав Менахем смотрит на часы и легонько прихлопывает по столу. – Было приятно познакомиться, молодой человек.

Он встает. Яника охватывает непонятная ему самому паника.

– Подождите, рав Менахем, – поспешно выкрикивает он и вскакивает вслед за стариком, направляющимся в свою каморку. – Подождите... что же мне теперь делать?..

– Подписывайте повестку, – говорит рав, не оборачиваясь. – Прекратите убегать и подписывайте.

Яник растерянно смотрит на Сашу.

– Ничего не понимаю... Что же, мне теперь в Мосул ехать, – проповедовать?.. Чужь какая-то.

Сашины глаза весело блестят. Он обнимает Яника за плечи с неожиданным панибратством.

– Не волнуйся. Ты же слышал – тебе все объяснят. Главное – не сопротивляйся, понимаешь? Принимай это с радо-

стью, и все само собой образуется. Пойдем-ка пока перекусим. Ты ведь не спешишь?

Они переходят в небольшой закуток рядом с залом. Там уже суетятся двое, накрывая на стол: хлеб, вода, миски, стаканы. Шимон, где суп? Вези уже! Шимон, седой коренастый старикан с круглыми любопытными глазами, ввозит на тележке кастрюлю с супом. Ешиботники рассаживаются; Шимон наливает супу всем, кроме себя. Сам он усаживается сбоку и умильными глазами наблюдает за трапезой.

– Погодите-ка, – говорит Саша. – А где же «Роса Мудрости», в честь гостя?

На столе появляется бутылка без этикетки, с прозрачной жидкостью. Саша разливает.

– Это наша водка, собственного изготовления, – объясняет он Янику. – Называется «Роса Мудрости». Шимон вот готовит, по рецептам еврейских народов Заполярья. Попробуй. Прочищает и сжеживает... Ну... лехаим!

Яник опрокидывает вместе со всеми. Забытый со времен подворотной российской юности – вкус разбавленного спирта, неприятный сивушный запах, сухое першение в горле. Он удивленно качает головой – надо же... не думал, что когда-нибудь снова доведется... а вот ведь пришлось.

– Ну как тебе? – с энтузиазмом спрашивает Саша и наливает по новой. – Классно, правда? Ты пей, не жалей, у нас еще много. Верно, Шимон?

Шимон радостно кивает. Глаза его сияют.

– Отличный напиток, – подтверждает Яник. – Кстати, сколько в ней процентов мудрости, в этой росе?

– Когда как получается, – с гордостью говорит винодел. – Это, знаете, по вдохновению... Но не менее пятидесяти. Жаль мне нельзя с вами, после операции.

– На открытом сердце, в прошлом месяце, – шепчет Саша Янику. – Врачи говорили: все, надежды нету. А вот ведь выжил, нашими молитвами. Тут у людей знаешь какая положительная энергия? Горы сворачивает...

Он возбужденно прихлебывает жидкий невкусный суп.

– Ну, давай еще по разику. – Саша высоко поднимает пластиковый стаканчик с «Росой Мудрости». – Ребята! Я хочу, чтобы все мы выпили за успехи Ионы. За его повестку! Лехаим!

Все смотрят на смущенного Яника и кивают, добросовестно излучая положительную энергию.

Вторая пролетает соколом. Да и супчик, вроде, ничего, есть можно. Однако, пурга-то какая, – думает Яник. – Черт-те что; кому рассказать – не поверят... роса мудрости... положительная энергия... повестка... Полный бред. И как это меня вечно заносит во всякие несуразности? А уж как голова завтра болеть будет, с росы-то с этой... ай да люли...

– Лехаим! – говорит он вслух и опрокидывает третью. Мелкой пташечкой.

7

Он робко скребется в дверь, рав Менахем, бедняга. Кончай, Яник, неудобно; старый, уважаемый человек топчется у твоей двери, а ты сидишь себе, зажав смех в кулаке, и не выпускаешь.

— Неудобно, это так, но что я могу поделать, коли мне так смешно; прямо распирает, честное слово. Как же я ему открою-то, братцы, в таком-то виде? Представьте себе: вот я открываю, а он там стоит со своей дурацкой повесткой — маленький такой, в коротких штанишках с подтяжками, старый еврей-закройщик с Петроградской стороны. Я же умру со смеху, я же взорвусь прямо ему в лицо... это, по-вашему, удобнее? Пусть лучше пока думает, что я сплю и не слышу... вот отсмеюсь и открою.

— Пусть думает, что ты спишь? Так ведь ты и вправду спишь, Яник, чего ж тут думать?

— Ну вот, тем более. Я сплю, я сплю просто замечательно, давно я так не спал; вот оно — счастье... — сон, светлый и радостный, со сладко защемленным сердцем и детскими слюнками на подушке. Так что пусть он подождет, рав Менахем, он понимает, он хороший. И повестка у него хорошая, и весь сон хороший... Господи, счастье-то какое!

— Откуда же счастье, Яник?

— А кто его знает... откуда во сне берется счастье? Что я — хозяин снам своим? Что я — отец им? А если даже и отец — то что с того? Сон за отца не отвечает, вот.

— Э, нет, Яник... экий ты шутник сегодня... сам ведь знаешь, что есть у тебя причина радоваться.

— А хоть бы и так. Есть причина, так что? Еще и лучше. Даже знаете что? — не то что есть причина радоваться, а нету причины горевать — вот так-то оно правильнее. Нету ее в этом сне, причины — старушечки с младенцем... нету!.. сгинула, карга ненормальная! И ассирийцев нету... — никого из прежней мерзкой команды. Все чисто, как на празднике! Впервые за полгода! Как же тут не радоваться, братцы? Никакой тебе мрази; на горизонте — ни облачка; один уютный и смешной рав Менахем в коротких штанишках... вот отсмеюсь — и открою.

— А что ж за повестка у него, Яник?

— А черт его знает... может — на примерку?... я знаю? Он ведь портной, вы помните? Может, он мне костюм шьет, у меня как раз нету... Вот ведь смех — другим шьет, а себе нормальных брюк справиться не может, до чего же он смешной, этот старик... да... однако, и в самом деле — неудобно, пора открывать. Только что же он там скребется у двери, что же не звонит? Эй, рав Менахем! Звоните! Видите, кнопочка там, на косяке, справа, под мезузой? Звоните, ребе, звоните...

И рав Менахем звонит. И звонит. И звонит... Только при чем тут рав Менахем? И при чем тут дверь? У Яника и звонка-то на двери нету, так что и звонить там нечему. Это телефон, вот что. А, черт! Конечно же, это телефон... разбудили, гады! Какой сон сло-

мали! Ну надо же! В кои веки такой сон приснился, так нет же... кайфоломы проклятые!

Яник отчаянно вцепляется в простыню, натягивает ее на голову, крепче зарывается лбом в подушку. Сон, миленький, погоди, куда же ты... ну побудь еще немножко, ну хоть полчасика... Нет! Сломали. Он еще лежит некоторое время с закрытыми глазами, отлавливая последние обрывки чуда, и наконец сдается. Пора вставать. Яник смотрит на часы. Ого! На часах полдень. На часах – полдень, и в душе – полдень, и солнце – в зените. Славното как! Он встает с отчетливым ощущением счастья, как будто подаренный ему чудный сон не исчез бесследно, но растворился в яниковом теле тремя литрами свежей, искрящейся, радостно закипающей крови. Дайте мне рычаг, друзья! Дайте мне рычаг, и я переверну мир! Яник, рыча, оглядывается... рычага не видать... да и Бог с ним; вынесем-ка лучше мусорное ведро. Да и прибрать тут неплохо бы – совсем грязью зарос, стыдоба.

Снова звонит телефон, с упрямым истерическим оттенком. Алло! Это Саша.

– Яник! Ты почему трубку не берешь?! Слушай, это срочно...

– Сашуня, – проникновенно говорит Яник. – Дорогой Сашенька. Продай мне ящик вашей «Росы». Нет, продай мне два ящика. Пожалуйста. А не продашь, я вас ограблю и возьму силой. Ты себе не представляешь, как я себя чувствую... как новенький. И сон был такой чу...

– Погоди! – перебивает Саша. – Потом расскажешь. Тут такое... такое...

Он говорит, торопясь и захлебываясь. Помнит ли Яник, – он, Саша, недавно рассказывал, что на его телеканальчике набирают команду для новостей? Так вот, эта история получила неожиданное продолжение. Теперь босс и хозяин канала надумал послать съемочную группу не куда-нибудь, а прямо в Ирак – просто, чтобы не отставать от других, представляешь? А кого тут пошлешь? – с израильским паспортом не годится, ясно. Значит, нужны люди с двойным гражданством, чтобы группа, значит, канала под что-то другое – под канадскую там, или российскую, или еще какую... понимаешь? В общем, подходящих людей мало, вернее сказать, почти совсем и нету. Тут-то Саша про Яника и вспомнил – мол, есть у него такой, техник божьей милостью, отставной козы автоматчик без определенных занятий, ни семьей, ни работой не обремененный, зато с российским паспортом в кармане.

– Они, как услышали, прямо обалдели, – кричит Саша. – Где ж ты, говорят, раньше был? Такой ценный кадр зря пропадает! Короче, Яник, собирайся и немедленно приезжай. Они, конечно, с тобой сначала поговорят, но, в общем, все уже решено. Лучше тебя им ни в жисть не найти! И потом... сам понимаешь...

Сашин голос вдруг падает до свистящего шепота:

– Это повестка, Яник. Повестка. Та самая, о которой говорил рав. Распишитесь в получении, господин Иона. Ты едешь в Ассирию, Яник. В Ассирию!..

Яник откладывает телефон и смотрит в окно, на вверенный ему холм напротив. С большим масличным деревом на самой вершине, он похож на ассирийский шлем с султаном.

ХАРРАН

1

– Яник, посмотри, какая красотища! Да проснись же ты, дурак-человек... все равно уже подлетаем... смотри, смотри... расчерчено-то как!.. ну прямо Питер!

Яник открывает глаза, придавленный сырой глыбой мишаниного тела. Самолет подлетает к Анкаре, и Мишаня, перегнувшись через Яника, ловит в качающемся иллюминаторе прямую сетку бульваров и улиц турецкой столицы.

Корреспондентская группа международного канала «SAS-TV» состоит из трех человек: журналиста, оператора и техника. Журналист должен встречать их в Анкаре, а с оператором Мишаней Черновым Яник познакомился в Тель-Авиве, за неделю до отлета. Мишаня лыс, толст, одышлив и жутко потеет, причем во всех обстоятельствах, независимо от температуры и рода деятельности. Об этом он предупредил Яника сразу, протягивая пухлую ладонь-ватрушку для первого признакомского рукопожатия. – В компании можешь надо мной смеяться, я привык, – сказал ему тогда Мишаня вполне жизнерадостно. – Мне это не мешает; я ж понимаю – неудобно, когда приходишь куда-нибудь с таким потярой.

В течение всей последней недели они вдвоем сбились с ног, ища, выклянчивая, собирая, пакуя и сдавая в багаж необходимое оборудование. Денег у канальчика – в обрез; каждый проводок приходилось выпрашивать. Самим тоже надо как-то экипироваться – говорят, холод там собачий, в Северном Ираке. А у Яника и нету ничего теплого, разве что дубон старый, армейский... но дубон не годится – именно потому что армейский; короче – проблема. Набрали там и сям свитеров; Мишаня шубу раздобыл на рыбьем меху... ничего, пробьемся. В общем, кое-как собрались, и слава Богу.

А Мишаня так вообще счастлив. Для него эта поездка, как он говорит, – последний шанс в люди выбиться, заветный билетик в светлое будущее. Нет, так-то он на судьбу не жалуется, Мишаня, не такой он человек, чтобы на судьбу жаловаться... но все же, как ни посмотри, а не сложилась у него жизнь... или нет... сложиться-то сложилась, но не больно удачно. Да... – А что это значит: «не больно удачно», а, Мишаня? Поясни непонятливому. – Отчего ж не пояснить, – улыбается Мишаня. – Пожалуйста... – Улыбка у Мишани исключительная, доброты невероятной; стыдно делается рядом с такой улыбкой за собственные грехи, за несовершенство мира. Если бы он еще не потел так, бедняга... цены бы его улыбке

не было. Мишане сорок шесть лет. Он, собственно, Янику в отцы годится. Только кто ж его, такого несуразного, в отцы возьмет?

– Да нет, – вздыхает Мишаня. – Есть у меня сынок, в этом году школу заканчивает. И семья была. Развелись.

Мишаня разводит руками для убедительности. – Теперь они в Киеве, – говорит он, недоуменно глядя на отведенную в сторону левую руку. – А я – здесь. – Он переводит взгляд вправо. Не сложилась у Мишани семейная жизнь. Он пожимает плечами. Зачем он тогда своей бывшей жене понадобился? За границу выехать, что ли? Все равно ведь потом вернулась. Хотя тоже не одна – нашла себе тут другого мужа. Мишаня качает головой и вдруг снова улыбается. Ничего. Он ей все равно благодарен: хоть какая-то семья была в его жизни; честно говоря, и прожили-то вместе всего ничего – год с небольшим. – Но и год с небольшим – тоже хлеб, правда, Яник? – Конечно, Мишаня, конечно... А что же, сына ты теперь совсем не видишь?

Да как сказать. Мишаня смущенно отводит глаза. Собственно, и сын-то – не совсем его. – То есть, усыновленный, ну, ты понимаешь. Но я к нему жутко привязался за тот год. И, по-моему, я тоже ему нравился; он меня даже не очень стеснялся... – Мишаня снова разводит руками. Такие дела. Теперь она видется не дает; хочет, чтобы мальчик привыкал к новому папе. Зачем тебе? – говорит. Был бы хоть родной, а то ведь – никто и звать никак.

А и в самом деле – кем он был, Мишаня, пока не подвернулась ему эта работенка, пока не вытащил он этот счастливый лотерейный билет? Никем и не был, бедолагой безработным... газеты разносил по ночам. Нет, в смысле денег ему хватало – много ли надо одному?... но в профессиональном плане, конечно, обидно. Он ведь классный оператор, Мишаня, честное слово. Ты, Яник, даже не представляешь, какие он фильмы делал, с какими людьми работал... А тут – газеты разносить... жалко. Нет, не подумай только, что он нос задирает – мол, ниже его достоинства великого газеты разносить... нет, не в этом дело, Яник, не в этом... просто руки чешутся чего-нибудь снять, вот и все. Хочется – просто ужас.

Мишаня счастливо улыбается. Как им все-таки повезло, им с Яником! Вот увидишь, мы еще прославимся! Наши репортажи еще CNN купит, вот увидишь! Оператор Чернов. Техник Каган. Эх...

А почему именно тебе предложили, а, Мишаня? Как ты думаешь? – Ну как... Мишаня радостно подмигивает. Хотел бы я тебе сказать, Яник, что выбрали оператора Чернова из-за высочайшей его квалификации... но ведь это – не так, ты и сам знаешь. Просто никого больше не нашли, вот и все. Эти не могут, те боются... Да и деньги, право слово – смешные... Разве это деньги? Мишаня в который уже раз разводит руками: деньги – вот они, а мы где? А мы – там. Развод у нас с деньгами, Яник. Несложившаяся семейная жизнь...

– Клевая артелка у нас подобралась, Мишаня! – смеется Яник. – А кто третий-то? Наверняка, такой же лузер, как и мы с тобой. А? Ты его знаешь?

– Что ты, Яник?! – ужасается Мишаня. – Господь с тобой!.. Андрей – лузер?! Сказать такое про самого Андрея Ревича! Неужели ты никогда не сталкивался с этим именем?

Яник пожимает плечами.

– А я вообще мало с кем сталкивался. Телевизора у меня нету, с газет меня воротит, по радио предпочитаю музыку... так что уж извини за вопиющие пробелы в образовании. Андрей Ревич, говоришь?.. Нет, не в курсе. Андрей Гуревич – это да, был у меня во взводе такой салага... а вот Ревич – нет, не попадался.

– Ну как же... Ревича не знать... – Мишаня искренне удивлен. А впрочем, это и понятно – ведь Яник в общем эмигрантском супе не больно-то и варился; приехал по молодежной программе, катился куда запусают, лунка за лункой, как мячик на полянке для гольфа. Ульпан в киббуце... школа... армия... гуляй, где скажут; валяй, что покажут... есть вопросы? – нет вопросов. Да и откуда им взяться, вопросам? Все и так ясно. Где ж ему в этой уютной ясности понять душу семейного бедолаги, заброшенного волею судеб в чужое, непонятное, опасное болото незнакомой страны. Запустили и бросили – сам справляйся. И вот стоит он, несчастный запущенный карась, выпучившись во враждебную мутную неизвестность, судорожно шевелит слабыми плавниками, пытаюсь собрать, прикрыть, предостеречь глупых своих мальков, и страшные щучьи силуэты мерещатся ему повсюду. Куда податься? Вправо? Влево? В нору? Под камень? На отмель? А ну как сожрут? Ой-вэй... вот тут-то и дорог хороший совет, ох как дорог!

А где ж его взять, совет-то? Можно, конечно, других карасей поспрашивать... но как-то боязно: какие-то они все перепуганные, не лучше его самого. Вот если бы какое-никакое руководство сыскалось... Все-таки печатное слово – это тебе не пустые разговоры, не пересуды на завалинке; печатное слово наш карась уважает с младых чешуек. В это-то перепуганное безрыбье первых лет большой эмиграции и вплыл молодой журналист Андрей Ревич. Вплыл уверенно, стильно, роскошным пятикилограммовым лецом, элегантно посверкивая красивыми серебристыми боками и презрительно булькая на местных нахальных окуней. Ну как такому не поверишь?

Вообще-то Андрей журналистом не был, хотя и писал в газете. Он также не был историком, хотя и никогда не упускал случая привести эффектную историческую аналогию. Не был он и экономистом, хотя и давал непререкаемые рекомендации по поводу выгодного вложения капитала. Да мало ли кем он не был?.. Знаете, ладно уж, так и быть – только для того, чтобы разом с этим и покончить... – никем он не был, Андрей. Никем. Теперь довольны? Только вот – что это значит? Разве обязательно надо закончить журналистский, чтобы писать?.. экономический – чтобы по деньгам советовать?.. Нет ведь, правда? Собственно говоря, Андрей и школу-то не закончил, ну так что? Неинтересно ему стало в школе, вырос он из нее, из школы. Он вообще очень быстро рос, Андрей – как и все шустрые умом таланты. Быстро и уверенно. Так

же – быстро и уверенно – он писал и свои статьи по всем коренным вопросам бытия, не гнушаясь, впрочем, и второстепенных.

Караси читали и радовались. Теперь они знали – как надо. Потом, конечно, случалось всякое. Иногда Андрей оказывался прав в своих оценках, иногда нет... – статистика. В общем-то, с таким же успехом можно было подбрасывать монетку... Многие, задним числом, обвиняли его потом в своих бедах: мол, вложили бабки, и все пропало. Ну да что уж тут поделаешь: лес рубят – щепки летят. Были ведь и такие, что выигрывали, не так ли? Так. А значит – все путем.

И кроме того, глупости все это – правильный совет... неправильный... Какая, к черту, разница? Главное ведь тогда было – сдвинуть с места остолбеневшего караса, вывести его из губительного ступора, заставить пошевелить хвостом. А уж куда он в результате поплывет – направо или налево – не так и важно, в конечном-то счете. Важно, чтоб поплыл. Потому что, коли поплыл, – считай, уже не утонет.

Увы, простую эту логику не все понимали. Многие даже по прошествии нескольких лет на Андрея сердились, письма всякие возмущенные писали – мол, какого ты хрена советы даешь, о чем понятия не имеешь? Ну и так далее... паршивый народ – люди. Некоторые даже совершенно неуместно поминали Хлестакова. А Ревич тогда уже сильно в гору пошел – ведущий журналист, на телевидении собственную программу запустил – «Андрей Первозванный». Название, и в самом деле, не очень скромное, но, с другой стороны, действительность отражало: разве не был Андрей Ревич первым парнем на деревне? Разве не его первого звали к любому событию? Вот вам и первозванный.

Только недолго баловал Андрей израильтян своим искрометным талантом. Вырос он из маленькой Израиловки, так же, как в свое время вырос из школы. Скучно ему стало, тесно в ограниченной, провинциальной, азиатской стране. Душа рвалась в полет, на большие просторы, а он прозябал тут, с глупыми неблагодарными карасями. И действительно, никто ведь даже спасибо не сказал. Так и профукал Израиль своего великого сына. Уехал Ревич; плюнул – вам же хуже – и уехал. К большим делам, в Москву. Потому что если и остались тогда на земном шаре большие дела, то только в Москве.

Как и следовало ожидать, Москву Андрей взял быстро и без потерь. Еще бы – ведь к прежней своей элегантно уверенности он добавил ореол широкого международного опыта, а эта комбинация работала тогда безотказно. Взлет Первозванного к звездам Первопрестольной был красив и стремителен. Через пару лет его сухое лицо с энергичным бобриком уже красовалось на обложках журналов в непосредственном соседстве с благородной шевелюрой Билла Клинтона и выпуклыми прелестями Памелы Андерсон. Вице-президент по вопросам стратегии... соучредитель... член совета директоров... – титулы Андрея Ревича сверкали и множились, как... как...

Мишаня щелкает пальцами, ища достойное сравнение.

– Как кролики... – приходит на помощь Яник.

– При чем тут кролики? – не соглашается Мишаня. – Кролики не сверкают.

– Ну, тогда... как пятна солянки в луже.

– Нет, не годится. Зачем ты приземляешь? – Мишаня усиленно морщит лоб.

– Кончай так напрягаться, Мишаня. Еще вспотеешь...

– Как фейерверк! – кричит Мишаня. – Сверкали и множились как фейерверк! Вот!!

Усатый тук с переднего сиденья испуганно вздрагивает и оборачивается.

– Ничего, ничего... – успокаивает его Яник. – Это мы так... мучи творчества... ..Мишаня, ты бы того, поосторожнее. А то еще заметит за попытку захвата самолета. Ты мне лучше вот что скажи: как это такой зубр на нашу инвалидную артелку упал? Зачем ему это? Он ведь вон какой – с Памелой Андерсон на дружеском бедре, а тут мы с тобой – два аутсайдера, да каналчик наш занюханный. Не вяжется что-то...

– Вот ты сам его и спроси... – отчего-то обижается Мишаня.

Самолет осторожно пробует землю правым шасси и приземляется, по-вороньи подпрыгивая и упираясь в воздух трепещущими закрылками.

2

– Ну и где он, твой гений?

Залитый потом Мишаня растерянно озирается, ища Андрея Ревича. Встречающих немного, и все они какие-то тихие, не тупеющие. И Ревича среди них, вроде бы, нет. Впрочем, Мишаня может и ошибаться: знакомство у него с Первозванным совсем мимолетное, даже не шапочное... – так, выпивали как-то за одним длинным столом.

– Да отцепись ты от тележки, Мишаня, – продолжает досадовать Яник. – Походи по залу, поищи; может, он где в другом месте торчит.

Мишаня послушно делает круг. В аэропорту Эсенбога чисто и тихо; странная какая-то Турция, думает Мишаня. Вот и Ревича нету, а должен быть. А может это и не Турция вовсе? Турцию Мишаня представляет себе совсем иначе, в духе старого фильма «Бег»... там все было определенно грязнее и азиатистей. Странно... Вдыхая, Мишаня возвращается к Янику. Тот встречает его зверским выражением лица.

– Ну?... Летим обратно?

Он свирепо озирается вокруг и вдруг подскакивает на месте.

– Вон же он, смотри! Как же ты его раньше не просек?!

Яник указывает на здорового усатого толстяка в шляпе и длинном пальто.

– Да ты что... это точно не Андрей... с чего ты взял?

– Ну как же! Ты глянь, что на нем написано!

И впрямь, на шее у толстяка плакатик с буквами «SAS-TV». Привет, генацвале... или как тебя там. – Фатих... Очень приятно. – Ты за нами?... Ну, слава Богу!.. А где Андрей? – Андрэ? Ждет в отеле. – Ах, в отеле... понятно... эй, Мишаня, загружаемся!

Потом они около часа едут в чистеньком «Транзите» по бульвару Ататюрка и деликатно помалкивают. ОТЕЛЬ расположен в центре, недалеко от огромной мечети, по-хозяйски воткнувшей в небо четверку длиннющих членисторогих минаретов. Как вилку в бараний окорок, – думает Яник, глотая слюну. Он проголодался и хочет спать. Теперь, когда кошмар с ассирийским младенцем оставил его, он старается использовать для сна каждую свободную минутку, наслаждается всеми его физиономиями и ужимками: и сладким растеканием сознания в момент первой дремы, и уютной серединной качкой полусна-полуяви, и радостным тягучим всплыванием в жизнь перед самым пробуждением. Это так хорошо – спать!..

Босс поджидает их в лобби.

– Хай. – Он протягивает узкую подростковую ладонь. – Андрей.

В его исполнении это и в самом деле звучит как «Андрэ». Шкодный такой Андрэ, среднего роста, худощавый и обладающий презрительной ленивой грацией модного парикмахера. Сначала он здоровается с Яником, безошибочно оценив субординацию внутри прибывшей группы из двух человек, и только потом, выждав паузу, поворачивается к Мишане. Эта непредвиденная задержка вынуждает бедного Мишаню снова вытирать об штаны заранее приготовленную руку. Он торопится и от этого потеет еще больше. Ревич наблюдает за мишаниной суетой с насмешливым изучающим интересом.

– Ладно, – говорит он, устав ждать. – Что за церемонии... – Хлопнув Мишаню по плечу, Андрей подталкивает его к стойке.

– Регистрируйтесь и поднимайтесь в номер. Клоповник еще тот, но жить можно. Встречаемся тут через полтора часа. Бай! – Он резко поворачивается и уходит в сопровождении Фатиха.

Вечером они сидят в близлежащем ресторане, едят долму, пьют пиво и обговаривают варианты. Вернее, обговаривает Андрей, а Яник с Мишаней слушают. Фатих, молчаливой жующей глыбой высящийся рядом с Ревичем, тоже слушает, хотя и не понимает ни слова. Он по-русски ни бум-бум. Он и по-английски-то не очень. Андрей объясняется с ним на занятой смеси турецкого с немецким или просто – знаками.

– Сколько языков ты знаешь, Андрей?

– Хорошо – десять, и еще несколько – кое-как... – Ревич начинает перечислять, загибая пальцы, но быстро сбивается со счета.

– Здорово! – восхищается Яник и показывает глазами в сторону Фатиха. – А зачем нам этот человек-гора?

– Шофер, телохранитель, эксперт по местным нравам, а то и просто – подай-принеси... – объясняет Ревич. – Без этого тут

никак. Да и недорого – я ему двести баксов в день плачу, вместе с машиной.

Они возвращаются к вариантам. Вариантов немного – ровно три. В северный Ирак попадают через Турцию, Сирию или Иран. Турецкий путь кажется короче, но не обязательно легче. Дело в том, что граница закрыта, так что перейти можно только нелегально. Само по себе, в обычное время, это не так уж и страшно. Но в том-то и фокус, что время сейчас необычное – война на носу; крупные турецкие силы сосредоточены в Силопи, и заворачивают всех, особенно журналистов. Даже бакшиш не помогает – вот ведь до чего дошло!

Сирийская граница с Ираком пока открыта и иранская – тоже. Хотя слово «открыта» не совсем подходит; вернее сказать – «полуоткрыта», потому что на легальное пересечение требуется спецпропуск, а уже его-то достать почти не светит. Таковую взятку – на уровне министра – нам точно не потянуть... Значит, надо будет переходить нелегально, как и в варианте с Турцией. Разница лишь в том, что сирийцы и персы свою границу с Ираком охраняют кое-как, не то что турки. Выходит, в обход хоть и дальше, но безопаснее.

Теперь вопрос – какой путь из двух предпочесть? Вообще-то, хрен редьки не слаще. И в Сирии, и в Иране не больно-то любят нашего брата... а уж если обнаружится израильский хвост... – пиши пропало, даже российские паспорта не спасут. А потому Андрей категорически просит отставить на фиг все ивритские словечки, и если Мишаня хотя бы еще один только раз позволит себе сказать официанту «тода», а коридорному в гостинице – «слиха», то он, Андрей, прикажет Фатиху вырезать Мишанин язык, чтоб не болтался, а Фатих такие вещи умеет, правда, Фатих? Фатих серьезно кивает. Мишаня виновато шмыгает носом и обещает, что – да, конечно. Под мышками его свежей рубашки темнеют обширные потные полукружия.

Итак, оба зверя страшны, но Иран все-таки хуже. Из Сирии, если попадемся, выбраться еще можно, а с иранскими аятоллами шутки совсем плохи. Да и сирийскую визу здесь получить намного проще. Так что падаем на сирийский вариант. Окей? Все согласны? Ревич обводит взглядом свою притихшую команду. Фатих кивает первым. Ну и славно. Значит, завтра идем в сирийское посольство за визами. А сейчас – спать.

– А когда же снимать начнем, Андрей Евсеевич? – робко влезает Мишаня.

– Снимать? – недоуменно спрашивает Ревич. – А что тут снимать, в Анкаре? Конную статую Ататюрка? Нас куда послали? В Ирак? Вот там и снимать начнем. И потом – в Анкаре нам светиться нечего.

Он бросает на стол многонулевые турецкие деньги и встает, уходить.

– А при чем тут «светиться»? – говорит ему вслед Яник. – Мы что, от кого-то скрываемся, что ли?

Ревич резко оборачивается и пристально смотрит на Яника, как будто увидев его впервые. А ведь он чем-то очень сильно напуган, – думает Яник, глядя ему в глаза. – Ох, не нравится мне этот тип, ох, не нравится...

Страх в ревичевых глазах сменяется обычной циничной усмешкой.

– А может, и скрываемся... – медленно отвечает Ревич, растягивая слова. – Вся наша жизнь – побег, господин Иона. Уж тебе-то не знать, с таким-то именем...

3

На улице около сирийского посольства копошится очередь: турагенты с пачками паспортов, кучки «дикой» туристской молодежи, в основном, немцы, и несколько десятков представителей репортерской братии, безошибочно отличаемых в толпе по особой, разухабистой, гиперактивной манере смотреть, разговаривать, двигаться.

– Стойте тут, – говорит Андрей, пристраивая Мишаню и Яника в очередь за двумя высокими девицами в дубленых полушубках. – Мы с Фатихом пока заскочим в банк, заплатим за визы... Хай, гёрлз!

Последние слова адресованы девушкам в дубленках и сопровождаются ослепительной телевизионной улыбкой. Девушки улыбаются в ответ. Они что-то спрашивают, но Андрей спешит. Потом, потом... Эх, – думает Яник. – жаль, что я по-аглицки плохо спикаю. Девочки-то ничего; можно было бы поболтать, скоротать время... а время-то скоротать ох как надо – холодно, товарищи, холодно!

Конец марта, а весною в Анкаре и не пахнет; холод собачий, и вдобавок – ледяной ветер, который ведет себя совершенно похамски, набрав силу и уверенность в прямых желобах анкарийских проспектов. Над мишаниной рыбьей шубой он откровенно смеется, нагло забирается под полу, щиплет Мишаню за рыхлый потный живот, по-хулигански толкает в грудь. А бедному Мишане, отвыкшему в тепличном израильском климате от таких выкрутасов погоды, и ответить-то нечем торжествующему хаму. Пытаясь защититься от шустрых кулаков ветра, он суетливо дергает руками, нелепо притоптывает, поворачиваясь то тем, то этим боком... – все впустую, избиение продолжается.

– Холод-то какой, Господи! – Мишаня беспомощно жмется к Янику.

А Янику не лучше – у него даже рыбьей шубы не имеется; поддел пару свитеров под нейлоновую куртень – и выживай, как знаешь. Тоска. Он завистливо кивает на весело щебечущие дубленки:

– Нам бы такие клифты, Мишаня... Может, отнимем, а? Этим горячим тёлкам шубы ни к чему, они и голышом не замерзнут...

Девушка впереди обрывает фразу на полуслове и резко поворачивается к Янику.

– Что-о? Горячим тёлкам? – гневно вопрошает она на русском языке, вполне чистом, хотя и сдобренном каким-то непонятным акцентом. – Что? Да как ты смеешь?..

Янику разом становится жарко. Он разводит руками, глупо улыбается и бормочет неуклюжие извинения. Рядом предатель Мишаня заливается обидным смехом.

– Вы уж его извините, девушка, – говорит Мишаня. – Это он с холодухи такой неловкий. А вообще-то Яник – парень безвредный. И дублинки у девушек отнимает только по понедельникам, а сейчас у нас пятница, так что бояться нечего... Меня зовут Миша. А вас?

Экий ты, оказывается, гад, Мишаня! – мысленно досаждает Яник. – На ходу подметки рвет... и главное, за мой счет – вот что обидно...

– Пал, – представляется девушка. – А это – Кэрри. Но она по-русски не умеет.

Кэрри улыбается – да, мол, не умею, ничего не поделаешь. Мишаня кланяется, галантно, насколько позволяет рыба шуба. Теперь он находит нужным проявить благородство по отношению к поверженному товарищу.

– Не кажется ли вам, Пал, – произносит он с шутливой церемонностью. – Не кажется ли вам, что в честь нашего знакомства можно помиловать этого преступного типа? Я предлагаю, учитывая безупречное прошлое и прекрасные рекомендации с места работы, заменить ему смертную казнь через испеление на двадцать пять лет каторжных работ.

Пал задумчиво взглядывает на Яника. Глаза ее смеются.

– Что ж... – говорит она. – И в самом деле... Мне, как супергерчейке телке, кажется неразумным испелять столь породистого бугая. Пусть живет и работает. Только купите ему попонку потеплее, чтоб не застудил орудия производства. А то телки растутся.

Подлый Мишаня с готовностью разражается новым взрывом хохота. Ага. Друг называется... Погоди, погоди... встретимся еще где-нибудь на повороте; посмотрим, кто тогда посмеется.

Надо бы что-то сказать, что-нибудь такое же бойкое и остроумное, его очередь, но Яник молчит, как пень, и сам не понимает, почему. Он смотрит в ее веселые прищуренные глаза и чувствует странное смятение и разбросанность мыслей.

– Гм... – только и может выдать из себя Яник. – Да уж.

– И это все? – изумляется Пал. – Экие нынче бугаи в России неразговорчивые...

Подруга Кэрри вдруг прыскает и начинает что-то шептать Палу на ухо, захлебываясь от смеха и посматривая на Яника, а Пал отвечает ей короткими английскими фразами и тоже смеется. Это уже совсем обидно. Яник отворачивается, смущенный и раздосадованный. Что за имя такое дурацкое – Пал?

Мишаня тем временем приступает к расспросам – кто, да откуда, да куда? Пал отвечает. Нет, они не собираются задерживаться в Сирии, им нужно в Ирак. Кэрри – свободный фотограф, репортер, надеется заработать на тамошней заварушке. А у нее, у Пал, есть одно дело в районе Мосула... этнографическое исследование, можно сказать... Конечно, время для этнографии не совсем удобное, но не хочется ломать планы; она, знаете ли, свои планы никому ломать не дает, даже войне, вот. Нет, они совсем не давние подруги, познакомились в самолете по дороге сюда, хотя обе – из Канады, Кэрри из Монреаля, а Пал из Торонто, случалось бывать? Нет? – Не страшно, ничего не потеряли... Скучная страна – Канада, там ничего не происходит, как в песне Высоцкого.

Да, как видите, она и Высоцкого знает, и вообще по происхождению Пал москвичка, даже в российскую школу успела походить, до восьми лет, пока родители не свалили в канадское далёко. Она так и говорит: «в канадское далёко» и смеется, глядя на Мишанино удивление. Дома-то всё по-русски, Миша; оттуда и песни и слова. Да и вообще Торонто – русский город, особенно сейчас, знаете, когда из Израиля столько народу приезжает. Только и слышишь на улице, что русский да иврит. Она даже несколько ивритских слов выучила: «тода» – это спасибо, и... Пал сосредоточивается, пытаюсь припомнить. – Слива, – грустно подсказывает ей Мишаня. – Точно! – кричит она восторженно; а откуда Мишаня знает – он что, тоже из Канады?

– Нет, – поникает головой Мишаня, – увы, не из Канады; он, Мишаня, из самого того самого, откуда эти два слова, и Яник – тоже; только им эти слова произносить нельзя, потому что босс запретил. Чтоб не светиться. – Неужели? Пал прямо подпрыгивает от восторга. Вот здорово! Она начинает что-то быстро-быстро лопотать Кэрри, которая давно уже в нетерпении дергает ее за рукав, требуя перевода. Отделавшись от Кэрри, она снова набрасывается на Мишаню. Неужели они настоящие израильтяне? Тут, в Турции? Да еще и в Сирию собираетесь?! – Шш-ш-ш... – шипит на нее Мишаня и оглядывается. – Ах, да!.. Какая же она дура, совсем забыла; им же нельзя светиться... Да, но как же они хотят получить сирийскую визу?.. Ага, понятно... Ну, вообще...

Пал снова коротко совещается с Кэрри и с крайне серьезным видом поворачивается к Мишане. Есть предложение. Если они, конечно, не против. Это ведь ему ясно, что им тоже нужен Ирак, а вовсе не Сирия. Сейчас все туда намыливаются. Так вот. У Кэрри есть человек, который переводит через границу, курд. Берет по тысяче долларов с носа. Говорят, это недорого. Хотите – присоединяйтесь; и вам хорошо, и нам спокойнее. Мишаня пожимает плечами. Спасибо, девочки, но это – к Андрею; он у нас решает. А вот, кстати, и он...

Жабообразная служащая в окошке подозрительно смотрит на Яника, по капле выжимающего нужные слова из скудного запаса школьного английского курса.

– Какова цель вашего визита в Сирию?

– Туризм, – рапортует Яник.

– Вы журналист?

– Нет, я студент.

– Я обязана поставить вас в известность, что нелегальное пересечение границы строго преследуется сирийскими законами. Вы журналист?

– Нет, я студент, турист.

Яник подобострастно улыбается. Пожилая бородавчатая жаба качает головой. Она явно не верит ни единому его слову. Кажется, вот сейчас выстрелит длинным липким языком и заглотит Яника, как комара. Почему же она, тем не менее, проштамповывает визу? Поди пойми земноводных...

На улице Яник присоединяется к прочей компании – он последний, только его и ждут, все успешно обвизованные – и Андрей, и Мишаня, и девушки. А Фатиху не надо, ему и так хорошо. Андрей командует парадом. Значит так: сейчас мы подбрасываем девушек в отель, а вечером заезжаем за ними часиков эдак в восемь. О'кей? Надо отпраздновать знакомство. Он как раз знает отличный кабак в Кизилае.

Вечером сидят в ресторане; он вполне европейского вида, хотя, как сказал Андрей, с питьем небогато. Кэрри кокетничает с Ревичем; собственно, даже уже и не кокетничает – эта стадия, видимо, пройдена быстро и счастливо, и теперь они, тесно прижавшись, раскачиваются в медленном танце на крохотной полутемной площадке. Мишаня увлечен кебабами и пивом. Покончив с очередной порцией, он вытирает пот мокрой салфеткой и недоуменно смотрит на Пал и Яника:

– А вы чего расселись, как неродные? Яник, не будь букой, потанцуй девушку. – И подливает себе еще.

– Спасибо, Миша, – говорит Пал и встает, не оставляя Янику выбора. – А то ведь я совсем заскучала. По-моему, молодой человек меня боится. Не бойся, Яник, я тебя не съем. Во всяком случае – не сразу.

Судя по смешливому всплеску в глазах, она хочет добавить еще что-то шутливое, но сдерживается. Чтоб не спугнуть.

Яник неловко поднимается. Весь вечер он непонятным образом напряжен и раздосадован. То есть, раздосадован оттого, что непонятно, почему напряжен. Раздосадован... напряжен... тьфу, черт! – между двумя этими состояниями он и телепается битый день, с утра, самому надоело. Ясно, что это из-за нее, признайся уже. Конечно, из-за нее, и это самое странное. Да кто она такая, чтобы так на нее западать? Он в который раз пробует приземлить ситуацию каким-нибудь залихватски-казарменным оборотом; он даже начинает говорить сам себе: подумаешь, телка!.. но дальше «телки» дело не идет, собственно, и «телка»-то не очень выговаривается, а уж о прочих запланированных деталях, типа «сисек» и «задницы», даже речи нету – на это просто язык не поворачивается; так что желаемого приземления никак не выходит.

Для общей разрядки он напоминает себе, что все равно они через день-два разбегутся, поэтому – ша, парниша, расслабься... но этот довод почему-то совсем не радует, скорее наоборот – неприятен, об этом даже думать не хочется. А о чем хочется? А вот, к примеру: почему имя у нее такое странное – Пал? Об этом думать неожиданно приятно – не о сути вопроса, а само имя думать, просто повторять: «Пал...», «Пал...», «Пал...» и иногда еще: «почему?..» Приятно и все тут. А коли приятно, то отчего бы этим не заниматься? Что – кому-то это мешает? И вообще – он вправе делать все, что ему заблагорассудится. Кто ему запретит? Никто. Вот он и делает: «Пал...», «Пал...», «почему?..» А то, что вид у него при этом совершенно дурацкий, то это, граждане, его личное дело, а если кто сунется – получит в рыло. Вот так. И он с вызовом смотрит на случайного турка за соседним столиком. Турок на всякий случай пугается и отводит взгляд. Это слегка поднимает Янику настроение – не один он здесь такой, есть турки и позатурканней его. Тут-то и влезает Мишаня со своими танцами.

Яник идет вслед за Пал на площадку, туда, где, сплетаясь, томило покачиваются Кэрри с Андреем. Связное содержание его сознания уменьшилось ровно наполовину – осталось только «почему?..» Все остальное – цветной ветер, как в мультфильмах. Он осторожно берет ее в обе руки, удивляясь всему: тому, что она живая, тому, что она вдруг оказалась как-то меньше ростом и тоньше, чем он думал, вернее, не думал, а, скажем так, полагал, потому что ведь он вообще ни о чем не думал; тому, какое тонкое у нее запястье и какая нежная спина. Эти чрезвычайные в своей важности открытия медленно колышутся в его голове, длинные и гибкие, как водоросли. Он чувствует ее запах, ее волосы на своей щеке, слушает ее голос... Голос? Да, голос; она что-то говорит. Очнись, Яник, это ведь в конце концов не музыка – это слова. Она что-то спросила... но – что?

В панике он произносит самое близкое к языку слово: «Почему?..» Пал смеется.

– Что «почему»? – говорит она его ключице. – Ты слышал, о чем я тебя спросила?

Яник отключает ключицу от мозга, потому что иначе вообще ничего не получится. Теперь он вспомнил целое предложение и торопится сказать его, пока не забыл.

– Почему у тебя такое имя?

Он не произносит самого имени. Он не говорит «Пал», потому что боится, не знает, как прозвучит это слово после того, как он целый день обкатывал его во рту, в перевернутой вверх дном комнате своего сознания. В самом деле, даже камни меняют форму от тысячекратного облизывания морской волной; что же говорить о таком хрупком слове, как «Пал»...

Она что-то говорит, а он слушает, не слыша слов, а просто впитывая ответ целиком; слова здесь – всего лишь щекочущее поглаживание ключицы воздухом из ее губ, всего лишь мелодия; а кроме слов есть еще масса других чудес – взмах ресниц, дви-

жение рук по его плечу, и шее, и затылку, нечаянные прикосновения грудей и коленей, до отчаяния безысходные в своей кратковременности. И расчетливый беспорядок каштановых прядей ее волос; время от времени она отбрасывает их назад и в сторону, или только делает вид, что отбрасывает, а на самом деле – все крепче и туже затягивает сеть, в которой беспомощно, хотя и совершенно добровольно, барахтается Яник, заодно со всем его прошлым, и будущим, и, в особенности, – настоящим.

Вдруг она замолкает и отстраняется, осиротив избалованную яникову ключицу.

– Что? – спрашивает Яник.

– По-моему, ты где-то витаешь и совсем меня не слушаешь.

– Нигде я не витаю. И слушаю тебя очень внимательно.

– Ну, повтори.

– Слушаюсь, господин учитель!

Он добросовестно повторяет ключевые моменты – о папе, профессиональном диссиденте и сумасшедшем пацифисте; о маме, профессиональном искусствоведе и сумасшедшей поклоннице Пикассо; о ней самой, несчастной, – единственной дочке, вынужденной совмещать в невообразимо безвкусном имени «Палом» обе страсти, сжигающие безумных родителей; о том, как нелегко выходить с таким именем во двор, идти в садик и в школу, как унижительно чувствовать свою неисправимую ущербность рядом с нормативными Светами и Наташами, которые к тому же непрерывно дразнят тебя всякими обидными прозвищами – от «облома» до «пилорамы»...

– Подожди, – останавливает его Пал. – Не смей называть моих родителей сумасшедшими.

– Да, но ты сама...

– Мне можно, я – страдальца, – отрезает она безжалостным ножом женской логики. – А ты тут ни при чем.

Яник смеется.

– Тогда и мне можно. Я – такой же страдалец, как и ты. Мы с тобой из одного и того же клуба, уважаемая Облома. Позволь представиться – я ведь тоже не Яник, я – Ионыч...

И он рассказывает ей свою историю, другую, но очень похожую; они и в самом деле очень похожи – не зря ведь им сейчас так хорошо вместе, на этой крохотной танцплощадке, в этой чужой и чуждой стране, в этом незнакомом анкарийском ресторане, рядом с этими, потерявшими всякий стыд, Кэрри и Андреем. Где они, кстати? Только что раскачивались тут, в двух шагах, самозабвенно целуясь, к вящему смущению целомудренных турецких музыкантов... а, смотри-ка, они уже за столиком... да, собственно, и музыка кончилась... что же мы здесь топчемся?... вот смех-то... пошли, Ионыч... пошли, Облома... а за Облomu – ответишь.

За столом – сонный Мишаня сыто щурится на недоеденный кебаб, рядом возвышается безмолвный Фатих, да Андрей что-то активно обсуждает с Кэрри. Беседа явно деловая – это ясно да-

же Янику, который вообще-то не в состоянии врубаться в быстрый темп английской речи. О чем они?

– Договариваются, – объясняет ему Пал, – завтра едем в Диярбакыр.

– Вместе?

– Ага.

– Ну и слава Богу. А почему именно в Диярбакыр?

– А черт его знает.

– Мишаня, где это?

– Где-то рядом с Сирией, – лениво отвечает Мишаня. – Да и к Ираку близко.

Андрей оглядывается на них и переходит на французский. Теперь у них с Кэрри полный приват. Конспираторы хреновы.

Тем не менее, несмотря на идеальные условия переговоров, заканчиваются они очевидным взаимным недовольством обеих сторон. Кэрри надувает губы, а Андрей с досадой хлопает ладонью по столу. Что случилось? После непродолжительного молчания девушки удаляются в дамскую комнату для консультаций. Андрей?

– Да ну ее... – неохотно говорит Ревич. – Женщины... Ей, видите ли, непременно хочется сделать снимки ночного Хисара. Без этого она умрет несчастной. Все-таки все бабы – дуры, а красивые канадки – в особенности.

– А что тут такого? – не понимает Мишаня. – Давай прямо сейчас подскочим... сколько там?... десять минут езды... Фатих подвезет. Да и не поздно еще.

– Тьфу! И этот туда же! – Андрей чувствует, что раздражение его и в самом деле выглядит нелогичным, и от этого кипит еще больше. – Как вы не понимаете: здесь не Канада и не Израиль... А... что с вас взято... дураки непуганые...

Возвращаются Кэрри и Пал. Теперь губы надуты у обеих; они молча усаживаются и с видом оскорбленного достоинства принимаются изучать внутреннее убранство ресторана.

– Яник, – говорит Мишаня. – Поверь пожилому Мишане. Человечество изобрело многие виды наступательного оружия. Против каждого из них, в конечном счете, находится защита. Против каждого... кроме этого. Этот вид женской атаки еще никогда и никем не отражался. Против этого лома нет приема и, я подозреваю, не будет никогда. И сейчас ты будешь свидетелем очередного подтверждения этому непреложному факту.

Андрей фыркает и сдается.

4

Старый город Анкары, затаившийся совсем недалеко от помпезной конной статуи Ататюрка, с угрюмой азиатской непреклонностью отрицает европейскую мечту Отца-основателя. Где вы, прямые проспекты и бульвары, парки и стеклобетонные громады? Зачем вы здесь, под черным оттоманским

небом, под острым, как нож, лежащим на боку полумесяцем? Ступайте себе прочь в свои глупые европы; здесь вам не место. Истинные хозяева тут они – грубо мощенные улочки покосившихся деревянных домов, византийская цитадель, кривые, как месяц, переулки, пустынный в этот час сельджукский базар да темная полуразрушенная мечеть.

Кэрри впадает в творческий транс; охая и ахая, она мечется от угла к углу, приседает, выбирая ракурс, просит посторониться, пережидает наползшее на месяц облачко, меняет объективы и аппараты и при этом непрестанно щелкает, щелкает, щелкает... Андрей угрюмо наблюдает за ее хаотическими перемещениями; сам он движется довольно скупой; верный Фатих, как привязанный, не отходит от него ни на шаг. Пал и Яник тоже ходят вместе; они больше молчат, лишь изредка обмениваясь незначительными замечаниями: смотри, какой интересный дом... что они, тут совсем не убирают?... черт, темнотища-то какая... и народу никого, неужели все уже дрыхнут? Мишаня гуляет сам по себе, глаза по сторонам и радуясь вечернему моциону – авось, сгинет пара-другая калорий, после стольких-то кебабов.

Улочки и в самом деле безлюдны. Редкие прохожие удивленно пялятся – зачем они здесь, эти чужаки? Не то чтобы они кому-то мешают, а так... взгляд спотыкается. Подумаешь... может, у Яника тоже спотыкается... взять хоть того турка – чем-то он Янику определенно знаком; погоди, погоди... ну конечно! Это ж тот самый, из ресторана, он еще сидел за соседним столиком и отворачивался под сердитым Яниковым взглядом. Вот так совпадение... Нет, Яник, так не бывает; нет в природе таких совпадений, вот что. Половина Яникова мозга еще благодушествует, еще кайфует от близости Пал, от ее руки у него на рукаве, за который она дергает, показывая, – мол, глянь туда, Ионыч, да не туда – туда... ну что ж ты такой отмороженный!.. но вторая половина уже занята совсем-совсем другим.

Она уже считает шаги, эта половина, она оценивает расстояния, чертит схемы ситуации, злится на первую – лентяйку. Она и принадлежит-то не этому, нынешнему Янику; она прямоком оттуда, из прошлой жизни, из шхемских закоулков и трущоб Джебалии, где каждый подросток может выхватить пистолет или просто пырнуть ножом, где из каждого окна может высунуться брызжащий пулями ствол «калача», а за каждым углом может оказаться мина, растяжка, смерть. Где он, командир отделения из разведроты саперной бригады ЦАХАЛа, отвечает не только за себя, но и за нескольких товарищей, осторожно, вдоль стенок, след в след, идущих за ним по вонючему переулку.

Яник пристально, уже не скрываясь, смотрит на турка, а турок неторопливо идет навстречу, и, кстати, он не один – вон как поглядывает на этого, второго, длинного, в кожаной куртке – они явно вместе. Фатих, кстати, тоже напрягся... значит, неспроста я паникую... или нет? Все так же не торопясь, турок из ресторана приближается к Кэрри, ищущей ракурс шагах в десяти впереди всех;

прямо за ней – зевающий на Луну Мишаня. Яник напружинивается. Что с тобой? – интересуется Пал, но он уже забыл о ней, он уже весь – в подготовке прыжка, в лихорадочном, интуитивном просчете вариантов.

Турок тем временем равнодушно обходит скорчившуюся посередине улицы Кэрри и сталкивается с неловким зевакой Мишаней, не вовремя отступившим прямо ему под ноги. Надо же... экий я параноик... – досадует сам на себя Яник, глядя на Мишаню и турка, хлопотливо и многословно рассыпающихся в извинениях друг перед другом. – Обычный человек, гуляет, как и мы... так что бывают совпадения, старший сержант Каган, еще как бывают...

– Да скажи же мне, наконец, что случилось? – нетерпеливо спрашивает Пал, и он поворачивается к ней, чтобы ответить, что ничего, мол, все о'кей, красивая, никаких обломов не наблюдается, и в этот самый момент турок резко отталкивает Мишаню и прыгает на Фатиха, и нож блестит у него в левой руке, а тот, что в кожанке, у него тоже нож, и он бежит за первым, огибая его, чтобы достать Ревича, в ужасе вжавшегося в стену за фатиховой спиной.

Времени раздумывать нету; Яник автоматически делает пару быстрых шагов навстречу кожанке и, упершись рукой в стенку, выбрасывает вперед левую ногу. Главное сейчас – затормозить гада, остановить, разорвать дистанцию, перехватить инициативу, а уж там посмотрим. Кожанка с маху натывается ребрами на Яникову ногу и отскакивает; не смертельно, но не так уж и приятно... ясно, что он не ожидал нападения с этой стороны; его объект – Андрей Ревич, это очевидно. Так они, видимо, и задумали: пока первый турок сковывает телохранителя, второй режет Андрея – план прост и эффективен, как кебаб. Даже теперь, переминаясь напротив неожиданно выросшего перед ним Яника, кожанка все время косится на главную цель, на парализованного страхом Андрея – не ушел бы. Яник тоже быстро оглядывается: Фатих с турком, рыча, катаются по мостовой, остальные размазаны по стенкам... на ногах – только он и парень в кожанке, посреди полутемной улицы, друг против друга, одни в целом мире. Теперь необходимо сосредоточиться на руке с ножом. Выбить не получится – во-первых, парень не промах, сразу видно, а во-вторых, ногами Яник не очень-то умеет, так и не научился. Значит, надо держать дистанцию и ждать момента.

Какое-то время они пританцовывают друг против друга; в этой игре у Яника преимущество – время работает на него: а ну как полиция набежит? Турок вынужден спешить. Он делает несколько пробных выпадов и, наконец, решается на отчаянный бросок. Э-э, братишка... – успевает подумать Яник. – В Газе-то ребяташки покруче тебя будут... Он резко отбивает руку с ножом и всем телом движется навстречу противнику, сконцентрировав всю энергию, всю силу, весь порыв, весь страх и всю ненависть в одной единственной, впереди него летящей точке – в пяточке напряженно отогнутой назад ладони правой руки. Теперь главное – попасть. Стремительно и бережно, чтоб не расплескать – несет он этот

ужасный многотонный заряд к цели – к основанию вражьего носа, туда, где топорщатся густые турецкие усы, гордость и слава анатолийского самца.

Удар приходится в самое туда. Хруст сминаемых носовых хрящей сливается с громким и странным горловым хлюпом. Голова турка резко дергается назад. Мгновение он стоит неподвижно, уравновешенный силой собственного броска против сокрушительной мощи яникова удара; голова его уже в отключке, но ноги еще не знают об этом и по привычке тщатся сохранить вертикальное положение. Затем он весь складывается и враскоряку обрушивается на землю, как оборвавшая нити марионетка. Попал-таки! – запоздало понимает Яник. Он отворачивается от кожанки и идет взглянуть, что происходит на параллельном ковре. Фатих близок к победе. Собственно, он уже победил, и теперь закрепляет успех, размеренно стуча вражеской головой о камни брусчатки. Судя по неприятному, чмокающему звуку, хоронить ресторанного турка придется без затылка. Фатих действует одной рукой, сидя на трупе верхом; второю он держится за собственный живот. Ранен?

Яник наклоняется и трогает его за плечо.

– Фатих? Кончай молотить, сезон прошел. Ты о'кей?

Фатих поднимает к нему залитое кровью лицо. В невидящих глазах – боль, очень много боли. Он бормочет что-то непонятное, будто просит. Яник оглядывается на Ревича.

– Что он сказал?

Ревич отрывается наконец от стены и подходит вплотную.

– Он просит зашить ему живот.

Фатих, все так же придерживая живот, сползает с трупа. Он подтягивает себя к стене, затем, опираясь на нее свободной рукой, приподнимается на колени, и с неимоверным трудом, в три приседа, встает. Он стоит, покачиваясь, и скулит неожиданно тонко и жалобно. Яник делает шаг – помочь, но Андрей останавливает его, с силой схватив за плечо. Почему? – удивленно поворачивается к нему Яник, но тут ноги Фатиха разъезжаются на скользкой от крови мостовой, и он сползает вниз, хватаясь за стенку и за воздух обеими бесполезными руками, а из оставленного без присмотра живота неудержимо вываливаются наружу серо-кровавые внутренности. Все так же скуля, Фатих суетливо и безуспешно пытается запихнуть их назад. Он уже не говорит ничего, только скулит, и ноги его начинают подрагивать, мелко-мелко.

– Надо его в больницу, срочно, – говорит Яник.

– Не поможет, – отрывисто отвечает Андрей. – Он уже труп. От такого не лечат. Надо линять отсюда. Полиция нам ни к чему.

Он склоняется над умирающим и, брезгливо оттопырившись, шарит в карманах пальто. Переулок освещается резкой слепящей вспышкой. Это Кэрри, свободный фотограф. Не упустить же такой кадр... Андрей резко оборачивается. Он уже совсем пришел в себя, и прежняя самоуверенная повадка сквозит в каждом его жесте.

– Яник! – командует он. – Собери весь выводок и дуйте к «Транзиту». Я вас догоню, вот только ключи найду... И куда же он их засунул, черт подери?

После минутного колебания Яник подчиняется. В конце концов, время подумать о живых, о Пал, например. Стоя там же, где Яник оставил ее несколько минут тому назад, она остановившимися глазами смотрит на вывалившиеся кишки Фатиха и дрожит в такт предсмертной чечетке его каблуков. Обе ладони ее судорожно прижаты к широко раскрытому рту, как будто пытаются – и никак не могут – вытащить наружу мечущийся внутри вопль.

Этого еще не хватало! Яник подсказывает к Пал, обхватывает одним быстрым ловящим движением, крепко прижимает к себе, пряча ее беззвучно раззявленный рот в складках своего свитера; но она выгибается, распираемая неимоверным ужасом, высвобождая пережатые клапаны горла, и дикий крик, легко преодолев ненадежную звукоизоляцию в виде яниковой груди, свитеров, куртки, вырывается на волю, в кривой раструб переулка и, отразившись от стен, улетает в анкарийское небо.

– Ааа-а-а!..

– Шш-ш-ш... – шипит Яник, не выпуская ее из захвата, не давая вздохнуть, набрать силы и воздуху для нового вопля. – Шш-ш-ш... Тихо, Пал, тихо... все кончилось, перестань...

Где-то рядом хлопает ставня, распахивается окно; теперь-то уж точно надо делать ноги. Хотя нет худа без добра – крик девушки выводит из оцепенения Мишаню, и он сразу же начинает суетиться, деятельно и бестолково: бегаёт от чертыхающегося Андрея к скульптурной группе Яник-Пал и обратно, хватая за рукав испуганно щелкающую затвором Кэрри, тянет всех то в ту, то в эту сторону и при этом, не переставая, бормочет, тихо, но очень настойчиво, как ребенок в до смерти надоевшем ему супермаркете: «Ну пойдёмте уже... ну пойдёмте... ну что же вы... ну пойдёмте...»

Наконец Пал обмякает в Яниковых руках; она все еще дышит судорожными всхлипами, но почти овладела собой; можно двигаться. Вот и Андрей выпрямляется, торжествующе подняв над головой связку ключей.

– Вот они! Быстро, за мной. Да не бегите вы, мать вашу! Миша! Шагом!..

Уводя Пал, Яник оглядывается. Фатих уже не скулит, глаза его закрыты, но каблуки продолжают выстукивать свой последний однообразный танец.

5

– Ну что, довольны? – Андрей нервно расхаживает по комнате. – Говорил я вам, дуракам? Нет, на средневековые красоты их потянуло, дуру пьяную ублажать... Ну и что? Получили средневековые? Во весь рост, какое хотели?

Номер у Ревича роскошный, о двух спальнях, не чета тому, что у Яника с Мишаней. Салон, мягкая мебель, подсвеченный

бар с бутылками, ведро со льдом... фу-ты ну-ты... Завидев бар, усевшийся было Яник встает и наливает себе стакан первого попавшегося.

– Мишаня, тебе чего?

– Водка есть? – с надеждой спрашивает Мишаня. Он обеспокоенно расплылся по дивану. Ему бы сейчас поспать, но Яник настоял на этом разговоре...

– Водки нет, – отвечает за Яника Андрей. – И вообще, могли бы спросить меня, для приличия.

– Водки нет, – отвечает Яник, игнорируя хозяина. – Даром что Первозванные, а водки не жрут. Они тут все больше коньяками по вискам заколачивают, аристократы наши. Рыцари трепла и кинжала. Выпей-ка и ты «Реми-Мартена», дорогой Мишаня. Авось, тоже гладко врать научишься. Посмотри, как это выгодно.

Он делает широкий жест рукой с зажатой в ней открытой бутылкой. Солидная порция коньяка выплескивается на ковер. Яник удовлетворенно кивает, наливает Мишане полный стакан и вытирает мокрую руку об узорчатую диванную обивку. В голове его копится спящая белая ярость. Ее уже так много, что он с трудом сдерживает себя, говоря подчеркнуто медленно и остерегаясь раздавить стакан в судорожно сжатой ладони.

– Интересно было бы узнать, чем мы обязаны этому хамству? – спрашивает Ревич. Надо отдать ему должное – держится он хорошо, хотя некоторая неуверенность все же проскальзывает. Яник осторожно ставит стакан на каминную доску и смотрит на руки. Руки слегка дрожат, и он ощущает острое покалывание в кончиках пальцев. Не убить бы... а вот не сжимай в кулак и не убьешь...

– Ах, тебе интересно? – ласково спрашивает он Ревича, делает шаг вперед и наотмашь бьет его ладонью по щеке. Теперь он уже не говорит, а рычит, так что слова с трудом различимы. – Тебе интересно, сволочь, подонки? Интересно?

Ревич отшатывается. Он напуган, но не теряет самообладания. Прикрыв голову руками, он выжидающе смотрит на Яника и ждет продолжения. Мишаня пугается куда больше. Он вскакивает с дивана и хватается Яника за плечи.

– Яник, Яник... ты что?.. как ты можешь?.. за что?..

Яник отталкивает Мишаню назад, на диван.

– Ты что, совсем слепой? Ты что не видишь – кто это? Ты видел, как он через два трупа перешагнул и не поморщился? Как он своего холоуя умирающего шмонал, а потом бросил подышать, как собаку? Ты думаешь, с тобой он иначе поступит, если приспичит?.. – Яник поворачивается к Андрею. – Мне вот тоже кое-что интересно, господин Ревич. К примеру: почему ты здесь, такой крутой – в такой заднице? И от кого ты бегаешь? И при чем тут мы? И я очень советую тебе отвечать без ужимок, потому что настроение у меня сейчас сильно паршивое и твоей гнусной харе никак не благоприсутствует.

– Хорошо, – соглашается Андрей. – Ты только успокойся. И вообще, мог бы сначала спросить, прежде чем в морду навешивать. Может, и бить не пришлось бы... – Он замолкает. Паузы у Ревича многозначительные. Яник ждет, мрачно наблюдая за тем, как Андрей идет к бару, выбирает несколько бутылок, долго и тщательно отмеривает порции для какого-то сложного коктейля, проверяет получившуюся смесь для начала на свет, затем – на вкус, хмыкает, мотает головой, добавляет что-то еще...

– Пресветлый князь про нас совсем забыли, – говорит Яник. – Как ты думаешь, Мишаня, может, стоит напомнить яйцам его сиятельства о нашем скромном присутствии?

Мишаня обеспокоенно шевелится на диване и на всякий случай придвигается поближе к Янику.

– Сейчас, сейчас... – безмятежно отзывается Андрей, пробуя напиток. – Какой-то ты агрессивный сегодня. Я уже почти закончил. Это особый коктейль, тут каждая капля важна...

– Давай, я тебе туда плюну, для пикантности, – предлагает Яник.

Андрей морщится.

– Фу, как грубо... – Он удобно, с подушками и валиками, устраивается в кресле. – А если я скажу тебе, что ни от кого я не бегаяю? Что это были всего лишь хулиганы, грабители, коих тут пруд пруди, особенно, в старом городе? Что я, зная об этом, специально вас предупреждал – не стоит лезть туда ночью? Что тогда?

– Тогда я отвечу, что ты нагло врешь.

Яник старается говорить грубо, с прежним нажимом, но ярости в нем уже сильно поубавилось – предпринятая Ревичем элегантная затяжка времени сделала свое дело.

– Ты врешь, потому что этим двоим, в переулке, нужен был именно ты. Все остальные их совершенно не интересовали. Обычные грабители не прошли бы так просто мимо Кэрри с ее навороченной камерой – она одна тянет на несколько тысяч баксов. Это раз. Теперь, они нас пасли с самого ресторана, а может и раньше; это – два. Наконец, ты нам с первого дня морочишь голову со своими «не светиться»... это – три. Достаточно?

Андрей задумчиво кивает.

– Угу... – он отхлебывает из своего стакана и одобрительно смотрит на Яника. – Я сразу понял, что ты неплохо соображаешь... молодец... И дерешься ты классно. Собственно, если б не ты, лежать бы мне сейчас там, в переулке, рядом с Фатихом. Зарезали бы, как поросенка.

Его почти веселая улыбка странным образом контрастирует с мрачным содержанием слов.

– Кто-то скажет – повезло Ревичу... и будет неправ. – Андрей поучительно поднимает вверх палец. – Хорошее везение, граждане, как и хорошая импровизация, должно быть подготовлено заранее. Я ж тебя такого специально заказывал, друг ты мой грубоватый. И, как выяснилось, не зря. Теперь вот сижу тут, коктейль попиваю...

Он, видимо, доволен собой. Яник переглядывается с Мишаней. Тот недоуменно пожимает плечами.

– Заказывал? У кого заказывал?

– Да у босса вашего малахольного. Так и сказал ему – найди мне какого-нибудь спецназника. Ты ведь из разведроты? Сапер? Хоть и не совсем спецназ, но тоже неплохо...

Ревич вздыхает и некоторое время молчит, задумчиво похлопывая себя по коленке.

– Ладно, – говорит он наконец. – Значит, так, да? Ты непременно хочешь объяснений? Пожалуйста. Только ведь, чем меньше знаешь, тем дольше живешь. Так что подумай... Нет? Все-таки хочешь? Может, хотя бы Мишаню спать отправим? Время-то уже не детское. Тоже нет? Экий ты непреклонный...

Что ж... ладно... Скажем так: в Москве у меня накопилось много дел, которые требуют моего срочного отсутствия. Какие именно дела, я вам объяснять не стану – это уж совсем ни к чему, не для средних умов, да и история слишком длинная. Вполне достаточно сказать, что возникли некоторые денежные недоразумения. А, черт! Так трудно с вами разговаривать!..

Ревич безнадежно мотает головой. Он как-то очень быстро опьянел от своего замечательного коктейля. С видимым трудом он разгребает подушки, встает и, пошатываясь, направляется к бару. На этот раз он уже не утруждает себя тонким процессом смешивания, а просто плещет в стакан коньяк и выпивает залпом, как водку.

– Как трудно! Слова у нас с вами, вроде, одинаковые, но значение у них – совсем разное. К примеру, как объяснить вам, лопухам, что такое «денежные недоразумения»? А? Нет, погодите... зачем так сложно?.. как объяснить вам – что такое деньги? Вы же этого не знаете ни хрена. Вы же думаете, что деньги – это что-то одно, а на самом деле – это совсем-совсем другое! Понятно?

– Где уж нам, бабуинам... – говорит Яник. – Но по-своему, пообезьянны, мы все-таки соображаем. Ты, большой белый человек, задолжал другому большому белому человеку некое неизвестное нам вещество, называемое «деньги». И за это он хочет убить тебя из своей страшной палки, изрыгающей огонь и железных пчел. Я складно излагаю?

Ревич пожимает плечами.

– Вполне. Надеюсь, теперь ваше любопытство удовлетворено?

– Не совсем. Почему ты убежал именно сюда? Вроде, место не очень-то и подходит, особенно сейчас – война и все такое... Да и достать тебя тут легко...

– Достать везде легко, – перебивает его Ревич. – И найти человечка везде можно. Любого. Вопрос времени, не более того. Земной шарик сильно помельчал, господу бабуины, если, конечно, смотреть не с ветки. Так что прятаться – все равно где, то есть равно бесполезно. Но я не прятаться сюда приехал. Мне в Ирак нужно. Только не спрашивайте – зачем, все равно не скажу.

– А зачем тебе эта комедия с телеканалом? Как тут мы с Мишаней вписываемся?

– Очень просто, – усмехается Ревич. – Именно потому, что война. Теперь ведь так запросто не поездишь... а журналисту – везде дорога, все рады свою правду протрендеть, никто на мушку не берет – самое то.

Мишаня в волнении вскакивает со своего дивана.

– Как же так? Выходит, мы и репортажей делать не будем? Зачем же мы сюда приехали?..

Ревич смеется.

– Не волнуйся, Мишаня. Об этом, по крайней мере. Репортажи у нас обязательно будут. Причем классные. Вот увидишь. Ты еще поблагодаришь своего обезьянного бога за то, что выпало тебе работать с самим Андреем Ревичем. Я это вашему боссу обещал и слово свое сдержу. Завтра сделаем первую передачу. Из Диярбакыра.

– Ну и слава Богу, – светлеет Мишаня. – А я уже испугался. Вот видишь, Яник, все в порядке. А ты на Андрея накинулся... нехорошо, честное слово.

Яник хватается за голову.

– Все в порядке? Слава Богу?.. Да ты в своем уме? Ты что, спал и не слышал, о чем мы тут говорили? Или тебе только репортажи твои идиотские важны? Ты понимаешь, что за ним бандиты охотятся, за этой дешевой модной? Ты понимаешь, что он тебя в свою игру втягивает, причем пешкой? Тебе не страшно?

Мишаня пожимает плечами.

– Зря ты так, Яник. Андрей – талантливый человек, и для меня действительно большая честь... ну и так далее. А насчет охоты... за кем сейчас не охотятся? У меня это шанс, понимаешь? Скорее всего – последний. Что же – все теперь бросить из-за каких-то бандитов?.. И вообще, спать пора. Завтра рано вставать. Вы как хотите, а я пойду.

Ревич тщательно запирает дверь за Мишаней – на ключ, на защелку и на цепочку. Затем, покружив по комнате, подходит к Янику, который все так же скорчившись, сидит в кресле.

– Послушай, Яник, – говорит он слегка нерешительно. – У меня к тебе просьба. Ты не мог бы переночевать здесь, в этом номере? Спальня Фатиха как раз свободна...

Яник поднимает голову в полном изумлении.

– У тебя что, совсем крыша поехала? Ты что – всерьез полагаешь, что я с тобой останусь? И на ночь, и вообще?.. Я уйду, дядя. Возвращаюсь в Тель-Авив. У меня от одного твоего вида изжога начинается. Так что бывай, не поминай лихом. На похороны не зови – не приду.

Он встает.

– Подожди... – останавливает его Ревич. – Ну что ты так взъелся? Ну, есть у меня свои заморочки... а у кого их нет? Можно подумать, что ты тут только затем, чтобы верой и правдой слушать славному каналу «SAS-TV». Нет ведь, правда? У тебя ведь

тоже своя, отдельная программа имеется; скажешь – не так? И у Мишани... у всех! Значит все мы союзники... хотя бы до поры – до времени. Что в этом такого ужасного? Ты вот говоришь: я вас использую. Ну и что? А вы меня не используете? Еще как! Откуда, ты думаешь, бабки взялись на всю эту бодягу? С неба свалились? Босс ваш выделил? – Как бы не так... мои это бабки, мои... понял? Не будь меня, так бы и сидели вы в своей Израиловке.

– Ага. Вот я туда и возвращаюсь, – говорит Яник, стоя у двери и снимая цепочку. – Сидеть. Лучше сидеть в Израиловке, чем лежать в турецком морге; да еще по причине чужих разборок.

– Зря ты это... – Андрей сокрушенно качает головой. – Хотя, знаешь что? В одном ты прав – за риск надо платить. Я повышаю тебе зарплату. Вдвое, и деньги на руки. Идет? Ну?..

– Пошел ты... – Яник справляется наконец со всеми запорами и выходит, не оглядываясь. – Втрое! – кричит Андрей в захлопнувшуюся дверь.

6

Он сидит прямо на земле, в мягкой пыли большой рыночной площади, привычно удивляясь незнакомому виду своих собственных босых ног. Солнце стоит высоко; полдень. Яник поднимает руку, ощупывает белую полотняную тряпку, прикрывающую голову и шею... что за черт?... откуда? И вокруг – тоже... площадь полна народу, и почти все – в таких же тряпках, хитрым узлом завязанных сзади, под затылком. Впрочем, есть и другие; Яник узнает их сразу, по кожаным островерхим шлемам. Они стоят неподвижно, в ряд, опершись на копья и отгораживая от толпы грязный бревенчатый помост.

Вонь-то какая... откуда эта жуткая вонь? Яников сосед поворачивает к нему толстое усатое лицо. Это Фатих. Как же так, Фатих? Ты ведь умер? «Нет, – смеется Фатих. – Я-то жив. Ты бы лучше о себе позаботился». А что это за вонь, Фатих, откуда? «Оттуда, – смеется Фатих. – смотри, какая там гирлянда...» Он указывает на огораживающую площадь крепостную стену; там, на пятиметровой высоте, натянут толстый канат с нанизанными на нем бурдюками. Или – что это? Нет, Яник, не бурдюки это... надо же, так сразу и не поймешь... На канат нанизаны обезглавленные человеческие обрубки; они раздулись от распирающих их газов, а некоторые уже лопнули, оставив на стене зловонные потеки. Яника тошнит. Надо бы проснуться... Надо бы...

На помост, в сопровождении небольшой свиты воинов, выходит важный ассириец в длинном расшитом кафтане и высоком головном уборе. Он усаживается на низкий табурет и делает знак одному из своих помощников. Тот подходит к краю помоста и, подбоченясь, начинает рассматривать кучку людей, сгрудившихся испуганным стадом отдельно от остальных. Гул, стоявший до того над площадью, смолкает; слышно лишь жужжание мух вокруг гирлянды обрубков.

– Ты! – палец помощника указывает на кого-то. На помост выходят двое мужчин и женщина; воины тычками копий заставляют их опуститься на колени. – Говори!

– Великий судья! – говорит один из мужчин. – Эта женщина – моя жена, а этот человек – купец. Он пришел в мой дом продавать ткани и соблазнил мою жену, и я застал их за прелюбодеянием. Позволь мне убить его.

– Глупый человек! – отвечает судья. – Ты мог бы убить их сразу, обоих. Зачем было тащить их сюда?

– Великий судья! Я не хочу убивать свою жену. Она молода и тело у нее сладкое. Позволь мне убить только его.

– Это против закона. Если ты отпускаешь жену, придется отпустить и ее любовника. Решай.

Проситель мнется.

– Великий судья! – говорит он наконец. – Неужели нету способа отомстить моему врагу, не убивая при этом жену?

– Такой способ имеется. Ты можешь оскопить его и изуродовать. Для этого всего лишь требуется отрезать твоей жене нос.

– Слава мудрости великого судьи! – радостно восклицает обманутый муж. – Я согласен.

Люди на площади оживляются, встают, чтобы лучше рассмотреть. Стражники хватают осужденных, и пострадавший собственноручно вершит приговор. Яник хочет отвернуться, но не может. Он видит, как мужчина хватается за волосы, слышит, как одобрительное улюлюканье толпы сливается с криками несчастной, смотрит на то, как неловко она полусходит, полусваливается с помоста, обмотав покрывалом окровавленное лицо. – Уу-у-у! – кричит рядом Фатих. – Поделом тебе, блудница! Скажи спасибо, что жива осталась! Уу-у-у!

Но главная часть представления – впереди. Стражники срыгают одежду с осужденного, прижимают его лицом вниз, к бревнам помоста. Мужчина с ножом испускает торжествующий вопль. Кровь жены возбудила его, он пошатывается, как пьяный, и толпа отвечает ему сочувственным воем: «Уу-у-у... Уу-у-у...» Где-то я уже слышал что-то похожее... Где же? Где? Ах да, топталовка...

Муж с ножом усаживается верхом на обреченное тело, подрагивающее в ожидании пытки. Он еще раз воздевает свое оружие, заряжаясь послушной энергией толпы – уу-у-у!.. – и оставив руку с ножом наверху, засовывает вторую в промежность жертвы, какое-то время копается там, ловя ускользающую плоть, и наконец ухватывает... вот оно!.. и – чик... ах, если бы можно было сделать это многократно!.. – поднимает над головой окровавленные гениалии врага, и толпа радостно ревет в ответ, широко разевая рты, готовая сожрать все, что ни кинут в ее жаждущую пасть – и отрезанные семенники, и жертву, и самого палача.

Все? Нет! По приговору, лицо оскопленного должно быть изуродовано. Стражники переворачивают воющее мясо на спину. Мучитель прыгает ему на грудь, полосует ножом лицо, подбираясь к горлу... но нет – бдительная стража вовремя перехватывает

руку, отбирает нож: убивать нельзя – только уродовать. Как, нельзя? – вскакивает, топчет лицо врага ногой... но нет, что нога – та же плоть... дайте мне камень, люди! – на тебе камень!.. ах, хорошо... раз! И еще раз! И еще!.. Все, парень, хватит... убивать нельзя, только уродовать...

– Эх, жаль, – говорит Фатих. – Не успел добить... теперь, может, выживет...

Стражники сбрасывают бесчувственное тело с помоста, бесцеремонно прогоняют мстительного мужчину – хватит, пора и честь знать, кончился твой праздник! Помощник судьи снова выходит вперед, коршуном вглядываясь в съежившихся внизу людей. – Ты!

Грузная голая женщина поднимается на склизкие от крови бревна, падает на колени, замирает под равнодушным взглядом судьи. – Говори!

Женщина молчит.

– Великий судья! – говорит помощник. – Эта блудница была схвачена здесь, на рыночной площади, с покрытой головой. Согласно закону, избличивший ее забрал ее одежду. Мерзкая тварь просит твоей милости.

Судья откашливается.

– Простая блудница не должна быть закрыта, – говорит он. – Таков закон. Наказание – шестьдесят палочных ударов и кипящая смола на голову. Готова ли смола?

Помощник подбегает к дальнему краю помоста. Только сейчас Яник замечает котел на треноге и нескольких стражников, усердно раздувающих угли. Нет, смола не готова...

– А этой не повезло, – удовлетворенно отмечает Фатих. – Получит палки, прежде чем сдохнет, сука.

– Ты! – указывает помощник... – Он познал равного себе... познать его самого!.. – Обнаженные ягодицы привязываются враскоряку рядом с помостом: кто хочет воткнуть мясо в мясо?.. подходи, пока дают! И подходят, и втыкают, и много их, желающих... Яник закрывает глаза. Площадь ревет звериным рыком, топтатловка стонет: «уу-у-у...», и белая человеческая плоть студенисто подрагивает под руками насильников. Кто еще? – много. Судье надоело ждать, он делает знак помощнику – давай нового. Помощник снова подходит к краю помоста. «Ты!»

Никто не выходит. Почему? Яник поднимает голову. Почему никто не выходит? «Ты!» – палец помощника указывает прямо на него, на Яника. Почему на него, при чем тут он? «Ты!» Фатих толкает его в бок – иди, это тебя!.. ну иди же! Я тут ни при чем, я не отсюда...

– Ты ни при чем? – сердится Фатих. – Ты ни при чем? А кто не зашил мне живот, а? Разве я не просил тебя? А ты? А ты убежал. Так что иди на суд, иди, а я посмотрю, как тебя на кол насаживать будут, посмотрю и порадоюсь, да.

Нет-нет, я сейчас проснусь, вот только напрягусь еще немного и проснусь... ну же, просыпайся, просыпайся скорее... С по-

моста спускаются стражники; расталкивая толпу, они пробираются к Янику, все ближе и ближе, а ему все никак не проснуться... значит, надо бежать, бежать, бежать. Но и это не просто; он и встает-то через силу, и ноги такие тяжелые – не поднять. Но делать нечего – стража уже совсем рядом, и он бежит, с невероятным трудом переставляя свои босые растрескавшиеся ноги-коряги.

Он бежит, а площадь тянется за ним сотнями рук, страшных, узловатых, с обрубленными пальцами, хватая за полы рубахи... Площадь вопит и улюлюкает – уу-у-у!.. уу-у-у!.. Яник забегает в переулок, а там почему-то ночь, и турок в кожаной куртке стоит у стены и держит в руках отрезанную человеческую голову с разможеженным затылком. Он внимательно рассматривает ее и качает головой. – Трудно будет починить... – говорит он пробегающему Янику. – Но ничего. Заклеим эпоксидкой, будет как новая. – Яник кивает и бежит изо всех сил – надо миновать его как можно скорее, пока не узнал; но турок оказывается каким-то нескончаемым, и Янику приходится бежать мимо него долго-долго, как вдоль крепостной стены.

Главное – завернуть за угол – вон за тот, главное – успеть. Он добегают до угла и останавливается. Что же ты остановился, Яник? Ты ведь так хотел туда, за угол... чего боишься? Ага... чего боюсь... будто не знаете... Он пьтится от угла, назад, к турку, к погоне, к страшному помосту... лучше уж туда. Экий ты непостоянный, Яник... ну что ж, мы не гордые – коли ты к нам не хочешь, то мы – сами. Сначала он видит фиолетовую юбку с разводами, а потом уже и ее, давнюю знакомицу, бабу-ёжку. Старуха выходит из-за угла, неся на вытянутых руках сверток в коричневом байковом одеяле с желтой каймой. На! Бери!

– Нет! – кричит Яник и просыпается, судорожно хватая за руку склонившегося над ним испуганного Мишаню.

– Что с тобой, Яник, дружище? Кошмары? Не удивительно – после такого-то денька... хочешь таблетку? У меня есть прекрасное снотворное...

– Нет-нет, Мишаня, спасибо, не надо... Да ты ложись, ложись... я – в порядке...

Яник садится на кровати. Вот ведь какие дела, господин Кэган. Вернулся к тебе твой сон – видать, соскучился. Стоило только заикнуться о возвращении домой – и вот он, тут как тут, свеженький, как утро младенца. Шаг вправо, шаг влево – побег, конвой стреляет без предупреждения... Так что не рыпайся. Яник одевается и выходит из комнаты.

Андрей открывает почти сразу – как видно, ему тоже не спится. Что случилось?

– Я передумал, – говорит Яник. – Согласен на твои условия. Сколько ты говорил? Второе? Годится.

– Ну и чудно. Только зачем ты мне среди ночи об этом сообщал? Не мог подождать до утра? Я только-только задремал...

– Не мог, – отвечает Яник.

7

– Мы ведем наш репортаж с берегов Тигра, из Диярбакыра, города с четырехтысячелетней историей, одного из древнейших на планете Земля. Кого только не видали здешние небеса! Хетты и митанни, ассирийцы и персы, византийцы и сельджуки... и вот теперь – ваш покорный слуга, собственный корреспондент канала «SAS-TV», Андрей Ревич со товарищи, прошу любить и жаловать!

Андрей делает шутливый полупоклон и ослепительно улыбается объективу Мишаниной камеры. Что и говорить, смотрится он замечательно. Микрофон растет из его руки, как ее прямое и естественное продолжение.

– Надеюсь, наше присутствие причинит древнему городу меньший ущерб, чем тот, что нанесли ему в свое время вышеперечисленные гости... хотя – как знать... Одно несомненно – мы твердо намерены держать вас, дорогие телезрители, в полном курсе относительно происходящего вокруг Ирака, с турецкой стороны этого самого «вокруг». Обещаю вам, мы не будем сидеть на месте, мы возьмем вас в самые горячие места завязывающейся здесь заварушки, туда, где вы еще никогда не бывали в прошлом и навряд ли окажетесь в будущем. Мы собираемся делать это с помощью вот этого микрофона и вот этой камеры, при непосредственном участии оператора Михаила Чернова, техника Ионы Кагана и меня, Андрея Ревича, вашего верного собора на второй иракской войне...

– Класс! – восторженно шепчет Мишаня. Он счастлив сбывшейся мечтой и оттого потеет пуще обычного. Яник смотрит на часы – он договорился с Пал о встрече. Они не виделись со вчерашнего вечера, с того момента, как расстались после долгого и утомительного переезда из Анкары в Диярбакыр. Во время самой поездки Пал все больше молчала, отрешенно глядя в окно на великолепные каппадокийские пейзажи, а потом и вовсе спала или пыталась заснуть. Яник изо всех сил старался шутить, что не очень-то получалось, так что под конец он тоже замолчал, отхватив в качестве компенсации ее руку, которую она, к его радости, не отнимала и даже, наоборот, время от времени отвечала на утешающие яниковы поглаживания слабым благодарным пожатием.

Видимо, многозначительный массаж ладони возымел свое действие. Перед тем как подняться в номер, Пал сама предложила ему посетить на следующий день, как она сказала, «одну из знаменитых диярбакырских чайных». Она даже поцеловала его в щеку, извинившись за то, что она сегодня «такая рыба»... просто ей все никак не отойти от вчерашнего... это было так страшно... но ничего, пройдет; главное теперь – выспаться, а то ведь она всю ночь глаз не сомкнула; пока, дорогой.

Это «дорогой» Яник осторожно, чтобы не повредить, взял с собой, положил на гостиничную тумбочку рядом с часами и долго

смотрел на него, засыпая; а утром, когда проснулся, «дорогой» было все еще там и сияло все тем же фантастическим счастливым светом. Потом, уходя из гостиницы работать, Яник тщательно спрятал его в нагрудный карман, и вот теперь это замечательное слово тихой щемящей радостью позвякивало где-то под самым сердцем. Дорогой!..

– ...дорогой сердцу каждого курда, – произносит Андрей, странным образом резонируя со своим витающим в облаках техником. – Столица юго-восточных областей Турции. Еще не так давно Диярбакыр был центром жестокой войны между турецкими властями и террористами из Пи-Кей-Кей – Рабочей Партии Курдистана, войны, унесшей жизни более тридцати тысяч человек. Лет пять тому назад эти улицы патрулировались армейскими бронетранспортерами, на каждом углу торчали блокпосты, и стрельба слышалась чаще, чем песни и молитвы.

Сейчас Пи-Кей-Кей более или менее придерживается прекращения огня, объявленного этой марксистской партией после ареста и осуждения ее бессменного вождя Абдаллы Очалана. Кровь, если и льется, то не прежними реками; жизнь продолжается, и город, как вы видите, производит вполне мирное впечатление.

Андрей делает широкий жест, приглашая Мишанину камеру в небольшую экскурсию по пестрой рыночной площади с примыкающей к ней крепостной стеной. Яник следит взглядом за плавным поворотом объектива, и смутное воспоминание поднимается откуда-то снизу, неприятно клубясь и туманя светлую радость, копошащуюся в нагрудном кармане. Где-то он уже видел что-то подобное... рынок... и крепостную стену... что-то очень неприятное; да ну его к черту!.. брысь!.. Но настроение уже подпорчено... надо же, какая жалость!

– Местные власти придерживаются жесткой политики подавления сепаратизма, – продолжает Ревич. – Согласно официальной доктрине, на территории Турции существует лишь одна этническая общность – турецкий народ. Все, мол, тут – турки и точка. С одной стороны, даже младенцу ясно, что это не так. На этой древней земле сталкивались, исчезали и возникали многие десятки государств, племен и народов. Стоит лишь копнуть совсем чуть-чуть, и вы обнаружите здесь армян и азеров, греков и арабов, хатту и ассирийцев и еще многих, многих других. С другой стороны – а надо ли копать? Тому же младенцу должно быть ясно, что дай только волю – и вся эта пестрая мозаика немедленно развалится, разрушая страну, принося потрясения, разруху, войны, и, конечно же, – смерти, очень много смертей.

Черт национального самосознания слишком опасен, чтобы играть с ним. Тут коготку увязнуть – всей птичке пропасть, и подтверждение тому мы имели несчастье наблюдать неоднократно. Возможно, поэтому турки пресекают даже самые мелкие его проявления. Преподавание курдского языка еще до недавнего времени было запрещено; за публичное, демонстративное объявление себя курдом сажали в тюрьму; до сих пор сплошь и рядом

власти отказываются записывать новорожденных под типично курдскими именами. Параллельно с репрессиями в отношении упорствующих вкладываются огромные средства в поощрение ассимиляции курдов в рамках общетурецкой идентичности. И следует признать, что в последние годы эта политика имеет несомненный успех. Хорошо ли это? – Решайте сами.

Андрей выдерживает эффектную многозначительную паузу и заканчивает, напористо набычась в объектив: – Андрей Ревич. SAS-TV. Диярбакыр. Турция.

– Снято! – Мишаня переводит дух и тщательно зачехляет камеру. – Андрей, ты гений! Просто блестяще!

Он еще что-то восторженно бормочет, утирая обильно льющийся пот, и даже чуть ли не тянется обнять Ревича в порыве радостного восхищения. Андрей отстраняет его с очевидной безразличностью.

– Спокойно, Мишаня. Что уж ты сразу так – кипятком? Ты мне эдак ненароком ноги ошпаришь...

– И ошпарю! – кричит Мишаня. – Потому что здорово! Когда следующий репортаж? Вечером?

– Следующий – из Сирии. По моим расчетам, завтра вечером мы должны быть в Эль-Камышлы. – говорит Ревич и зевает. – А то и прямо из Ирака. Как пойдет. Я вас извещу сегодня вечером. А пока – извините, дела.

Он снова зевает, делает ручкой и уходит в рыночную толпу легкой развинченной походкой.

– Велик! – шепчет Мишаня, глядя ему вслед. – Как нам повезло, Яник, ты себе даже не представляешь. Работать с таким профессионалом!

– Дурак ты, Мишаня, – беззлобно говорит Яник. – Пошли в гостиницу. Пока антенну приладим... пошли, кончай жевать сопли.

8

Стены чайной обтянуты легкой хлопчатобумажной тканью. – Это муслин, – говорит Пал. – Из Мосула, куда мы едем... – Повсюду разостланы, развешаны, прилажены на стульях и лежанках домотканые курдские ковры, дорожки и покрывала. На небольшом возвышении поют двое, подыгрывая себе на странном лютнеобразном пузатом инструменте с тонким и длинным грифом.

– Это саз, – говорит Пал. – Курдская лютня, гитара, орган и симфонический оркестр – всё в одном лице. Вернее, в одном корпусе.

Яник смотрит на нее и кивает. Слава Богу, шок прошел; она уже совсем не выглядит подавленной, оживленно осматривается, замечая все новые и новые детали и обстоятельно посвящая Яника в их значение. А он и рад, его эта диспозиция вполне устраивает – пусть себе рассматривает все, что душе угодно, лишь бы не мешала ему рассматривать ее самое, эту чудесную линию щеки, эти волосы, эту ломкую руку с тонким бледным запястьем.

– Эй! – сердито говорит Пал. – Ты опять где-то витаешь и не слушаешь. Для кого я тут разоряюсь? Что я только что сказала? Ну?

– Элементарно, Ватсон. Ты сказала, что у саза семь струн. Ты сказала, что они поют о свободе. Получила?

Музыка не нравится Янику – своим воющим, вкручивающим, спиральным характером она чем-то напоминает транс. Но Пал очень довольна, а значит, и ему хорошо.

– Откуда ты знаешь – о чем эта песня? – спрашивает Яник.

– Я немного понимаю курманджи... я ведь тебе говорила: моя тема – йезиды.

– А, ну да, конечно... – Яник понятия не имеет, кто такие йезиды. Надо будет спросить у Мишани. Экий он дурак рядом с этой университетской штучкой. Дабы поднять профессиональную самооценку, Яник принимается разглядывать курдскую звукоаппаратуру. Сазы, в полном соответствии с духом времени, электрифицированы – от каждого тянется провод к допотопному усилителю. За певцами мельтешат красно-зеленые огоньки – наивная цветомузыка.

– А музыка тут и в самом деле древняя, – говорит Яник. – Одному усилку лет двести, не меньше. И в подсветке синего не хватает – перегорел, наверное.

Пал смеется.

– Это не цветомузыка, глупый. Это их национальные цвета – красный и зеленый.

– Я-то, может, и глупый, – обижается Яник. – А вот Андрей сегодня говорил, что курдам намного выгоднее интегрироваться в турецкую культуру. Что ихний Пи-Кей-Кей никому ничего не принес, кроме горя, страданий и пролитой крови. На черта им эта цветомузыка? Одного турецкого флага им недостаточно? Мало Анкара сюда бабок вбухивает?

Пал зловеще молчит, и Яник пугается – зачем завелся? Важны тебе эти курды? Тебе ведь совсем другое сейчас важно, вот и сидел бы, помалкивал.

– Ээ-э... Пал, – говорит он робко. – Ты только не оби...

Но Пал перебивает его все с тем же зловещим видом.

– Значит, так, господин Ионыч? Про турецкий флаг заговорили? А известна ли вам цветомузыка турецкого флага? – Не думаю... Тогда послушайте, это интересно. В конце четырнадцатого века турки окончательно завоевали Балканы. Последняя решающая битва произошла на Косовом поле. Против турок сражалась объединенная сербо-боснийская коалиция, так что армии были большими с обеих сторон. Турки были организованнее и победили. Сербам не помогло даже то, что под конец сражения им удалось прикончить самого султана Мурада – какой-то герой чудом ухитрился пробраться с ножом в шатер и перерезать султанье горло, прежде чем стража разорвала его на куски. Другая бы армия дрогнула, но не турки. Сын султана Баязид принял командование и удачными маневрами решил исход битвы в свою пользу.

Но победа досталась дорогой ценой. Сербь сражались как львь; погибнув сами, они унесли с собой тысячь турецких жьзней. Косово поле превратилось в одну громаднуж лужу крови, громаднуж краснуж лужу. Глубокоуж ночью Баязид, отдав последние почести убитому отцу, вышел из шатра. На небе не было ни облачка, и яркая одинокая звезда сияла прямо напротив лунного полумесяца, как душа султана Мурада перед великолепием турецкоуж победы. В скорби опустил глаза Баязид и увидел их же – полумесяц и звезду, отраженными в кровавом косовском озере – ярко-белое на ярко-красном. Так родился турецкий флаг, Яник. Такая вот цвето-музыка... не всем нравится.

– Красиво... – говорит Яник. – Только вот в курдскоуж цвето-музыке, помимо вегетарианскоуж зеленого, тоже красный присутствует. Ты уверена, что он безобиднее турецкоуж?

Пал пожимает плечами.

– Наверно, ты прав, – говорит она после некотороуж молчания. – Наверно, не безобиднее. Ну так что? Послушай, как они поют. Эта песня – о пастухе; он ведет своих овец по горноуж тропе, заваленноуж снегом, он счастлив, потому что свободен.

– Счастлив? – переспрашивает Яник. – Ты можешь меня убить, но я никогда не поверю, что этот заунывный вой обозначает счастье.

– И убью, – сердито обещает Пал. – Ты у меня договоришься сегодня...

Несколько мужчин в просторных курдских шароварах поднимаются, хлопая в ладоши в такт музыке. Они становятся в круг и, сплетя руки на плечах друг у друга, начинают танцевать, синхронно подпрыгивая и притопывая в сложном соответствии с монотонным мотивом. У Пал загораются глаза.

– Здорово! – шепчет она Янику потихоньку, будто боясь спугнуть танцующих. – Это настоящий халай, знаменитый курдский круговой танец... я просто не верю своим глазами... вот повезло-то! Яник, ты посмотри как здорово!

Она вцепляется обеими руками в Яниково плечо и замороженно наблюдает за танцем, а Яник замороженно наблюдает за ней, и если в чем-то он с ней совершенно согласен, так это в том, что то, что он видит – здорово.

Танец кончается, и Пал, ослабив хватку, переводит полный восторга взгляд на Яника.

– Ну? Ты видел?... Что ты на меня так уставился?

– Я бы тоже потанцевал, – предлагает Яник, – Чтобы тебе понравиться. Ты их спроси, может, меня примут?

– Ладно, – вздыхает Пал. – Ни черта ты в курдскоуж этнографии не понимаешь, и придется мне с этим фактом смириться. И вообще уже поздно. Пошли.

На улице Яник поворачивает Пал к себе и целует сильным и долгим поцелуем.

– Наконец-то... – говорит она, поднимая на него смеющиеся глаза. – Я уж думала, ты никогда не отважишься. Давай еще.

– Посмотри на меня, – говорит он. – Видишь эти две звезды в море крови? Это твои глаза во мне отражаются. У меня такое чувство, что мы присутствуем при рождении флага.

– Заткнись, Ионыч... – говорит она, приближая свой рот к его лицу, щекоча его губы своим дыханием и пробуя их на вкус своим языком. – Заткнись и работай...

И он начинает работать самую лучшую в этом мире работу, и они целуются на пустынной ночной улице курдского города, не видя вокруг себя ничего, вжимаясь друг в друга, как сумасшедшие, и более всего страдая от разделяющей их одежды, потому что кажется, что не будь одежды, то можно будет прижаться так, что уже не разобрать – где она, а где он, что, в общем-то, так и есть. Целуются, пока усталый пожилой прохожий не остановливается и не начинает возмущенно увещевать их на непонятном... а, впрочем, что там – совершенно понятном в этой ситуации языке. И они, собственно говоря, благодарны ему, этому прохожему, потому что – сколько ж можно... так ведь и губы отвалятся... и вообще, хочется уже чего-то другого, и одежда надоела до полной невозможности.

– Пойдем ко мне, – говорит он. – Я выгоню Мишаню погулять.

– Нет, – говорит она. – Репутация дороже. Пойдем ко мне. Я думаю, что Кэрри – у Андрея. Шлюха.

Он согласен; ему вообще один черт – куда и где. И за ее логикой ему все равно не уследить – слишком сложно, тем более, что и голова работает как-то совсем в другом направлении. Они сосредоточенно и быстро идут по пустым улицам, остановив свой фильм на короткий промежуток, на не имеющую отношения к происходящему рекламную паузу, тщательно неся в себе достигнутый уровень близости, более всего на свете боясь потерять связующую их нить, хотя и не веря, что такая потеря возможна – потому что как же?... это уж совсем... что же тогда останется?..

Он поднимается за ней по лестнице, глядя на ее торопящиеся ноги, глядя их взглядом... – прекрати, говорит она глухо, не оборачиваясь, – подожди, уже недолго... Ключ не хочет поворачиваться в замке... дай мне... возьми... она прижимается грудью к его спине... дверь щелкает в такт его проваливающемуся сердцу – наконец-то.

Они впадают в номер, как река, прорывающая плотину... Кэрри нету! Да здравствует Кэрри, которой нету! Да здравствует шлюха Кэрри, которой нету! Застежки, пуговицы, молнии... скорее, скорее... руки, руки, руки... как много рук, они всюду. Он подхватывает ее, сжимает... подожди, не здесь – а вдруг Кэрри?... ну и черт с ней, со шлюхой... нет, я не хочу, не хочу, она помешает... давай – в ванную, там можно закрыться.

Ну вот, теперь уже все?... теперь уже можно? – теперь уже все, теперь уже все можно, теперь уже нету ничего, кроме размазанных во рту губ, кроме беснующегося языка, кроме всхлипов, запутавшихся в паутине волос, кроме рук, мечущихся и царапающихся, как пойманные обезьяны, кроме слипшихся живо-

тов, кроме судорожно сжимающихся ягодич, кроме мелкой дрожь в бедрах, кроме... кроме... кроме кромки, за которой тоже нет ничего.

– Включи воду... – говорит она.

– Что?

Они неподвижно сидят на краю ванны, неохотно прислушиваясь к затухающему грохоту крови, еще соединенные, но уже – нет.

– Включи воду. Мы же в душе, нет?

– А, и в самом деле. Я и не заметил. Сразу видно, у кого из нас двоих высшее образование.

Он встает, неся ее на себе, как обезьяньего детеныша.

– Эй, прилипала, – говорит он. – Слезай, мне так не включить.

– Включишь...

Действительно, если постараться, то можно. Он включает воду, ждет, пока пойдет горячая, регулирует температуру. Вроде, все.

– Эй, я включил. Слезай.

– Ни за что.

Ну вот. Он прикидывает предстоящий ему акробатический этюд. Не так уж и сложно – сесть, перекинуть ноги, ухватиться за скобу, а там уже и...

– Ладно уж, – смеется она и встает на ноги, отпуская его и залезая в ванну. – Так уж и быть, дыши. Иди сюда, заодно и помоемся.

Они стоят, держа друг друга за руки под струями падающей воды. Если хочется пить, то можно напиться с этих век, с этих распухших губ, с этой шеи, с груди с напряженно торчащими сосками, с этого живота... он опускается на колени и пьет из ее лона лучшее в мире вино; он хочет ее, как никогда не хотел никого и ничего, хочет и не может оторваться от мокрых волос в низу ее живота, от набухших складок, сладок, складок... она тянет его вверх, к другим губам... ах... и снова все плывет перед глазами, и руки текут по спине, смешиваясь с прозрачной водой, впадая в темное озеро самозабвения.

– Выключи воду...

– Что?

– Выключи воду, сколько можно... холодно...

– Ну знаешь, на тебя не угодишь. То включи, то выключи...

– Какой ты капризный...

– Твоя логика всегда меня восхищала.

– Надо бы одеться.

– Одежда снаружи.

Снаружи щелкает замок; слышно, как распаивается и закрывается входная дверь; Кэрри вернулась. Судя по воцарившейся тишине, она с изумлением разглядывает разбросанную на полу одежду. Наконец... – Пал?..

– Йес? – безмятежно отвечает Пал и легко целует Яника в нос. – Я здесь, в душе. Есть новости?

9

Турецкое утро встречает прохладой – в гостинице топят более чем экономно, а на ночь, похоже, и вовсе отключают. Яник и Мишаня уже давно не спят, но вылезать из-под одеял не торопятся – оба нежатся в сладких грезах о прошедшем дне. Яник тщательно вынюхивает собственные ладони – ему кажется, что они еще хранят на себе запах Пал. Мишаня поглядывает на зачехленную камеру и жмурится от счастья – он снова снимает. Оператор Михаил Чернов, черт побери! Эх... таких бы утр – да побольше!.. а пока – пусть это не кончается.

Как же, как же... размечтались – на тумбочке звонит телефон. Яник вздыхает – вот ведь злобная тварь – трезвонит себе без передыху.

– Яник, – лениво говорит Мишаня. – Возьми трубку.

– Хрэна. Сам возьми.

– Сволочь, – все так же лениво констатирует Мишаня. Нельзя отказать ему в точности формулировки – ведь телефон стоит рядом с Яниковой кроватью, только руку протяни, а ему, Мишане, вставать. А впрочем, не надо – телефон, отчаявшись, смолкает. Хорошо-то как стало... Мишаня с наслаждением потягивается.

Рано радуется – поднабравшись сил, проклятая коробка снова раздражается резкими, требовательными звонками. Тьфу! Мишаня, вздыхая, сползает с кровати и, с отвращением проплевав по холодному полу, снимает трубку: – Алло!

– Всех уволю! – в бешенстве отвечает трубка голосом Ревича. – Одиннадцатый час, а вы всё дрыхнете! Ну, друг твой – половой гангстер – еще какое-то оправдание имеет, но ты-то, блин, ты-то!

Мишаня растеряно подтягивает трусы; такой разъяренный босс ему внове.

– Андрей, что-то случилось?

– Случилось! – кричит Андрей. – Сирия закрыла границы. Плакал наш план к ядрене фене. Спускайтесь, работнички...

Они сидят в холле, прихлебывают плохой турецкий кофе и слушают Андрея. Значит так. Сирийский план накрылся. Иранскую визу не получить. Самое плохое, что в Диярбакире задерживаться нельзя – из-за вчерашнего репортажа. Он выйдет в эфир после полудня, и весь мир узнает, где они в настоящее время кантуются, а это Ревича совершенно не устраивает по понятным соображениям. Он-то вчера был уверен, что к трем часам дня они будут пресекать сирийскую границу... черт бы побрал этого Асада... – Что же делать, Андрей? Ревич, морщась, отодвигает чашку.

– Экая бурда... Что делать?.. Теперь у нас есть только один вариант – койоты. Это, если кто не знает, такие крутые курдские ребята – переводят фраеров из Турции в Ирак и обратно. Путь небезопасный, да и слупят с нас по первое число. Тут тысчонкой на рыло не отделаешься...

Короче, делаем так: прямо сейчас заезжаем к местным начальникам выправить областной пресс-пасс – без него нам в приграничный район не пробраться – а потом сразу дуем в Джизре, искать койотов. Есть замечания? Нету? Тогда – айда грузиться.

– Будет исполнено, босс! – Яник встает. Вся эта суета кажется ему надуманной. Какая, на фиг, разница?... – сирийский вариант... турецкий вариант... койоты... прямо голливудский вестерн, честное слово. Наше дело телячье. Как он сказал? – Джизре?... – Джизре так Джизре. Для меня все эти слова одинаковы. Вот что на самом деле интересно – так это – во что сегодня Пал будет одета. Это вопрос по-настоящему кардинальный. Наверно, джинсы – в поездке джинсы удобнее. Он вспоминает ее ноги на гостиничной лестнице и слегка задыхается. Спокойно, парень, спокойно... Кстати, может ей нужно помочь собраться? Тогда есть шанс, что Кэрри куда-нибудь слиняет...

Он возвращается к Ревичу.

– Слушай, Андрей, а девицы уже собрались? Может, им помочь надо? Ну, чтоб быстрее...

Ревич поднимает на него удивленный взгляд.

– Ну, ты даешь, однако... Какие девицы? Кончились девицы, понял? Делу время, потехе час. Я же ясно сказал: сирийский вариант отпадает. А коли сирийский вариант отпадает, то и девицы – побоку. У них своя свадьба, у нас...

– Погоди, погоди... – перебивает его Яник. – Как же так? А им что – в Ирак не надо?

– В самом деле, – говорит подошедший Мишаня. – Неудобно получается, Андрей. Пока они нам нужны были, мы на них ехали, а как сорвалось, то, выходит...

– Ничего такого не выходит, – раздраженно отчеканивает Ревич. – Что вы меня – за полного подлеца держите? Конечно, я им предложил присоединиться. Сами не захотели. Ну, что устались? Что тут такого непонятного? Во-первых, им, в отличие от нас, торопиться некуда. Они могут несколько дней посидеть в Нусайбине, на границе, подождать – а вдруг откроется?... надавить через своего канадского консула... ну и так далее. Во-вторых, тот несчастный случай в Анкаре нам тоже авторитета не добавляет. Кэрри, к вашему сведению, стреляная воробья. Уж если такие пентюхи, как вы, насторожились, то что же о ней говорить? В общем, все. Банкет окончен; суп – отдельно, мухи – отдельно. Да они и уехали уже. Час тому назад, в Нусайбин.

– Как уехали? – спрашивает Яник растеряно. Чушь какая-то. Не попрощавшись. Разве так делают? Обеспокоенный Мишаня дергает его за рукав:

– Ты бы сел, Яник... Слышишь? Ты лучше сядь...

– Так и уехали, – спокойно говорит Ревич. – Заказали машину и – привет. Увезла Кэрри твою Джульетту. Умыкнула, пока ты спал, чтоб без неожиданностей. И, как я вижу, правильно сделала. Что ты вам говорил – тертая баба... А насчет прощания... тебе письмо. Просили передать попозже, как из города выедем... да

что уж там, отдам сейчас, так и быть. А то ведь, неровен час, хлопнешься тут в обморок от переизбытка чувств.

Яник берет конверт, поворачивается и слепо идет к выходу, натываясь на встречающих.

– Мишаня, – говорит Ревич. – Ты бы присмотрел за ним, а то еще наделает глупостей... Эк его прихватило... страдания молодого Вертера, ядрена матрена. Потом собирайтесь, а я пока пресс-пасс органирую.

«Милый Ионыч,

Кэрри торопит меня, чтоб быстрее, и, наверное, она права. Она вообще в жизни лучше понимает. Такую мне лекцию прочитала... Но дело, конечно, не в Кэрри, и я вовсе не это хочу тебе сказать. Ты уж прости меня за то, что я так уезжаю, но Кэрри боится, что иначе я вообще никуда не уеду, а побегу за тобой, а Кэрри говорит, что это совершенно неправильно.

Ну вот, опять Кэрри... что это я все на нее сваливаю. Она тут совсем ни при чем, а при чем то, что я сама ужасно запуталась. Понимаешь, все как-то очень быстро произошло, а я к такой быстроте не привыкла, и это меня просто пугает, быстрота то есть.

Эта ужасная драка, и смерть... я до сих пор не в себе, и вчера была не в себе, и поэтому я не знаю, что думать о том, что случилось прошлым вечером. Ты только не подумай, мне было очень хорошо с тобой, но это пугает меня еще больше, чем драка. Понимаешь, до этого все было так ясно и логично, а теперь все как-то ужасно запуталось, и я уже не помню, кто я и чего мне надо хотеть. Кэрри говорит, что нужно взять паузу и во всем разобраться. Еще она говорит, что мы едем в одно и то же место и что если судьбе будет угодно, то встретимся снова в конце концов. Еще она говорит, что Андрей – опасный человек, но это как раз-таки кажется мне смешным и уж к нам с тобой точно никак не относится. Но ты на всякий случай остерегайся, ладно? Потому что сейчас мне кажется, что если с тобой что-то случится, то я умру, хотя это ужасно глупо – ведь мы и знакомы-то всего несколько дней и почти ничего не знаем друг о друге.

Я очень надеюсь, что не совершаю какую-то ужасную ошибку. Тебе, наверное, плохо сейчас, когда ты это читаешь, прости меня за это, потому что мне тоже плохо, когда я это пишу. В голове у меня полный сумбур, так что не знаю, удастся ли тебе понять что-либо из этого письма. Ты вчера сказал, что моя логика тебя всегда восхищала. Думаю, что в этом письме она доходит до недостижимых высот. Ну и ладно, что есть – то есть.

Целую. П.»

Яник закуривает. Сколько ни читай, не вернешь. Ее нету. Уехала. Заказала машину и – привет... Вот же сука – эта Кэрри! А при чем тут Кэрри? Кэрри тут ни при чем; сам ты идиот, господин Каган. Был бы умнее – схватил бы ее за хвост, как жар-птицу, и держал бы, не отпускал бы ни на шаг, на руках бы носил, не давал бы ноги на землю опустить, чтоб ненароком не пропала, не за-

блудилась, чтоб не отняли, не украли у тебя твоё сокровище жадные до чужого добра. Где ты её теперь найдёшь, раззява? Базарная улица Диярбакыра плывёт перед его глазами. Ну вот, ещё поплачь... идиот... отняли у мальчика любимую игрушку. Яник смахивает злые непрошенные слезы. Мишаня осторожно присаживается рядом.

– Яник, – говорит он. – Пора собираться. И не убивайся ты так. Найдём мы её, никуда не денется. Торонтский университет, этнография... проще простого.

– Конечно, найдём, – говорит Яник очень спокойно. – Слушай, Мишаня... кто такие йезиды?

– Йезиды? – переспрашивает Мишаня. – А черт его знает... понятия не имею.

10

Город Мардин находится в двух часах езды к югу от Диярбакыра. Отсюда дорога поворачивает на восток и идёт под углом к сирийской границе, почти сходясь с ней в районе Джизре. Там шоссе переваливает через Тигр и ещё километров тридцать тянется в восточном направлении, чтобы затем, у Силопи, резко клюнуть вниз, на юг, в Ирак. Так бы и ехать, неторопливо оглядывая роскошные горные долины... но, увы, дальше Джизре хода нету. По крайней мере, легально. Под Силопи сосредоточены крупные турецкие силы, жандармские блокпосты оседлали дороги, и плюс к этому, полувоенная милиция, составленная из местных жителей на деньги центральных властей, тщательно обнюхивает любого попавшего в её поле зрения незнакомца.

Яник первым обратил внимание на следовавший за ними тендер «тойота» с четырьмя разномастно вооружёнными усачами откровенно бандитского вида. Он вынырнул с боковой дороги совсем недалеко от жандармского блокпоста, на полпути к Мардину. Тендер подъехал к шлагбауму почти сразу после их микроавтобуса и был радушно встречен чаем и сигаретами. Это успокоило Яника, который поначалу опасался, что в «тойоте» сидят очередные охотники на Андрея. Ревич, проследив за его взглядом, усмехнулся.

– Нет, Ромео, это не за мной... Знакомься – эти басмачи именуются «гитемы». Анкара опиралась на них во время недавней войны с Пи-Кей-Кей – вербовала прямо в деревнях. Желаящих, кстати, хватало, даже среди курдов. Сейчас войны уже нету, но милиция осталась. Те ещё шакалы... Успешно держат в узде местное население. Не спрашивай – как.

Корреспондентскую группу «SAS-TV», в отличие от «гитем», принимают без улыбки, просят выйти из машины, бесцеремонно обыскивают и – руки за голову – разводят по разным комнатам – допрашивать и сверять ответы. Куда? – в Мардин. Зачем? – снять репортаж о местных достопримечательностях. О каких именно? – читатель и церквы... Тщательный ревичевский инструктаж и све-

жий пресс-пасс делают свое дело – микроавтобус продолжает путь. Тендер с «гитемами», не скрываясь, висит у них на хвосте.

– Нда... – удрученно замечает Яник. – И ты собираешься делать что-то нелегальное? Смотри, сейчас у нас все – легальнее некуда, едем себе по невиннейшему маршруту, документы в полном ажуре... и то какую секу навели! Что же будет после Джизре?

– Не волнуйся, – вполне беззаботно говорит Андрей. – На каждого шакала есть свой койот. И потом, что нам может быть, даже если и поймают? Подержат в тюрьме пару деньков, что, конечно, неприятно, но, учитывая столь короткий срок, – терпимо, да и вытурят с волчьим штампом. Закроют навеки прекрасную Турцию перед нашими грязными рылами... Хотя мне, честно говоря, это было бы совсем не к месту. Я ведь сюда частенько наведываюсь... да... ну а вам... вам-то и вовсе терять нечего.

Ну и ладно. Нечего, так нечего. Яник отворачивается к окошку. Мишаню же, как всегда, волнуют совсем другие вопросы. Он потеет на заднем сиденьи, возясь с каким-то непослушным объективом, чертыхается, и отчаянно надеется на то, что лапша, навешанная на жандармские уши по поводу мардинского репортажа – не совсем лапша, а лучше бы – совсем не лапша, что они действительно расчехлят камеру, вынут микрофон, и он, Мишаня, снова уплывет в чудесные дали удивительного мира, видимого, увы, только через объектив.

И ведь надо же – мишаниными молитвами... Даже в мардинском ресторане, где они останавливаются пообедать, назойливые «гитемы» не оставляют их в покое – тендер «тойота» терпеливо ждет на площади, сторожа каждый шаг чужаков. Андрей с досадой смотрит в их сторону и решает не рисковать. Хоть и жалко времени, но приходится соответствовать легенде... Эй, Мишаня, черт с тобой, расчехляй! Значит так, возьми этот план, с горой и крепостью, потом делай панораму на церковь и назад ко мне. Окей? Счастливому Мишане не надо говорить дважды. Ревич берет микрофон, задумывается на секунду, делает знак оператору и начинает импровизировать с ходу, интересно, остроумно, талантливо.

Яник слушает его, привычно поражаясь легкости, с которой Андрей извлекает из своей памяти даты, имена, события, искусству, с которым он в два счета, без всякой подготовки лепит из этого сухого материала живую и сочную картину. Наверное, прав Мишаня, и им действительно повезло встретить такого редкого типа...

– ...эта крепость и в самом деле была неприступной, – Ревич делает широкий жест, и Мишанина камера послушно следует за его рукой. – Даже великий Тамерлан обломал об нее свои людоедские клыки, и еще многие до и после него... Хотя большевики находились во все времена, а как известно, нет такой крепости, которой не могли бы взять большевики. Скорее всего, название города и происходит от арамейского слова «марда», что означает «крепость». По местному преданию, через город проходил пророк Иона на своем пути в греховную Ниневию и останавливался от-

дохнуть во-о-он в той пещере на склоне горы. Якобы, на горе проживал тогда огнедышащий дракон, и местные прагматичные язычники пообещали Ионе, что уверуют в его Бога, если он избавит их от чудовища. Что Иона и совершил к взаимному удовлетворению сторон.

Как вы помните, нашего техника тоже зовут Иона, и он – вот совпадение! – тоже находится здесь на пути в Ниневию, а точнее, в районы северного Ирака, расположившиеся на развалинах древних ассирийских городов. Кстати, с драконами наш Иона воюет не хуже того...

Ревич задорно подмигивает в объектив одному ему известному адресату.

– Западному человеку трудно понять и постичь головокружительную духовную глубину этих мест. Количество сект, религий и вероучений, родившихся и по сей день исповедуемых здесь, поражает воображение. Взгляните на эти церкви. Это христианские церкви, но это совсем не те христиане, которых мы знаем. Отколовшись от канонического мейнстрима в раннем средневековье, они шли своим, неведомым нам путем; или, скорее, не шли, а старались законсервировать дух исходного учения здесь, в этих горах. Знаете ли вы, что в этой самой церкви богослужение до сих пор ведется на арамейском языке, близком к тому, на котором говорил сам Христос? Но я не буду утомлять вас дальнейшими подробностями, скажу лишь, что политический язык нынешних турецких властей, очевидно, понятен мировому сообществу не лучше, чем древнеарамейский. Соединенным Штатам, к примеру, до сих пор не удается получить от Анкары сколь-либо внятного ответа относительно высадки... – и Андрей элегантно сворачивает на актуалию. «Гитемы» безучастно наблюдают за ними с другой стороны улицы.

В Джизре микроавтобус корреспондентов «SAS-TV» прибывает поздним вечером, счастливо миновав по дороге еще несколько блокпостов, обысков и перекрестных допросов с пристрастием. Верные «гитемы» покидают их только у самого входа в отель, до отказа набитый разношерстной журналистской братией. Яник засыпает, едва коснувшись подушки, успев лишь подумать о том, как хорошо было бы сейчас увидеть Пал, хотя бы во сне.

ЛАЛЕШ

1

– Летать, гудать по небу бомбовозы... – поет Мишаня, растянувшись на матраце. Воронья шуба на рыбьем меху настороженно нахохлилась рядом, ждет своего часа. В хижине тепло, на низком столике – сладкий чай, транзистор подвывает монотонные курдские шлягеры. Мишанина песня ложится на них самым коря-

вым образом, зато хорошо согласуется с ревом тяжелых бомбардировщиков В-52, волнами накатывающихся на Мосул прямо над их головами. – А я в степи израненный лежу...

– Кончай гундосить, Мишаня... накаркаешь... – говорит Яник. – Нет у нас Тамарки – тебя перевязывать.

– Ко мне подходит санитарка – звать Тамарка, – упрямо ведет свою партию Мишаня. – Давай, тебя перевяжу! Абрам-пам-пам!

– Ну-ну... – качает головой Яник. – Пеняй на себя, дятел. Я тебя предупреждал...

– Эй, Яник, да ты, никак, нервничаешь? – Андрей лениво прихлебывает остывший чай. – От кого другого, а от тебя – не ожидал. Как же так? Герой-разведчик и все такое... нехорошо, нехорошо... Сколько они туда сахару бухают? У меня от этого чая все внутренности слиплись. Скорей бы уже на выход...

Снаружи сумерки, непогода – мокрый снег попеременно с дождем, ветер. Сегодня они весь день, с раннего утра, добирались до этой пограничной деревушки, хитрыми маневрами отвязываясь от «гитем», пересаживаясь из такси в такси, прячась в кузове грузовика, в тракторном прицепе за мешками, снова в грузовике – всюду, куда их – быстро, быстро! – пихали постоянно сменявшиеся молчаливые проводники. Багаж доставлялся отдельно; теперь он свален под навесом, за дверью; удивительно, но даже все, вроде, цело...

«Койотов» Андрей нашел относительно быстро; больше времени ушло на переговоры – уж больно цены заламывались невообразимые. В конце концов сошлись на десяти тысячах – по три куска на рыло плюс добавка за багаж. Оплата через посредника – если Ревич не звонит в течение последующей недели из Ирака, то «койоты» своих денег не получают. Такая вот гарантия, с позволения сказать... Повздыхал Ревич, поматерился, да и заплатил – а куда денешься?... надо торопиться. Непонятно только – почему на звонок отведена неделя? Судя по уверениям посредника, собственноручно переход границы включает трехчасовую пешую прогулку с последующей двадцатиминутной подброской на автомобиле до иракского пограничного городка Заху. Итого: контрольного звонка от Андрея можно ждать нынешней же ночью, максимум – завтра утром. Зачем тогда такой запас?

Ревич смотрит на часы: около семи. Когда уже выйдем?... надоело...

Проводники прибывают еще через полтора часа, их пятеро. Они заходят в хижину разом, толпой, привычно придерживая рукой автоматы Калашникова, надолго распахнув дверь и напустив со двора тревожащий сгусток враждебной промозглой темноты. Мишаня ежится... в такую погоду... целых три часа, да еще и по горным тропам... Ничего, – успокаивает он себя, – зато завтра начнем регулярные репортажи, раз в день, как штык. Мишаня блаженно улыбается.

«Койоты» рассаживаются пить чай, а как же иначе... На них длинные куртки блеклых тонов, широкие курдские шаровары под-

поясаны кушаками. Главный и, видимо, старший – хотя все пятеро выглядят на один и тот же, совершенно неопределенный возраст – хлопает себя в грудь. – Масуд, – говорит он и сердечно улыбается, обнажая темно-коричневые зубы, торчащие в самых неожиданных направлениях. Андрей, Яник и Мишаня поспешно представляются. Все они испытывают некоторую неловкость за свои цивилизованные колгейтовские оскалы, отчего-то кажущиеся совсем неуместными в гнилозубой «койотской» компании. Масуд кивает, гасит улыбку и принимается усердно запивать ее чаем. Остальные члены стаи, не отставая от вожака в области чая, ограничиваются молчаливыми улыбчивыми кивками.

– Лучше бы они совсем не улыбались, – шепчет Яник Андрею. – Такой улыбочкой только детей пугать.

– Это от сладкого чая. И от курева. Сколько ни говорил с ними, ни разу не видел, чтобы они чего-нибудь ели. Только хлещут этот свой чай и смолят, хлещут и смолят...

Словно в подтверждение, «койоты» дружно закуривают.

– Чего ждем? – недовольно спрашивает Мишаня. – Задохнуться можно... Ты бы спросил их, Андрей.

Но спрашивать не приходится; Масуд, правильно истолковав мишанино беспокойство, показывает на мобильный телефон, что-то говорит на катастрофическом английском и снова улыбается своей неконвенциональной улыбкой. Ага. Понятно. Ждем звонка.

Звонок раздается в половине десятого – пора. Во дворе «койоты» навешивают на себя почти весь багаж; Янику и Андрею остается совсем немного, а Мишане и вовсе не позволяют нести ничего, кроме камеры, расстаться с которой он не соглашается категорически. Дождь перестал, зато подмерзло, и ветер усилился. Первый час идут по относительно неплохой грунтовой дороге, быстро, гуськом, в полнейшей темноте. «Вот видишь, – говорит сам себе Яник, – а ты боялся... еще два часа – и в дамках. Это ж просто прогулка, еще и вещички за тебя несут...» Он неожиданно утыкается в спину идущего впереди «койота». Стоп.

Группа пристраивается за грудой каменных глыб, очертания которых четко вырисовываются слева на фоне какого-то слабого зарева. А... это турецкий военный лагерь... вон и флаг. Лагерь ярко освещен, от него до места, где они прячутся, совсем немного – метров пятьсот. Но дело, собственно, даже не в лагере; дело в речке, дальше, прямо по курсу – речку-то, видимо, надо переходить... а где же мост?.. а мост господам нелегалам не положен, нет, никак не положен. Так что – вброд. Это Масуд и объясняет им на пальцах. Не бойтесь, там неглубоко, ерунда – он показывает ладонью уровень ниже щиколоток – даже ноги не замочим...

Главное – быстро, очень быстро, потому что, если заметят – будет плохо: турки долго не думают, а сразу стреляют – он показывает: «Бах!»... «Бах!»... и потешно роняет голову набок, изображая труп. Ага, очень смешно. Прямо ухочочься. Но ладно, надо так надо, ничего не поделаешь... тогда пойдем уже скорее? – Подождите... – Масуд указывает на тлеющие огоньки си-

гарет. Это турецкий патруль ленивым прогулочным шагом шкандыбаёт вдоль речки, спотыкаясь и оскальзываясь на мокрых камнях. – Вот пройдут, тогда уж и мы. – А долго ли еще, Масуд? – Два километра, – говорит он и для верности добавляет два растопыренных в форме «V» пальца. – Всего два? Ну, это мы шустро, это мы чик-чак...

Вода обжигает холодом. Перед самым Яниковым носом прыгает багаж на спине «койота», проворно преодолевающего неширокую речку. Сколько тут? Двадцать, тридцать метров? – Фигня... только вот вода-то уже по колено... а, черт! – и течение ничего себе – так и лупит, так и норовит сбить... сволочь... А вода уже щекочет бедра; Яник с ужасом видит, как передний «койот» проваливается по пояс... экая падла этот Масуд! – говорил ведь «по щиколотку»!.. он инстинктивно приподнимается на цыпочки... какое там!.. ледяные тиски стискивают мошонку; он и не знал, что есть на земле такой холод, такая боль... и живот... Господи, да что же это?! Отчаянным усилием Яник выпрастывается из этого ада – скорее, скорее... вот уже и наверх пошло, вот уже и мельче... фу-у-у... слава Богу...

Выскочив на противоположный берег, Яник приостанавливается, но задний «койот» грубо толкает его в спину – вперед, вперед, вперед! Оступаясь и скользя, он бежит дальше, еще и еще, тщетно стараясь попадать непослушными ногами в так бешено колотящемуся сердцу. В двухстах метрах от берега – каменная гряда. Передний «койот» ловко обегает большую глыбу и, обернувшись, подтягивает к себе Яника. Все. Можно перевести дух.

Яник оглядывается. Отсюда, из темноты, брод кажется ярко освещенным близкими прожекторами турецкого лагеря. Не дай Бог, патруль вернется... Вот Андрей, подгоняемый своим провожатым, выбирается на берег. Пригнувшись, они спешают сюда, в укрытие. Мишаня еще на середине реки. Его ведут двое, Масуд замыкает. Яник видит, как неуклюже двигается комок Мишаниной вороньей шубы. Шуба, понятное дело, сильно намокла, отяжелела, и теперь течение тянет Мишаню за собой, вырывает из сильных «койотовых» рук. Вдобавок ко всему, он им совсем не помогает. Он боится за камеру. Камера тоже может намокнуть, и тогда... что же он будет делать тогда?... как же они будут снимать репортаж? Преодолевая мертвую тяжесть шубы, Мишаня удерживает над головой сумку с камерой, повыше, понадежнее... а двое курдов отчаянно вырывают его из обволакивающих неумолимых лап течения, изо всех сил подтягивая к берегу.

Они уже почти победили, самый глубокий участок пройден; и тут Мишаня, пошатнувшись, подскользывается и падает во весь рост, беспомощно хватая руками воздух и – о ужас! – выпуская из рук заветную сумку. Яник видит, как Масуд титаническим усилием выдергивает его из-под воды, как вдвоем со вторым «койотом» они пытаются выволочь Мишаню на берег... но нет... Мишаня не хочет!.. Мишаня ищет оброненную камеру – ищет оброненный главный смысл, ценность и обоснование всей его непутевой жизни.

Уже зная, что сейчас произойдет, Яник смотрит на то, как они возьматься в пяти метрах от берега, как Мишаня отталкивает «койотов», как отчаявшийся Масуд тычет ему под нос своим «калачом», угрожая... но что Мишане эти угрозы?... клал он на них с высокой колокольни, на эти угрозы... ему бы камеру... камеру... И он сбрасывает надоевшую шубу, чтобы было легче искать, и злобный приток большой ассирийской реки, радостно урча, подхватывает добычу, твердо зная, что она не последняя, что если еще немного постараться, то и весь этот потный идиот достанется ей целиком, а может, и по кусочкам – вот ведь и патруль возвращается.

Да, он и в самом деле возвращается – Яник слышит крик и первую автоматную очередь, еще не прицельно, еще издалека. Он видит, как Масуд с товарищем, сбросив с плеч багаж и оставив Мишаню, стремительно выскакивают на берег и бегут в укрытие, по-заячьи петляя, пригибаясь, падая и перекатываясь. Он видит, как Мишаня продолжает шарить по дну, отдуваясь и, скорее всего, потея по обыкновению, как двое солдат подбегают к противоположному берегу, и один из них встает на колено и удобно прицеливается. Яник открывает рот, чтобы крикнуть Мишане: беги!.. беги!.. беги!!! – и не может... и только странный птенийчий писк вырывается из его сжатого спазмой горла: «е-и... е-и...»

Разъяренный Масуд бурей врывается в укрытие, он держит автомат наперевес и, не разбирая куда, лупит стволом и прикладом по оцепеневшей группе – не стоять!.. быстро!.. вперед!.. и, повинаясь этому неистовому натиску, Яник бежит, бежит вместе со всеми, слыша стрельбу за спиной, точно зная, что именно происходит там, на реке, затылком видя Мишаню, сердитым медведем отмахивающегося от назойливых пулевых толчков, мешающих ему в его важных поисках, падающего в крутящуюся, яростную воду – потому что ноги вдруг перестают держать; шарящего по дну до последнего, до сначала панического, а затем спокойного осознания того, что – все, камера пропала, уже не вернуть... а вместе с нею, кстати, – и жизнь... а жалко... ведь только-только снимать начали, какие репортажи можно было бы сде...

Они бегут бесконечно долго, как во сне, и так же медленно, как во сне; все время вверх, и вверх, и вверх, без дороги, без тропки – во всяком случае, без видимых Янику дороги или тропки – даже не бегут, а судорожно карабкаются по склону, хватаясь за камни, цепляясь за кусты; а камни и кусты тоже не остаются в долгу, ответно хватая их за ноги, цепляя за одежду, в кровь раздирая руки и лодыжки. Пот заливает глаза, скатывается по лицу, солонеет на языке... или это не пот, а слезы?... или и то и другое вместе?... Нет времени понять, нет времени подумать – надо ползти, карабкаться на эту гору, хвататься за эти камни, цепляться за эти кусты, что тяжело до невыносимости, но все-таки легче, легче, чем просто думать о нем, о толстом недотепе, оставшемся позади, о дорогом друге Мишане Чернове, чье нашлифованное пулями, исковерканное рекою тело, перекатываясь на

перекатах, обиваясь о пороги, сплавляется вниз, к уже широкому здесь Тигру-людоеду, и еще дальше, и дальше – к мертвым ниневийским холмам, где торжествующий дьявол распускает свой двенадцатиглазый павлиний хвост.

2

Но все когда-нибудь кончается, даже этот бесконечный склон; они переваливают через хребет и останавливаются отдышаться под острыми скальными обломками, черными и беспорядочными, как зубы Масуда. Погони нет, и, видимо, не будет – ленивым туркам западло лезть в темноту, в холодную воду, под «койотские» «калачи». Постреляли и хватит, хорошего понемножку, одного завалили – и то хлеб; будут теперь знать, курдские бандюганы...

Масуд мрачно молчит – один клиент потерян, да и часть багажа – тоже. Сколько за это вычтут? И главное, будь хоть в этом его, Масуда, вина – так ведь нет – всё этот толстый ишак, будь он неладен; и дернул же его черт обронить эту дурацкую сумку прямо посередине реки! А ведь говорили ему – отдай сумку, отдай... нет!.. самому нести захотелось, ишак упрямый. Вот и плыви теперь со своим упрямством кормить рыб в Тигре. Еще и нас чуть не погубил; сколько мы с ним там возились?... минуты три, не меньше... да за это время две такие группы могли переправиться! Масуд ожесточенно трясет головой. Эх, знал бы он заранее, что толстяк окажется бесноватым... тогда можно было бы не тратить попусту драгоценное время на бесполезные уговоры, а просто сразу оглушить его хорошей плюхой по дурной башке, да волоком, волоком... вдвоем-то успели бы дотащить... Эх, жаль, что там не догадаться, на реке. Он вздыхает, встает и подходит к Андрею, объясняться.

Андрея бьет крупная дрожь. Теперь, когда адреналиновое опьянение побега прошло, он ощущает жуткий холод от мокрой одежды. Дать бы по морде этому сраному курду... «по щиколотку»... подлец. Еще и Мишаня гикнулся. Хотя Мишаня, если честно, сам виноват. Курд здесь ни при чем. Ну и что? – зло обрывает сам себя Ревич. – Ну и что? Если этот сучий «койот» думает, что я ему за троих заплачу, то он, гад, сильно ошибается. Плюс багаж потерянный. Шести тысяч хватит. Если, конечно, целыми отсюда выберемся. А то и пяти. Сволочь. Стуча зубами, он слушает сбивчивую англо-курдскую речь, качает головой и показывает знаками – после, после. Не до этого сейчас. Сейчас – согреться... как там насчет костерка?

Масуд испуганно машет руками – какой костерок? Что они, все с ума посходили, эти клиенты? Вон же турки, там, внизу, в километре отсюда... или не видно? Надо двигаться, идти вперед, быстро, быстро... а ну-ка, вставайте. Вперед, так и согреетесь.

Яник встает вместе с «койотами». Вперед так вперед. Думать потом будем, а сейчас – чем хуже, тем лучше. Он еще помнит

армейские учения в зимнем Негеве, так что этими ассирийскими горами его не испугаешь. А что до мокрой задницы, то и это терпимо – главное, можно двигаться, согреться, не то что в снайперской засаде где-нибудь под Рафияхом. Как там Андрей? Яник наклоняется к Ревичу, трогает его за плечо. Андрей!.. Эй, Андрей!.. Ревич пытается что-то сказать, но, кроме стука зубов, ничего не выходит. Что? – Сколько... осталось... спроси его, сколько осталось?.. Яник поворачивается к Масуду. – Сколько? – Два! – Масуд поднимает вверх сложенные буквой «V» пальцы, как давеча. «Врет ведь, сука», – думает Яник.

– Два километра, – говорит он Ревичу. – Вставай, Андрюша. Вставай, братишка. Держись, немного осталось. Надо идти. Давай-ка я тебе помогу... ну, вот и хорошо.

Вниз идти нисколько не легче, особенно в полной темноте. Вязкая грязь липнет на ботинки, камни предательски опрокидываются, выворачивая ступни, острые скальные сколы врезаются в щиколотки. Яник сосредоточивается на качающейся перед его носом спине Масуда, изо всех сил стараясь повторять его уверенные простые движения. Главное – не сломать ногу, вот что; упасть не страшно, а вот ногу... Он падает, подскользнувшись в грязи, и тут же вскакивает – как там ноги? Ноги, слава Богу, в порядке, а что спину ушиб – то черт с ней, со спиной... вперед, вперед...

Он слышит впереди журчание воды; спуск кончился. Что это – опять река? – Нет, на этот раз – небольшой ручей; этот и в самом деле – по щиколотку. Привал? Нет, Масуд, не останавливаясь, продолжает движение вверх по склону. Яник начинает чувствовать усталость. По его расчетам, они идут уже около четырех часов. А это значит, что, скорее всего, сразу же за этим подъемом можно будет увидеть огни Заху, или дорогу со ждущим их автомобилем, или хрен знает что – неважно... главное, чтобы эта «легкая прогулка» закончилась. Эта мысль придает ему силы, он упрямо тянется за масудовой спиной с болтающимся на ней «калачом», оскользывается, падает, раздирая локти и колени, подтягивается, хватаясь за ветки редких низкорослых кустов.

Интересно, как там Андрей? Уж если ему, Янику, с его недавней армейской тренировкой, настолько тяжело, то Андрею вовсе не позавидуешь... Но Яник гонит от себя эту мысль: в конце концов, ведь Ревич там не один – рядом с ним, сзади, еще четверо проводников; за что-то им деньги платят, черт побери? Подъем продолжается неимоверно долго, все в том же ровном и быстром темпе, задаваемом стожильной масудовой спиной, раскачивающимся маятником «калача», глухим тамтамом крови в висках. Краем глаза Яник видит белое пятно, еще и еще... снег?... точно, снег... высоко же они забрались... Только тут он понимает, что очень хочет пить, так что снег как нельзя кстати. Яник зачерпывает пригоршню мокрой массы и сует в рот... кайф... как мало нужно для счастья.

Гребень появляется внезапно, когда надежда на него уже исчезла, втоптанная в подернутую ледком грязь. Масуд останавливается на небольшой скальной площадке, поджидая Яника.

– Ты – окей! – говорит он и одобрительно хлопает Яника по спине. – Стой. Жди.

Яник переводит дух. Он распрямляет спину, согбенную долгим карабканьем. Он поворачивается в ту сторону, где по его расчетам должны светиться огни Заху, и сердце его падает. Там нет ничего, только мокрая, расцвеченная пятнами снега темень, только контуры гор, слабо вычерченные наклеивающимся рассветом. Яник хватается Масуда за плечо.

– Где? – кричит он. – Где? Заху? Где?

Масуд делает неопределенный жест на северо-восток. Там. Далеко? Масуд улыбается и поднимает вверх два пальца, расщепленных латинской буквой «V». Два. Два километра. Яник кивает.

– Слушай, ты, мечта дантиста, – говорит он Масуду по-русски. – Тебе сильно повезло, что автомат сейчас у тебя, а не у меня... Ты даже не представляешь себе, насколько.

– Йес, – радостно соглашается «койот». – Ту.

Два. Подтягиваются остальные. Андрей еле передвигает ноги. Один из проводников обвязал его своим кушаком и теперь тянет за собой на прицепе. Другой подталкивает сзади прикладом автомата. Выйдя на площадку, они останавливаются, и Андрей, почувствовав слабость, немедленно опускается на землю, как лишенная поддержки марионетка. Глаза его закрыты. Плохо дело, – думает Яник.

– Масуд, – говорит он. – Отдых. Здесь.

– Нет, – качает головой Масуд. – Мы должны вперед. Сейчас.

Яник подходит к нему вплотную и указывает на полубессознательного Андрея.

– Он не сможет. Ты не получишь ничего. Ничего. Деньги – нет. Аут.

Подумав, Масуд снова качает головой и улыбается несколько напряженно.

– Почему? Уже близко, – он поднимает свое «V». – Два.

– Нет, – кричит Яник прямо в чернозубую улыбку. – Нет! Не два! Один!

И он тычет под нос «койоту» свою правую руку с оттопыренным в неприличном жесте средним пальцем.

– Это ты понимаешь, чурка гнилозубая? Один!

Улыбка исчезает с лица курда. Глядя в его непроницаемые глаза, Яник слышит сзади отчетливый металлический звук взведенного затвора. Обидно так умирать, – думает он, – Мишане-то сразу повезло, а мы еще целую ночь мучились...

Масуд выстреливает несколько резких гортанных слов. Он смотрит на Яника в упор, пытаясь распознать непонятную природу этого странного русского. Чем он угрожает ему, этот слабый глупец? Пальцем? Или собственной смертью? И насколько

серьезна его угроза? Может, просто надавать ему хорошенько по шее, и все образуется? Нет, не похоже... этот не уступит. Да-а... наградил черт клиентами... Связать и тащить волоком? Трудно... двоих даже впятером не вынесем... еще ведь багаж... и скальная полка – там особо не развернешься... нет, отпадает. А может, дать ему этот отдых?

– Окей, – говорит наконец Масуд. – Отдых. Час. Один.

– Два! Два часа! – мстительно отвечает Яник и, закрепляя победу, демонстрирует «V» собственного изготовления. – Два!

Масуд кивает и начинает расстегивать вычужные ремни.

Для начала Яник осматривает багаж. Пропала антенна и большая часть аппаратуры, личные вещи – на месте. Вот и славно. Где-то тут у Мишани был спирт... На протирку объективов он уже не понадобится, а вот на воскрешение из мертвых... Он быстро собирает нужные шмотки и приступает к делу. Андрей даже не открывает глаз, когда Яник стаскивает с него мокрую одежду и разбухшие кроссовки. Тело его холодно, как у мертвеца. Яник плескает на него спирт и принимается безжалостно растирать шерстяным носком. Покончив с ногами, он натягивает на Ревича сухие штаны и обувь и передвигается выше, к животу и груди.

– Боо-о-льно, – жалуется Андрей. – Отстаньте... спать...

– Больно – значит жив... – Яник неумолимо работает носком. – Ты куда это собрался? Завел меня неведомо куда, а теперь – в кусты? К Мишане захотелось, репортажи делать?..

Ну вот, вроде все. Он покрепче укутывает Ревича во все свободные куртки и свитера. Теперь хорошо бы и самому переодеться... Один из проводников трогает его за плечо. Что такое? Чай. «Койоты» тоже времени не теряют – на газовой плитке булькает чайник. Яник бережно принимает горячий стакан, делает один глоток и доликает спирта. Так-то оно лучше, по-нашему... а то напихали сахару... Он приподнимает голову дремлющего Ревича: а ну-ка, Андрюша, хлебни живой водицы... Андрей глотает торопливо, жмурясь от удовольствия. Ну и чудно... теперь дрыхни.

Затем Яник переодевается сам. Сейчас бы покурить... но сигареты намокли. Может, стрельнуть у этих, как их там – койоты позорные?.. Масуд, будто подслушав его мысли, подходит с пачкой. Понаблюдав за яниковыми реанимационными усилиями, он проникся к нему дополнительным уважением. Настолько, что решился на неформальные контакты.

– Ты? – говорит он, присаживаясь рядом на корточки. – Ты? Имя?

Прежде чем ответить, Яник берет сигарету и закуривает. Он еще сердит на Масуда и потому решает не допускать никакой фамильярности.

– Имя? – переспрашивает он. – Мое имя – Иона.

– Что? – Масуд отшатывается, как от удара палкой. – Юнус?!

Он поспешно отползает к своей стае, и они начинают интенсивно кудахтать, на все лады склоняя слово «юнус» и часто-

часто, с непонятным выражением, напоминающим страх, поглядывают на Яника. Затем один из «койотов» встает и, согнувшись в три погибели, семенит в его сторону, держа стакан чая в вытянутых руках. Не доходя двух шагов, он опускается на колени и ставит стакан у яниковых ног. Голова его низко опущена, лоб почти касается земли. Юнус... – слышит Яник сдавленное бормотание. Юнус... Юнус... Отползает «койот» тоже довольно странно – реверсом, избегая поворачиваться спиной и все так же низко опустив голову.

Недоумевающий Яник берет стакан. Что такое? Что теперь? Час от часу не легче с этими аборигенами... А... ну их... лишь бы Андрей оклемался. Он допивает чай и закрывает глаза. На черном фоне смеженных век в дремотном калейдоскопе мелькают камни, кусты, пятна снега... и снова камни, камни... и круглое озабоченное Мишанино лицо с капельками пота на обширной лысине. Нет уж, Мишаня, – решительно командует ему Яник, – нет уж; не сейчас, подожди, друган, потом потолкуем... потом... мне теперь выживать надо и Андрея вытаскивать... так что потерпи уж, ладно? Мишаня улыбается своею виноватой улыбкой и уплывает в черно-желтую сонную круговерть камней и кустов... и – вот она, наконец – Пал... Пал ласково улыбается ему; она берет его сердце обеими руками и тихонько выкручивает, как тряпку, и от этого сердце щемит, неимоверно нежно и счастливо, и он взлетает над всем остальным миром, с его камнями, кустами, Ревичем и Мишаней, взлетает туда, где есть лишь Пал, и мягкая тряпка его собственного сердца, и свет, и радость... и засыпает, засыпает.

3

Он пробуждается, как от толчка, сразу, рывком, все вспомнив, и открывает глаза во всеоружии этого неприятного, плохого, но необходимого знания. Уже совсем рассвело; холодный ветер суетится под серым клочковатым небом, мокрые горы окружают его со всех сторон, куда только хватает взгляда. Андрей мирно посапывает рядом, и стая «койотов», сгрудившись вокруг неременного чайника, терпеливо ждет яникова пробуждения. Сколько же он спал? Часа четыре, не меньше... надо же, и Масуд не разбудил... странно... а ведь как торопился. Яник потягивается и встает, вслушиваясь в мышцы и суставы. Результаты его вполне удовлетворяют – есть, конечно, нытье тут и там, но до истерики не доходит.

Проводники наблюдают за ним молча, с каким-то непонятным почтением. Да что такое? А... – вспоминает он, – это началось еще ночью, с имени... Юнус... да, точно... надо же, экое имя у него значительное. А ну-ка, проверим... Яник поворачивается к «койотам» и делает подчеркнуто повелительный жест, подзывая Масуда. Примерно так же он подзывал в армии провинившегося салагу-новобранца – пронзительный и в то же время небрежный взгляд куда-нибудь в область лба, скупое движение указатель-

ного пальца и презрительно оттопыренная нижняя губа... Эффект превосходит все ожидания: Масуд поспешно вскакивает и бочком, мелкой побегой, подкатывается к нему, неся стакан чая. Во дела!

Только богатый опыт армейских внеуставных отношений позволяет Янику не выдать своего безмерного удивления. Он важно, не поблагодарив, принимает стакан, неторопливо отхлебывает, кривится и лишь затем снисходит до звукового контакта.

– Почему не разбудил? – спрашивает Яник, как и положено начальству – отрывисто и негромко, показывая для верности на часы.

Масуд молчит. Его угловатая поза выражает сложную гамму противоречивых ответов и оправданий – от «не хотели тревожить священный сон господина» до «виноват и готов понести заслуженное наказание».

– Ладно... – Яник милостиво ослабляет испепеляющую мощь взгляда, оставляя, впрочем, Масуда в неведении относительно его будущей судьбы – отменено ли наказание?... или просто отсрочено?... – Будите его. Идем дальше.

Он коротко кивает на спящего Андрея и, не глядя, возвращает недопитый чай, будучи уверенным, что услужливая рука подхватит стакан как раз вовремя. Что, собственно, и происходит.

Андрей поднимается с трудом, охает, делает несколько пробных шагов и приседает, безнадежно мотая головой. Ничего, расходуется... Яник наклоняется к нему, кладет руку на плечо, заглядывает в глаза: – Как дела, братишка?

– Уже получше... – Андрей поднимает осунувшееся лицо. – Спасибо, Яник. Пока сюда шли, думал – сдохну. А сейчас получше... я дойду, ты не волнуйся.

– Ну и славно. Ты вот что... пойдешь сразу за мною. Если что – не стесняйся, цепляйся за мой пояс, хорошо?

Ревич благодарно кивает.

– И еще... – продолжает Яник. – Настраивайся на долгий путь. Сколько нам осталось – неизвестно; у этих друзей спрашивать бесполезно, они только до двух считать умеют. По моим расчетам, идти еще минимум сутки, на это и рассчитывай. Теперь... жратвы у нас нету, только чай этот липкий, так что пей больше. Пойдем не торопясь, в твоем темпе. Как почувствуешь, что – все, кончаешься – говори мне, отдохнем. Я этому капо больше не позволю гонять нас по горкам, как сидоровых коз. Он у меня теперь на крючке, папуас курдский... Почему – не спрашивай, сам не знаю. Ну, давай... поднимайся... сначала будет неладко, потом расходишься.

Они начинают спускаться. При свете дня идти легче. Из Мишаниного свитера Яник соорудил толстые гетры себе и Андрею; теперь их избитые и ободренные голени худо-бедно защищены. Спуск – подъем и опять – спуск. Масуд и в самом деле ведет группу не торопясь, намного медленнее, чем раньше. Причина выясняется часа через два, когда они выходят на середину очередного склона. Там Масуд неожиданно сворачивает к небольшой

укромной пещере, сбрасывает с себя багаж и со всем уважением приглашает Яника следовать за ним – вверх, к невысокому нагромождению камней. Он двигается, пригнувшись, будто прячась, и Яник следует его примеру. Дойдя до гребня, Масуд и вовсе начинает передвигаться ползком. Что за черт? Недоумевающий Яник ползет следом. Наконец, проводник останавливается и делает ему знак – смотри, там, внизу...

И впрямь. Внизу, в каких-нибудь трехстах метрах, очередной турецкий лагерь – палатки, джипы, сторожевые вышки, белый полумесяц и звездочка на выцветшем кровавом фоне.

– Видишь? – шепчет Масуд. – Нам надо туда, – он машет рукой мимо лагеря. – Днем нельзя, только ночью. Снайперы... Пу!.. Пу!.. Будем ждать. О'кей?

Яник кивает. Теперь ему понятна давешняя ночная торопливость «койота» – видимо, он планировал преодолеть опасный участок еще до рассвета. Сейчас же и в самом деле спешить некуда. Они спускаются назад, к группе. В пещере, ясное дело, уже шипит газовая плитка... чай, будь он неладен. Яник подсаживается к Андрею.

– Знаешь, босс, – говорит он. – Если случится невероятное чудо, и Господь вернет меня домой, то никогда, клянусь – никогда!.. я не возьму в рот напиток под названием чай... Эх, сейчас пивка бы подогретого... с горячими сосисками... а еще лучше – водочки со стейками... или, на худой конец...

– Перестань, а? – Андрей с отвращением прихлебывает из своего стакана. – И без твоих описаний тошно... Сколько времени мы не ели? Сутки?

– То ли еще будет... – успокаивает его Яник. – Давай-ка лучше спать – так сытнее.

Но сна нету. Голод и усталость сварливо переругиваются в грустном яниковом организме – кто главнее? В пещере сухо и не задувает, но согреться не получается никак. Поворочавшись, Яник садится и смотрит на мокрое полотнище неба, разрисованное грязными клочьями облаков. В голове у него медленно шевелится тупая пустота, такая же серая, как это мерзкое небо, с такими же бесформенными, как эти облака, обрывками мыслей. Отчего-то ему вспоминается Мишанина шуба, бесформенная, черная, воронья шуба на рыбьем меху... и как Мишаня ездил за ней к приятелю в Хайфу... и с какой гордостью демонстрировал Янику это замечательное приобретение.

– Откуда она у него взялась, эта шуба? – вдруг спрашивает Андрей.

Яник вздрагивает; надо же – такое совпадение – Ревич тоже не спит и думает о том же... Хотя, если вдуматься – что тут такого невероятного?

– Приятель подарил... из Хайфы... Что тут смешного?

Андрей и в самом деле смеется. Яник смотрит на него в полном изумлении. Впрочем, он уже имел возможность наблюдать удивительную живучесть Ревича, его поразительную способ-

ность выстраиваться заново, с легкостью фокусника воскрешать в себе эту особенную, циничную самоуверенность. Тогда, в перелуке, и сейчас, в этих гиблых горах, он был, казалось, напрочь размазан страхом смерти, слабостью, чугунной тяжестью обстоятельств... но вот – как будто кто-то сверху, как в компьютерной игре, щелкнул мышкой, вдохнул в жалкую выпотрошенную шкурку новые жизни, и – опаньки!.. – прежний Андрей во всей красе и силе насмешливо смотрит на Яника из кокона свитеров.

– Вспомнил историю про Ермака Тимофеича. Он, если знаешь, тоже из-за шубы погиб. И шуба, кстати, тоже дареная, с царского плеча... утянула на дно реки удалого атамана... прямо как Мишаню нашего, да будет вода ему пухом.

– Экий ты... – Яник ищет подходящее слово; отвращение переполняет его. – Экая ты мокрица, Ревич, честное слово. Человеческого в тебе – считай, что и нет. Разве что, если напугать тебя как следует – тогда только и проглядывает что-то нормальное... тьфу!..

– А чего это ты так вскинулся? – удивляется Андрей. – Я что – недостаточно почтителен к светлой памяти почившего товарища? Так я вообще недостаточно почтителен ко всему на свете, включая, кстати, себя самого. Я ж не на Мишаню плюю, я на весь мир плюю. А поскольку Мишаня в этом мире – часть, то и на него попадает, автоматом... Или ты считаешь, что я каким-то боком в его смерти повинен? Нет?.. Так в чем тогда претензии?

Яник молчит. Действительно, разве Андрей виноват в том, что случилось на реке? Нет ведь? Потому что, если виноват Андрей, то виноват и Яник... такая вот логика получается. А все равно как-то режет слух эта его интонация, противно как-то... и ухмылка эта дрянная... так бы и врезал...

Ревич снова ухмыляется.

– А знаешь, ты ведь сейчас интересную вещь сказал – про страх. Характерную такую. Только сам ты ее, видно, до конца не просекаешь. Давай-ка я тебе растолкую, так уж и быть – времени все равно навалом. Попользуйся напоследок моим могучим интеллектом... дарю!.. – как шубу с царского плеча.

Ты говоришь: только когда я напуган, во мне есть что-то человеческое. Так? Ага... Ляпнул-то ты, не подумавши, а ведь тут целая философия кроется. «Человек должен бояться» – вот какая философия. Бояться! Только тогда, мол, он и человек! Ты понимаешь? Не гомо сапиенс – человек разумный, а гомо обосрапиенс – человек боящийся – вот он, ваш идеал! Кто же после этого мокрица? Я или ты?

У вас там, в Израилровке, бегают тараканы в черных лапсердаках, сами себя пейсами погоняют... – как они называются, не подскажешь? – «Харедим»! Страшущиеся! Скажи-ка, кто из нас больше на мокрицу похож – я или они? Я – человек разумный, свободная образованная личность, гражданин вселенной, или они – невежественные каракатицы в мокрых от страха штанах? А? Говори что хочешь, а для меня ответ очевиден.

Ты, конечно, можешь возразить, что и я боюсь, иногда, время от времени... А я и не спорю, бывает и со мною, очко-то не железное; не часто, но поигрывает... Только ведь разница-то в чем? Разница в том, что я этих моментов стыжусь, вижу в них проявление слабости, что-то мешающее, не-человеческое. А ты вот – наоборот. Ты именно в подлом этом страхе человеческое углядел... Где ж тут логика?

Андрей замолкает и снисходительно смотрит на молчащего Яника.

– Эй, Яник! Ну скажи что-нибудь, что ты молчишь, как пень? Или спишь?... усыпили мальчика умные разговоры?

Яник неохотно пожимает плечами.

– Не знаю. По логике ты, наверно, прав... но дело тут не в логике.

– Не в логике? Ну?... давай дальше. А в чем?

– А в том, что противно. Понимаешь? Ты вот мне противен со всей твоей ловкой логикой. А Мишаня – наоборот; он, может, и потел чересчур, но это – от сердца. Сердце у него было больное. А у тебя от сердца – ничего, все – от головы. Если б я мог вас двоих местами поменять – так, чтобы он тут вместо тебя сидел, а ты бы вместо него мертвым лежал... поверь, ни секунды бы не думал. Да что там... Я бы за него одного сотню таких, как ты, отдал бы... свободных образованных личностей.

– Да и о какой свободе ты говоришь? Это ты-то свободен? – Яник вдруг ощущает удивительную, странную легкость, с которой рождаются слова... они будто даже приходят к нему не изнутри, а извне, сгущаются из полумрака пещеры, капают с серого дождливого неба, скатываются прямо в руки по мокрому каменистому склону. – Как бы не так! Посмотри на себя – ты ведь живешь в вечной погоне, причем в обеих ролях одновременно: ты гонишься за чем-то; кто-то гонится за тобой. Это ты называешь свободой? Мишаня мне что-то рассказывал, не помню уже – что ты, мол, владелец заводов-газет-пароходов... но как можно чем-то владеть на бегу?

Да и страхи бывают разные. Тут я каюсь – ошибся. Нет в твоём страхе ничего человеческого. У тебя страх мышиный – а ну как догонят? Боли ты боишься, вот чего... смерти... это страх простой, животный, на уровне инстинкта. А у этих тараканов пейсатых, как ты их называешь, страх другой, не такой...

Яник поднимает к глазам свои грязные исцарапанные ладони, изуродованные острыми кромками камней и колючим кустарником. Ему вдруг кажется, что они светятся... что за чушь... конечно, нет!.. – это просто бездомный, отбившийся от своих луч чудом выпрастался из-под клочковатого облачного одеяла и приблудился к ним, сюда, в эту пещеру, в пахнущий гнилью и человеческим калом полумрак. Это всего лишь луч... отчего же тогда «койоты», вжавшись в стену, с таким откровенным страхом смотрят из дальнего угла пещеры? Отчего Андрей, умный циничный Андрей, гражданин вселенной, владелец заводов-газет-

пароходов, уставился на него с таким боязливым изумлением? Или это тоже кажется?

Андрей принужденно смеется, по одному выхаркивая из себя уродливые смешки. Но ему не смешно, ему страшно.

– Ну, ты прямо философ... пророк Иона. Или как это по-местному – наби Юнус?... – Ревич старается звучать насмешливо, но получается как-то глухо, жалко, просительно... почему?... что это он вдруг, в самом деле?... нашел, кого бояться! Этого неотесанного неуча, мальчишку?! Он начинает злиться, прежде всего на себя самого, на свою непонятную, необъяснимую трусость, он раздувает эту злость – чтобы заглушить страх, забить его поглубже, замять, уничтожить. Но страх не дается, он поднывает в низу живота, тоненько просит: хватит, перестань, замолчи, не дразни лихо... вон, смотри, «койоты»-то как притихли, сидят и молчат в тряпочку, и ты помалкивай. Но не таков Андрей Ревич, чтобы уступать пустым страхам и глупым предчувствиям. Он упрямо наклоняет голову и говорит тихо, но твердо:

– Чепуху ты гонишь, паренек. Другой страх... Страх – он всегда одинаков.

– Так уж и одинаков? – отвечает ему незнакомый Яник. Или это не Яник?... – Так уж и одинаков? Сейчас, к примеру, ты чего испугался? Молчишь?... А давай я тебе растолкую. Другой страх – он не оттого, что догонят и убьют; он вообще к беготне отношения не имеет. Другой страх говорит: там ли я стою?... – а вдруг не там? Тот ли я человек?... – а вдруг не тот? А еще он говорит: как же так получилось, что ничем путным в этой жизни я не занимался, кроме идиотской беготни вокруг дивана; ничего не успел, а жить-то мне всего неделю и осталось. Одну неделю! Это я тебе говорю от имени наби Юнуса, коли уж ты изволил его упомянуть.

Яник смотрит на бледное лицо Андрея, на его трясущиеся губы, и ему становится неприятно. Зачем раздавил человека? Он ощущает в себе какую-то чудовищную силу, как во сне. Как во сне?... – Ну, конечно, он спит. Спит! И слава Богу, и никакой мистики... Придя к этому утешительному заключению, Яник облегченно вздыхает и командует: – Ну и ладно. Побазарили, и хватит. Давайте спать. Все. – И действительно засыпает.

Поздним вечером, когда они выходят вслед за Масудом на встречу второй ночи каторжных альпинистских работ, Андрей спрашивает Яника как-то уж совсем небрежно – что он, собственно, имел в виду, говоря об одной оставшейся неделе?

– О какой неделе? – не понимает Яник. – А... надо же, а я был уверен, что мне все это приснилось... Да ну, не обращай внимания – это я так, ляпнул, не подумавши...

– Дурак ты, техник, и шутки у тебя дурацкие.

– Ага, – с готовностью соглашается Яник. – Сойдемся на этом. Устали мы очень, вот и глючим на ровном месте. Хотя, что я говорю – какое же оно ровное, это место?

Устали – не устали, но вторая ночь дается им обоим на удивление легче. Приноровились, что ли? К рассвету группа

выходит на мосульское шоссе, в десяти километрах южнее Заху. Перед тем как сесть в такси, прощаются с «койотами». Яник протягивает Масуду руку. Тот берет ее в обе ладони и, наклонившись, прикладывает ко лбу. Остальные проводники в точности повторяют его жест. Затем «койоты» пятятся, сбиваются в стаю и с видимым облегчением поворачивают обратно, в горы. Андрея они вниманием не удостаивают. Сил удивляться всему этому уже нет никаких. – Куда? – спрашивает шофер у Яника. – Дахук, – отвечает Андрей.

4

Комната полна мух. Жужжа с похвальной синхронностью, они вдохновенно исполняют весенний концерт для контрабаса с оркестром. Солоист огромен и космат; он уверенно ведет свою басовую партию, время от времени прерываясь, чтобы поползать по Яникову носу. Остальные части Яника ему недоступны, ввиду надежной упакованности под одеялом. Нос же оставлен снаружи – дышать-то надо, и лихой контрабасист использует это на всю катушку, заряжается творческой энергией, пока Яник, чертыхнувшись, не смахивает его медленным пальцем. Легко увернувшись от этой неуклюжей дубины, солист взлетает в пустоту комнаты, звенящую скрипками и альтами его менее знаменитых товарищей, в кишачий танцующими пылинками полуденный свет и, поднявшись к самому потолку, как на подиум, вступает в такт мощной гудящей нотой.

Проклятые мухи... развели тут свою музыку, поспать не дают. Крылатому оркестру не мешают даже более крупные летающие объекты, на звук опознаваемые Яником то как планирующие на Мосул тяжелые бомбардировщики, а то и просто как патрульные самолеты и вертолеты. Снаружи, между прочим, война... но мушиные музы не молчат, даже в громе американских пушек. Гады. Яник осторожно высовывает нос, и вредный контрабасист немедленно пикирует на него из заоблачных потолочных высей.

Делать нечего, надо вставать. Да и поздно уже, честно говоря. Андреева постель пуста – скорее всего, он ушел еще утром. У него тут, видите ли, дела. Какие дела могут быть в этой дыре? Дахук! Кто-нибудь когда-нибудь слышал это слово? Исключая, конечно, тех, кто живет в радиусе двадцати километров. Или даже десяти... Крошечный городок с беспорядочно разбросанными домами, мирно спящий у подножия высокого горного хребта, как щенок под боком дракона. Вчера вечером они с трудом нашли, где перекусить. Кстати, и сейчас не вредно было бы... Яник одевается и выходит из гостиницы. Город и в самом деле дремлет. Война совсем не коснулась его, если, конечно, не считать шума самолетов и отзвуков дальней канонады под Мосулом, в шестидесяти километрах к югу отсюда.

На пыльной улице Яник находит относительно чистый киоск со швармой и завтракает, решительно отказавшись от чая в пользу

колы. – Молодое поколение выбирает глобализм! – назидательно объясняет он немолодому хозяину киоска, и тот радостно кивает, разобрав одно знакомое слово. Скучно... Зачем он здесь?.. как его сюда занесло?.. Ну ладно, на эти вопросы еще можно худо-бедно ответить – мол, сны про Ассирию, головные боли и все такое прочее... хотя и за такие ответы в два счета упекают в психушку, и правильно делают. Но – допустим... душа звала – хоть убейся, а душе, как известно, не прикажешь. Ладно. Но что, скажите на милость, делать теперь, когда наконец сбылась мечта идиота, когда вот он – здесь, и вот она – треклятая эта Ассирия – тоже здесь, продает ему шварму, жрет его своими мухами, дрыхнет у его ног. Ну и что? Куда двигаться дальше?.. Кто-нибудь знает? – черт знает... тьфу!

Яник возвращается в гостиницу, к музыкальным мухам. Мрачный холл пахнет сыростью, стены разрисованы какими-то аляповатыми павлинами, тусклая лампочка без абажура неуверенно посверкивает над стойкой. Эй вы, павлины, куда мне теперь? Может, вы знаете?.. Старый портье поднимает голову.

– Как там мой друг, не вернулся?

– Нет, господин, еще нет.

– А когда он ушел?

– Да часов в шесть, почти сразу как рассвело...

Яник вздыхает. Что бы еще такого спросить? Он топчется у стойки, неприкаянный, как похмельный пьяница перед закрытым магазином. Вот бы и в самом деле выпить сейчас чего-нибудь согревающего. Чего-нибудь проясняющего мозги...

Ну, вот об этом и спроси, дурило. Ну давай, чего ты мнешься... Портье глядит на него немигающими глазами навывкате, ждет. И павлины на стенах ждут, переминаются голыми кривыми ногами в неверном мерцающем свете. Лицо у портье все в морщинах, как у пожилого бульдога; улыбочка приветливая приклеена, а взгляд отстраненный, нехороший, чужой какой-то взгляд. Но выбора-то нету.

– Ээ-э-э... – неуверенно блеет Яник, не зная, с чего начать. Портье неприятно усмехается.

– Может, по-русски вам будет удобнее? – говорит он с тяжелым кавказским акцентом. – Так спрашивайте, я пойму.

– Вы говорите по-русски? – Яник даже теряется от неожиданности. – Вот так сюрприз...

Старик пожимает плечами: – Почему бы и нет? Жизнь длинна, молодой человек, чему только не научишься... Так что вас интересует?

Яник облегченно вздыхает и машет рукой.

– Да много чего меня интересует. К примеру, куда это Андрей запропастился? Какие вообще дела могут быть в этом Дахуке? Я тут, знаете, немного прошелся по вашей главной улице... все спит непробудным сном, за исключением мух, конечно. Дыра-дырой... Бутылку водки купить негде, – добавляет он вкрадчиво, поворачивая наконец на заветное.

Портье еще больше выкатывает глаза: — Как вы сказали? Дыра? Водки не купить?.. — Он как-то несолидно прыскает, бульдожьей морщины неудержимо расплзаются по щекам, рот кривится... затем старик переламывается пополам и, схватившись за живот, заливается неожиданно звонким, захлебывающимся хохотом. Что бы это означало? Яник терпеливо ждет. Отсмеявшись, портье вытирает слезы платком и сморкается, вздыхая и пришепечивая себе под нос.

— Ну, порадовал... — говорит он наконец и снова утирает слезу. — Ну, насмешил... Давно я так... тебя, кажется, зовут Иона, да? Знатное имя... А водка — не проблема, дорогой. Водку мы как-нибудь найдем, ты уж не беспокойся.

Посмеиваясь и качая головой, старик достает из-под стойки два стакана и бутылку с прозрачной светло-коричневой жидкостью.

— Давай, Иона... да ты не бойся, это чистый продукт. Виноградная водка, прямиком из Армении. Будь здоров!

— Так вы армянин? — полузадушенным голосом интересуется Яник, едва прокашлявшись после первого глотка огнеподобной чачи. Старик неопределенно качает головой:

— Скорее да, чем нет... Во мне, парень, много чего намешано. Родился в Иерусалиме, а жил — по всему свету. Разве что в Антарктиде не был... Ну, еще по разу? У меня ведь тут собутыльник — большая редкость. Все больше один пью.

Они опрокидывают вторую порцию, и портье немедленно наливает по-новой.

— Божественный напиток... — Яник чувствует, как теплая раздольная волна прокатывает по всему его существу, расслабляя и развязывая, казалось бы, намертво затянутые узлы.

— Как же вы тогда до этого ишачьего угла докатились? В Антарктиде-то, небось, поинтереснее будет, чем здесь, с этими павлинами...

В черных блестящих глазах проскальзывает насмешка.

— Молод ты еще, многого не знаешь... Думаешь, представление из партера лучше всего смотреть? Нет, брат... самые хорошие места — они на сцене, понял? На сцене! Там, было время, самая знать-то и сидела, с краешка. Это потом их в зал согнали... А мне вот, понимаешь, поблизи рассмотреть хочется, под конец-то жизни. В партере я уже сидел... и в ложе, и на галерке.

— Ну и что же за представление вы тут смотрите? Войну эту, что ли?

— Есть тут кой-чего и помимо войны... Да и война тоже дело любопытное. Не для туристов, конечно... зато журналистов, к примеру, навалом. Ты не смотри, что тут так пусто. Просто они обычно не задерживаются; переночуют и дальше — в Эрбиль. Видишь? — портье кивает на висящую за его спиной доску с ключами на гвоздиках. — Сейчас кроме вашей комнаты, занят всего только один номер. Тоже журналисты. Вернее, журналистки, две девушки, из Канады.

У Яника перехватывает дыхание.

– Из Канады? – переспрашивает он неожиданно севшим голосом. – Вы не могли бы сказать, как их зовут? Возможно, это наши близкие друзья...

Портье сдержанно кашляет.

– Вообще-то это не принято... но, коли друзья... – он открывает регистрационную книгу. – Впрочем, одна из них уже уехала, почти сразу, в Эрбиль. А вторая осталась... вот! Палома Гринберг. Второй этаж, номер двадцать второй. Это совсем рядом с вами. Только я не думаю, что ты ее застанешь. Она и ночевала где-то в другом месте. Ушла вчера утром, незадолго до вашего приезда. Эй!.. Ты куда?

– Я сейчас, подождите... я сейчас... – Яник делает шаг назад, потом еще один, быстрее, и, повернувшись, бросается вверх по лестнице. Зачем? Ведь ее нету. А вдруг есть? Вдруг старик ошибся, не заметил, как она вошла, отлучился на минутку или еще что-нибудь? Вдруг она сейчас там, спит себе, укрываясь от мух, не зная, что он в эту самую минуту бежит на ватных ногах к ее двери. Лежит себе голая под одеялом... сердце его подпрыгивает.

Он стоит около двери, смотрит на две двойки, намалеванные масляной краской и не решается постучать. Конечно, ее нету... что это ты себе навоображал... конечно, нету; только не умри мне тут от огорчения, когда это выяснится. Ну и что? Даже если нету, все равно – вот это ее дверь, и там, внутри, ее вещи, ее запах, вот по этой ковровой дорожке она ходила, вот на этой дверной ручке отпечаток ее руки. Если взяться за ручку, то это как будто погладить ее по руке... Яник берется за ручку, и дверь открывается.

Комната как комната, такая же, как и у них с Андреем, и этот вроде бы очевидный факт кажется Янику совершенно невероятным – как же так? – это ведь ее комната... На одной из кроватей – знакомый раскормленный чемодан. Разноцветные шмотки свисают из него, как капуста из полуоткрытого рта идиота. Яник берет с кровати подушку и некоторое время стоит, прижав ее к лицу, дыша ее запахом. Поглощенный этим самым важным на свете занятием, он не сразу понимает, что что-то в комнате царапает его взгляд, зовет, требует внимания. Что же? Он отрывается от подушки и оглядывается. А! Вот оно. На тумбочке – конверт, прислоненный к вовек не мытому пустому стакану. А на конверте надпись: «Янику». Как это?.. Конверт не заклеен. Дрожащими руками Яник достает сложенный вчетверо листок.

«Милый мой Ионыч! Я тебя ужасно люблю, и мне нужно, чтобы именно эти слова были первыми, которые ты прочитаешь. Видишь, мне не понадобилось особо много времени, чтобы во всем разобраться. Даже можно сказать, почти никакого времени не понадобилось, потому что я все поняла уже через час после того, как мы с Кэрри отъехали от Диярбакыра, а может быть, даже раньше. Мне бы тогда же и вернуться, но я только

сидела и ревела, как полнейшая дура, а потом уже было поздно, как всегда.

Но я почему-то уверена, что ты меня ищешь, и поэтому пишу тебе письма каждый день и оставляю в разных местах, а потом возвращаюсь и реву, и пишу новые, но совершенно теми же словами. Полный идиотизм, правда?

Сейчас я в гостинице, Кэрри уехала, а я приняла душ, он тут поганейший, но я вдруг вспомнила, как мы с тобой делали это в душе, и твои руки, и совершенно обалдела от всего этого и от того, как я хочу тебя снова, прямо сейчас. Хорошо, что ты это не прочтешь, потому что в голове у меня теперь полный бред, с сильным уклоном в порнографию.

Кэрри сказала, что вам Дахука не миновать, и я надеюсь, что это действительно так, и ты меня наконец-то найдешь, а Кэрри уехала в Эрбиль, фотографировать. Вообще-то у меня тут еще и дела, так что не принимай, пожалуйста, все на свой счет. Голову я, конечно, потеряла, но не совсем.

Ты помнишь, я говорила тебе о своем этнографическом проекте, связанном с йезидами. Это такой небольшой народ, несколько сотен тысяч человек, и Дахук находится совсем рядом с их важнейшим религиозным центром. Послезавтра, в среду, они отмечают свой Новый Год, и я просто обязана это видеть. Не знаю, правда, насколько мне удастся, потому что они чужих к себе не подпускают, что вполне оправдано – ведь многие считают их сатанистской сектой. Я совершенно уверена, что все обстоит не так, и мое исследование должно помочь опровергнуть этот дурацкий предрассудок. Представь себе, бедняг по сей день обвиняют в человеческих жертвоприношениях! На протяжении всей своей истории они подвергались (и подвергаются до сих пор) жутким гонениям со стороны властей. В общем, несчастные люди.

Завтра утром я попытаюсь на них выйти. А письмо это – на всякий случай – а вдруг ты приедешь, когда меня не будет в гостинице, хотя это и маловероятно – к полудню-то я точно вернусь. Я и дверь запираю не стану, чтобы ты мог зайти, не напрягая здешнего портье. Все равно отель пуст, да и красть у меня нечего. Портье тут, кстати, странный, похож на колдуна, но знает чертову уйму языков, включая, между прочим, иврит. И имя у него забавное – Джо, как на Диком Западе. Это Кэрри его расколола... ну она кого хочешь расколет. Наверное, это глупо – и письмо, и дверь, и Кэрри этого бы точно не одобрила, но я уже не знаю, что глупо, а что нет.

Целую тебя, твоя Пал.

Найди меня скорее, мне очень плохо без тебя, особенно в душе.»

К полудню... Яник смотрит на часы. Подожди, о каком полудне идет речь? Разве о сегодняшнем? Конечно, нет. Старик сказал, что она ушла еще до нашего приезда, вчера. Черт... Яник быстро

спускается в холл. Запах кофе встречает его еще в коридоре второго этажа и постепенно сгущается на лестнице. Ближе к стойке Яник уже плывет в нем, как в бассейне.

– А! Как ты кстати спустился, – говорит портье. – Хочешь кофе?

Он достает второй стаканчик и ловко наливает туда кофе из медной джезвы.

– Пожалуйста. За счет заведения.

– Спасибо, Джо, – отвечает Яник на иврите. – Мне очень нужна твоя помощь.

– Ну конечно, – кивает старик, ничуть не удивляясь. – Я сразу понял, что ты не из России. Шалом. Только не называй меня Джо. На иврите это звучит как-то по-дурачки. Мое имя – Ионатан.

– Хорошо... – Яник показывает письмо. – Это я нашел в комнате Пал. Дверь была не заперта. Тут она пишет, что идет искать каких-то йезидов и вернется к полудню. К вчерашнему полудню... Я очень беспокоюсь, Ионатан.

Портье напрягается. Какое-то время он стоит, опустив голову и полuzакрыв глаза, развесив по плечам морщинистые бульдожьих щеки. Потом он поднимает на Яника непроницаемый взгляд.

– Йезиды? Зачем ей йезиды?

– Она делает исследование для университета Торонто. Затем и приехала. Где ее теперь искать? И кто такие эти чертовы йезиды?

Старик выходит из-за стойки. Он очень серьезен.

– Четровы... Давай-ка присядем, парень. Познакомлю тебя со здешним театром, так уж и быть. Неси сюда свой кофе. Время терпит. Пока все равно делать нечего – до того, как стемнеет.

Обеспокоенный Яник усаживается в плетеное кресло. Время терпит? Что это значит? Старик ставит на низкий столик свой стакан; он задумчив и говорит медленно, вполголоса. Взгляд его безостановочно бродит по павлиньим стенам, поросшие черным волосом руки напряженно сцеплены на колене.

– Смотри, Иона. Это место показалось тебе дырой... Должен заметить, что многие с тобой не согласны. Есть и такие, что считают район Мосула самой что ни на есть столицей... Столицей Сатаны, Иона. Его сценой.

5

Портье некоторое время молчит, как будто давая Янику время проникнуться важностью сказанного.

– Итак, о йезидах ты не знаешь ничего. Ну а про Ниневию ты слышал? Про ассирийскую империю? Это ведь и ее театр тоже... Да? Ну и отлично. Тогда ты поймешь, что я имею в виду, если скажу, что йезиды полагают себя наследниками самых страшных ассирийских царей. Впрочем, не только ассирийских. К примеру, вавилонский Навуходоносор, разрушивший Храм

Соломона, тоже происходит из йезидской братии... во всяком случае, по их собственным утверждениям.

Ты спросишь, зачем им претендовать на столь неприятное родство? Но в том-то и дело, что для них это вовсе не неприятность. Наоборот, они очень гордятся своей связью с царями-разрушителями, царями-садистами, царями-мучителями. Почему? Потому что цари эти – порождение Сатаны, а ему-то, Сатане, йезиды и поклоняются.

Они даже не называют его Сатаной, Шайтаном, по тем же причинам, по которым евреям запрещено произносить полное Имя Бога – чтобы не осквернить Его великой святости. Им нельзя употреблять даже созвучные слова самого невинного значения. Доходит до того, что особо благочестивые избегают любых слов, начинающихся с «ша»... Вместо этого йезиды зовут Сатану «Азазел», а чаще всего – «Таус-Мелек», что значит «ангел-павлин». Вот, взгляни...

Старик обводит рукой маленький холл, и стаи павлинов на стенах согласно покачивают роскошными веерами распущенных хвостов. Ага. Яник возвращает вопросительный взгляд к старому портье. Тот отрицательно качает головой.

– Нет, я не йезид. Иначе бы не рассказывал тебе всего этого. Чужих они в свои дела не посвящают. А также укорачивают нос тем, кто сует его к ним слишком назойливо... Так что если хочешь услышать действительно хороший совет, то поднимайся сейчас же в номер, собирай вещи и отправляйся в Эрбиль, или в Сулейманию. И забудь это слово – йезиды. Жил же ты до этого, не зная о них ничего? Вот и продолжай в том же духе. Этих спектаклей тебе лучше не видеть, не то что выходить на сцену... А друзьям твоим, когда они вернутся, я передам, что ты ждешь их в Эрбиле. Если они, конечно, вернутся...

– Что ты имеешь в виду?

– Не знаю... – старик пожимает плечами. – В этом театре исчезают и актеры, и зрители, даже в мирные времена. А уж во время войны... Не знаю...

– Ладно, – перебивает его Яник. – Твой совет мне понятен. Давай-ка лучше вернемся к йезидам. Ты говоришь, что они поклоняются черту и сильно злодеев уважают. В этом, на мой взгляд, нет ничего страшного – мало ли кто, кого и за что уважает? От уважения еще пока никто не умирал. Другое дело, если они сами злодействуют. Но это как раз таки кажется мне маловероятным – иначе они бы давно уже по тюрьмам сидели... В течение тысяч лет совершать преступления и оставаться не только безнаказанным, но и безвестным?.. – как-то не верится.

– Ты прав... в определенном смысле... – кивает старик. – Но правда эта кажущаяся. Видишь ли, Сатана не творит зло самолично. Ему достаточно лишь создать нужные условия, а там уж само пойдет. Он просто пишет пьесу... даже не пишет... так, намечает в общих чертах. А дальше все делают самые обыкновенные люди. Разве не так? Для того чтобы убить или украсть, вовсе не

нужно быть членом сатанинской секты... Слыхал ли ты про Йезида бен Муавию, второго халифа династии Омейядов? Нет? Любопытная пьеска местного производства, да и к йезидам имеет, как ты понимаешь, самое непосредственное отношение. Настолько, что их даже называют по его имени... Хотя имен у них хватает; «йезиды» – всего лишь одно из них.

Да, так вот... Йезиды рассказывают, что как-то Таус-Мелек наградил пророка Мухаммеда сильнейшей головной болью. Как известно, лучшее лекарство от головной боли – топор и плаха; но это лечение уж слишком радикально... Пророк же решил всего-навсего побрить голову наголо, рассудив в своей неизбывной мудрости, что таким образом избавится от боли хотя бы частично. Бритьем головы занимался обычно его помощник по имени Муавия. Муавия происходил из того же племени курейш, что и Мухаммед, но из другого рода – Омейя. Сам же пророк был из рода Хашим, и соперники-омейяды перед тем, как обисламиться, изрядно с ним повоевали.

Ты уж извини, что я забиваю тебе голову этими деталями, но они важны для дальнейшего. Итак, Муавия начал брить пророка. Он делал это с должным благоговением и аккуратностью, как всегда; но под самый конец Сатана толкнул его в локоть, и на голове Мухаммеда образовался неглубокий, но досадный порез. Выступила кровь; красная ниточка быстро родила крупную каплю, а капля поползла в сторону пророчьего виска с недвусмысленным намерением упасть прямо на грешную землю. Этого Муавия не мог допустить. Но поскольку руки его были напрочь заняты бритвой и помазком, а капля ползла на удивление быстро, то ему не оставалось ничего другого, как наклониться и ловко слизнуть ее посредством собственного языка. К его удивлению, немедленно после этого царапина исчезла как не бывала.

Увы, к несчастью цирюльника, пророк был начеку и потребовал объяснений. Муавия честно рассказал, что произошло. В конце концов, он действовал из лучших побуждений... Мухаммед же пришел в ужас. «Что ты наделал? – вскричал он. – Знаешь ли ты, что отныне семя твое проклято? Знаешь ли ты, что ужасное сатанинское отродье поселилось в твоих чреслах и, выйдя из них, поразит этот мир неисчислимыми бедами?» Вот те на! Несчастный Муавия упал на колени и тут же поклялся не прикасаться к женщине до конца своих дней, дабы страшная угроза не осуществилась.

Дальше – больше. Любой здравомыслящий человек на месте пророка повелел бы убить Муавию как носителя сатанинского семени или на худой конец оскопить, дабы решить проблему раз и навсегда. Возможно, Мухаммед так и планировал. Но предусмотрительный Таус-Мелек поразил забывчивостью его больную голову, и Муавия остался цел. В дальнейшем он никому не рассказывал о случившемся, но сам честно воздерживался от плотских утех с женщинами. К мужчинам же его в этом смысле не тянуло никогда. В общем, для окружающих Муавия являл похвальный

пример аскетического воздержания во славу Аллаха и его пророка. Это создало ему немалый авторитет. Вскоре он стал одним из главных сподвижников Мухаммеда.

После смерти пророка надо было как-то делить власть, и мусульмане раскололись на несколько соперничающих групп. Главные разногласия вызывал вопрос о том, кто имеет право быть халифом. Представители рода Мухаммеда, хашимиты, говорили, что это право принадлежит им исключительно, как наследство близким родственникам. Таковыми являлись Али – двоюродный брат пророка и муж его единственной дочери, а также два его сына – Хасан и Хусейн. Соответственно и группа именовалась «шиит Али» – партия Али, а попросту – шииты.

Другая группа, названная потом партией традиции, суннитами, настаивала на том, что право халифата принадлежит всему племени курейш, вне зависимости от рода. Понятно, что Муавия поддерживал именно эту группу – ведь он не был хашимитом, а править хотел. Были, конечно, и крайние демократы – хариджиты. Эти полагали, что халифом может стать любой правоверный мусульманин, даже не курейшит, но их движение быстро зачахло ввиду явной несуразности этого утверждения. Так что отверг ислам демократию в самом зародыше...

Как бы там ни было, шли годы. Обе партии резали, как могли, наиболее активных неприятельских вождей. Время от времени воевали, но не по-крупному. Погиб от ножа убийцы-хариджита зять пророка имам Али. В итоге как-то так вышло, что халифом стал наш старый знакомец Муавия. Это был тяжелый удар по шиитам, но оставались еще Хасан и Хусейн – внуки, плоть и кровь Мухаммеда.

Муавия был хорошим халифом и умным политиком. Он вполне довольствовался тем, что братья сквозь зубы, с очевидным отворачиванием, произнесли формальные уверения в лояльности. Присяга присягой, но ему было важнее избежать открытой схватки с многочисленной партией шиитов. Насильственная смерть Али потрясла мусульман, тем более, что убит он был во время молитвы, в мечети Эль-Куфы... кстати, не так далеко отсюда... Что же до родных внуков пророка, то любому было ясно, что если и найдется такой святотатец, который осмелится поднять руку на братьев, то его ждет единодушное проклятие всех правоверных, вне зависимости от того, сунниты они или шииты.

Так что Муавия особо не давил на Хасана с Хусейном. Столицей халифата стал Дамаск. Оттуда халиф направлял походы победоносных армий ислама и особо не тревожился тем, что происходило в далекой Аравии, в захолустной Медине, где затаились братья. Или делал вид, что не тревожился. Когда старший, имам Хасан, умер от неожиданной болезни, халиф горевал вместе со всеми, причем настолько искренне, что упорные слухи об отравлении так и остались слухами, не вылившись в сколько-нибудь серьезное возмущение. Тем не менее, шииты объявили своего второго имама мучеником, вслед за первым – Али. Хусейн, став-

ший имамом после смерти брата, сидел тихо, и Муавия оставил его в покое.

В конце концов, у него были намного более важные дела. Управление халифатом, святой джихад во имя ислама, дворцовые интриги и, конечно, сын. Да, да, Иона, ты не ослышался: у Муавии был сын по имени Йезид, любимый мальчик, которому старый халиф намеревался без лишних проблем, из рук в руки, передать огромный халифат, когда придет и ему, Муавии, время предстать пред грозные очи Аллаха. Как же так?! А как же обет безбрачия?..

Старый портье разводит руками и усмехается своею кривой нехорошей усмешкой. За маленькими немытыми окнами беспокойно ворочается пасмурный день, как тифозный больной в ворохе серых загаженных простыней. Тускло мерцает голая лампочка над стойкой. Ожившие павлины по-хозяйски гуляют по стенам попеременно с тенями.

– Обет обетом, а со смертью не поспоришь. Короче говоря, произошел с Муавией несчастный случай в виде укуса желтого скорпиона. Йезиды, конечно, утверждают, что скорпион был послан Таус-Мелеком, то есть Сатаной. Мы этого проверить, понятно, не можем... хотя точность укуса и в самом деле поражает. Скорпион ужалил спящего Муавию прямо в детородный член, напряженно пульсировавший в ночи, неподвластный дремлющей воле несчастного аскета. Призванные на помощь врачи, посоветовавшись, вынесли единогласный вердикт: лишь живые соки женского лона смогут спасти Муавию. Выбор был, в общем, прост – возлечь либо с женщиной, либо с могильными червями. Больной выбрал первое.

Впрочем, не торопись осуждать клятвопреступника. Муавия распорядился привести ему восьмидесятилетнюю старуху. Оцени его верность, Иона. Совершенно очевидно, что он рисковал жизнью, ибо лечебные свойства столь древнего влагалища представлялись в высшей степени сомнительными – в конце концов, у каждого лекарства есть срок давности; с другой стороны, тем самым Муавия исключал появление потомства, а значит, держал данное пророку слово. Сказано – сделано, больному нашли старуху, и он провел с ней всю ночь, лечась с необыкновенной интенсивностью, понятной, впрочем, ввиду многих лет абсолютного воздержания. Но если это было понятно всем, то другое... Как эта старуха обернулась к утру счастливой двадцатипятилетней женщиной, не знает никто. То ли, войдя во вкус лечения, Муавия приказал сменить дозировку лекарства, то ли помощники постарались по собственной инициативе, то ли и в самом деле не обошлось тут без Таус-Мелека... но через девять месяцев у Муавии был сын, Йезид.

Так Йезид бен Муавия стал вторым халифом из династии Омейядов. Отец оставил ему крепкую власть и огромное государство. На смертном одре, вцепившись слабеющей рукою в руку единственного сына и наследника, старый халиф дал ему по-

следний наказ: ни при каких условиях не вступать в открытый конфликт с имамом Хусейном. «Требуя присяги на верность от всех, кроме него, – торопливо шептал Муавия склонившемуся над ним Йезиду. – Пусть себе сидит в своей Медине. Он тебе не опасен, пока ты его не трогаешь. Как скорпион. – В чем в чем, а в скорпионах старик разбирался...

Надо ли говорить, как трудно было молодому правителю, опьяненному великой мощью свалившейся на него власти, последовать совету отца? Весь мир дрожал перед ним и, послушно склоняясь, слал низжайшие заверения в покорности. Весь мир... все, кроме засевшего в Медине упрямца. Да кто он такой, этот Хусейн? И Йезид обязал губернатора Медины привести Хусейна к присяге. Одно из двух должен был получить дамаский халиф: либо «байю» – подписанную Хусейном грамоту о лояльности, либо голову мятежного имама.

Дальше главное, то, ради чего я тебе все это рассказываю. Хусейн отказался, бежал сначала в Мекку, а оттуда с горсткой сторонников выступил на север, в сторону Ирака, рассчитывая мобилизовать тамошних шиитов на борьбу с Йезидом. Под Кербелой он был окружен тридцатитысячной армией верных халифу воинов. Силы были настолько неравны, что Хусейн предпочел отпустить всех, кроме тех, что были заранее готовы принять мученическую смерть вместе с ним. Осталось несколько десятков человек. Следующим утром, на рассвете они атаковали многотысячную армию врага и сражались до самой смерти. Голова Хусейна была отправлена халифу в Дамаск. В качестве приложения следовали головы двоих его малолетних сыновей и подростков-племянников, детей его старшего брата, Хасана. Тела убитых бросили в пустыне без погребения.

Исламский мир был потрясен содеянным. Йезид бен Муавия после этого долго не протянул, но не в нем тут дело. Дело в том, что мученическая смерть, самоубийство во имя веры, шиада, шахидизм, обрели с тех пор авторитетный пример и ореол непререкаемой святости в глазах всех мусульман. Начиная с того осеннего утра под Кербелой и по сей день, включая недавнее осеннее утро над Манхеттеном, круглый год – в алжирском кафе и в московском концертном зале, в иерусалимском автобусе и в индонезийском ресторане, везде, по всему миру – имам Хусейн снова и снова бросается навстречу смерти.

Теперь скажи мне – где тут Сатана, во всей этой истории? Разве он лично творит зло? Очевидно, что нет. Он вызвал к жизни халифа Йезида, а тот уже совершил преступление. Имам Хусейн был убежден, что умирает за веру. На деле же его гибель утвердила культ смерти, потянула за собой кровавую цепь злодеяний. Все в этом мире взаимосвязано, Иона, крест-накрест, в пространстве и времени. Мелкая ошибка аравийского цирюльника спустя четырнадцать столетий оборачивается тысячами невинных, сгоревших в американских небоскребах. Так работает Сатана, Таус-Мелек, Азazel, бог йезидов. Ему не приходится

пачкать руки – люди все делают сами. Иногда они даже думают, что делают это во имя Бога, но на самом-то деле – Сатана запустил их в работу, подобно заводным механическим игрушкам... Подожди, я сделаю еще кофе.

Старый портье церемонно подтягивает затрепанные, но чистые манжеты и собирает со стола пустые стаканчики. Яник вздыхает и пожимает плечами.

– Красивая сказка, – говорит он. – Но ты не ответил мне на мой вопрос – безопасны ли здешние, сегодняшние йезиды? Я имею в виду – на практическом уровне, и Бог с ними, со сказками.

– Со сказками?... – отзывается старик. – Я вижу, что ты так ничего и не понял, мальчик. Для тебя это, может, и сказки... для тебя, для таких, как ты, для стран, откуда ты и твои приятели приехали сюда; но – не для этих мест. Тут все иначе. Тут связи, о которых я тебе говорю, не выглядят сказочными. Тут каждая деталь, каждое имя, каждое событие наполнены особым смыслом. Тут верят в переселение душ, в тайную силу слов; история здесь движется не поступательно, а по замкнутому кругу, как змея, кусающая саму себя за хвост. Твой мир линеен; тут царствует цикл... Взять хоть твое имя. Не может быть, чтобы ты не заметил здесь связанных с этим странностей. Ну, скажи, ведь заметил?

Яник неохотно кивает.

– Ну да, было... Курды-проводники... и еще...

– Вот! Что я говорил? А почему, знаешь? Потому что дух пророка Ионы, пришедшего сюда из Иудеи без малого три тысячи лет тому назад, еще живет в этих горах. Потому что йезиды помнят, как он предупредил ниневийцев о грозящей опасности, как он спас Ассирию от гибели. Кстати, они трактуют тогдашние события совсем иначе, чем ваше Священное Писание. По их мнению, твой тезка был посланником Сатаны, другом Таус-Мелека... а иначе – зачем ему было помогать грешному городу? Вот так. Оттого и чтят тут Иону намного больше, чем на его родине. Один из двух больших ниневийских холмов даже носит его имя – Наби Юнус. Благочестивые йезиды не едят рыбу – знаешь, почему? – Из уважения к рыбе, проглотившей пророка Иону, когда он пытался бежать от своего предназначения, от поручения Сатаны.

Йезиды уверены, что рыбу послал Таус-Мелек, а может, и сам обернулся ею по столь важному поводу. Посуди сам – не будь Ионы, не было бы Ниневии, не было бы Тиглатпалассара, Саргона, Синаххериба – всех этих ужасных царей-разрушителей, верных слугителей Сатаны; а значит, уцелел бы Храм Соломона, стояли бы Великий Вавилон, Элам и Урарту, цвел бы древний Дамаск... все, все пошло бы по-другому! А впрочем, как знать... скорее всего, Таус-Мелек нашел бы себе других помощников, как нашел, к примеру, халифа Йезида и еще многих других...

Так или иначе, парень, твое имя тут уважают. И не только в память о прошлых заслугах. Я уже говорил тебе о том, что здесь мыслят циклами. Поэтому каждый Иона, пришедший сюда, мо-

жет оказаться новым посланником Таус-Мелека, очередным йезидским спасителем, служителем зла. И ты – тоже...

– Любопытно... – усмехается Яник. – Теперь многое становится понятным...

Он встает и подходит к двери. Солнце висит над самым гребнем хребта, скоро начнет темнеть. Старик ставит на стол полную джезву.

– Через полчаса я вызову тебе такси, – говорит он. – Сядешь и скажешь одно только слово – «Лалеш». Шофер начнет отказываться, и тогда просто назови ему свое имя. Он отвезет куда надо. Дальше все зависит от тебя самого... и от помощи твоего Бога. Только, пожалуйста, заплати сначала за гостиницу. Бизнес есть бизнес.

6

Яник сердито смотрит вслед отъехавшей машине. Перепуганный таксист наотрез отказался брать деньги. Ну и черт с тобой, не хочешь – и не надо... Он оглядывается. Вокруг много людей. В просторную горную долину ползут сумерки. Ветра к вечеру не стало; первые звезды проступают сквозь серую пелену неба; новолуние. Там и сям по долине разбросаны странные постройки – небольшие кубы, сложенные из грубых каменных блоков, с водруженными на них коническими ребристыми куполами. Гробницы? Похоже на то. Все они так или иначе повторяют форму главного строения – его остроконечный конус, увенчанный флюгером в виде петуха, уверенно возвышается над горою Лалеш. Только не флюгер это, Яник, и не петух... Павлин это, дружище... Павлин-Ангел, Таус-Мелек...

Яник вспоминает объяснения старого портье: перед ним главная йезидская святыня, гробница шейха Ади бен Мусафира, верного павлиньего помощника, преданного слуги великого Ангела-Азазела. Но как много народу-то... чем ближе к гробнице, тем гуще становится толпа. Здесь целые семьи; дети от мала до велика – играют, суетятся, с веселыми криками носятся друг за другом. Совсем маленьких родители держат на руках. Все взрослые выглядят на один манер – в темных, наглухо закрытых спереди одеждах из грубой шерсти. Головы женщин повязаны большими белыми платками, мужчины – в хитро накрученных тюрбанах. Простоволосый Яник в джинсах, свитере и куртке смотрится здесь инопланетной вороной.

Ну и пусть... Он старается не обращать внимания на недоуменные пристальные взгляды, которыми провожают его все без исключения. У него тут своя задача: приподнимаясь на цыпочки, Яник силится разглядеть Пал, ее шапочку, ее дубленку... времени на это осталось мало – скоро ведь совсем стемнеет.

Площадь перед гробницей полна людей; повсюду раскинуты импровизированные лотки с едой и питьем. Яник проталкивается между одинаковыми бурыми шерстяными спинами, как морская

свинка в огромной стае крыс. Он здесь один такой, другой, чужак... неуютно, что и говорить... ну ничего – переживем, вот только Пал разыщу и – назад... не нужен мне ваш Новый Год, у меня своих два. «Два! – говорит он очередному шерстяному крысу, упершемся в него долгим изучающим взглядом. – Два!» – и приветливо улыбаясь, показывает масудову букву «V». Но крыс и не думает идти на контакт, его неподвижное усатое лицо не выражает ничего, кроме первоначального безразличного недоумения. Яник отворачивается и двигает дальше.

Уже совсем темно. Ровный гул голосов стоит над ночной долиной, скупо освещаемой дымными звездами да десятком-другим масляных ламп, подвешенных над лотками и гробницами. Дальше не пробиться – усыпальница шейха Ади окружена плотным кольцом людей, и Яник вынужден остановиться. В колеблющемся свете ламп он видит над входом черную каменную змею, переливающуюся в темноте каким-то странным жирным отсветом. Люди тянутся к ней руками – дотронуться хотя бы слегка, хотя бы кончиками пальцев; на пальцах остается черный след – это священная сажа, которую счастливики благоговейно переносят сначала на собственный лоб, затем на лбы жен, детей, и дальше, остатки – тем, кто не сподобился прикоснуться. Время от времени один из служителей, стоящих у входа, подновляет черную змеиную чешую, добавляя сажу из масляного светильника.

Где же Пал?.. В толпе вдруг зарождается движение; шерстяные спины, пятась, отталкивают друг друга от гробницы. У входа высвобождается широкая площадка. Все будто чего-то ждут... наконец из усыпальницы выходит священник в длинном черном одеянии и черном тюрбане, за ним еще и еще... В руках у каждого – горящий факел и по несколько ламп. Их много – несколько десятков, даже больше... не может быть, чтобы все они помещались до этого там, внутри – гробница кажется совсем небольшой... Почти не задерживаясь на площадке, черные тюрбаны медленно расходятся в разные стороны, и бурая толпа послушно расступается перед ними.

Видимо, пламя факелов тоже не простое, потому что люди отчаянно тянутся к нему руками... нет, именно одной, правой рукой, и, подержав ее в огне секунду-другую, благоговейно целуют. Священники между тем начинают зажигать лампы, размещая их в нишах и на выступах стен, на ветвях деревьев, а то и просто на камнях; израсходовав весь запас, они возвращаются за новыми, и через четверть часа вся долина сияет сотнями огней, как будто темное звездное небо опрокинулось вниз, на землю.

Но и этого кажется собравшимся мало, потому что вдруг, как по команде, все они – и взрослые, и дети – достают факелы и заправляют их. Теперь уже тысячи... нет, десятки тысяч огней мерцают на темных склонах гор, отражаясь друг в друге, и звезды с завистью взирают сверху на это неистовое буйство света. Гул голосов нарастает, подхваченный этой колеблющейся, стоячей волной света; он уже не такой беспорядочный, каким был прежде,

он подчинен какому-то мощному нутряному ритму, пульсирующему в чаше горной долины, в чаше, которая, подобно гигантскому усилителю, посылает свой рычащий зов в черное ночное небо. Янику становится не по себе; это даже не страх, это какое-то непонятное тошнотворное чувство резонанса, раскачивающееся между сердцем и желудком, мешающее нормально дышать и вообще жить. Ему хочется закрыть глаза, заткнуть уши, но рук не поднять... он с трудом подтягивает их вверх, к голове... и в этот самый момент гул вдруг резко обрывается на какой-то уже совсем невыносимо-низкой, утробной ноте.

Мертвое безмолвие повисает над долиной. Потрясенный Яник оглядывается – всё молчит вокруг, и люди, и природа; нет ни голосов птиц, ни дальнего лая шакалов, ни хохота лис... нет даже того тончайшего, неуловимого посвиста, которым сопровождаются мельчайшие движения воздуха... в этой тишине нет даже звона – единственного звука полной тишины. Это длится несколько бесконечных секунд, и вот где-то очень далеко рождается тонкий голос одинокой флейты. Откуда он дотянулся в этот мертвый мир факельных огней, в это загробное молчание?... может быть, с той звезды?... Нет, звук идет из недр усыпальницы; флейта жалуется и плачет, молится и причитает, срывается на хрип и захлебывается в рыданиях.

Тысячи людей стоят, опустив к земле мокрые от слез лица. Другие флейты подхватывают мотив, еще через минуту негромкое хоровое пение присоединяется к ним. Печальная монотонная музыка растекается по долине. Священники в черных тюрбанах медленно выходят из разверстого зева гробницы. Их много, они поют и играют на своих флейтах. Кроме флейт есть еще и тамбурины; они пока молчат, ждут своего часа... но вот и он, их час – музыканты разом воздевают руки к небу, и сильный синхронный удар плывет в стосковавшемся по звукам воздухе. Бум-м-м... Пока он один, но будут еще, это почему-то ясно, почему-то их ужасно хочется, этих ударов, и Яник чувствует, что не он один – все тут ждут их, жаждут, как манны небесной, как жизнетворных капель, падающих на мертвенный желтый поток мелодии.

Бум-м-м... Бум-м-м... удары становятся чаще; и вот уже ясный, мерный, высвобождающий ритм вбивает свои столбы в землю долины. Монотонная, тянущая нервы музыка еще струится между ними какое-то время, но вот сдается и она, подчиняется общему властному настрою и вдруг, всплеснув неожиданным диким взрывком – ййююу!.. – пускается в какой-то разнузданный, развеселый перепляс. Люди вокруг Яника начинают переминыться с ноги на ногу, прихлопывать ладонями в такт, подпевать... голоса певцов взлетают вверх... вот уже вся толпа пляшет, быстрее и быстрее, издавая бессвязные звуки и улюлюкая под залихватское взвизгивание флейт и подгоняющее уханье тамбуринов.

Умц-умц-умц-умц-умц-умц... ййююу... ййююу... умц-умц-умц-умц-умц... ййююу... ййююу... Да это же «топталовка»! Ну конечно! Разве что антураж немного другой, а так – все то же... Янику да-

же становится смешно. Он оглядывается – не спрятался ли где-нибудь в кустах авин фургон?.. не прыгает ли где-нибудь рядом Лиат – вдохновенная давалка?

Темп нарастает, становится почти невыносимым; певцы уже не поют, а визжат на одной, невообразимо высокой ноте, тамбурины бьются, как ноги припадочного... должна же быть развязка... ведь уже невозможно сделать это еще выше, еще чаще, еще громче... ведь это уже выше сил человеческих, выше сил сатанинских... И вот он, высший пароксизм, коллективный спазм обезумевшей толпы – музыканты отбрасывают в сторону тамбурины, ноги их подкашиваются, тысячи рук ломаными углами вскидываются к звездам, и ужасный звериный вопль вырывается из всех глоток вместе с ошметками душ и остро заточенным копьём вонзается в беззащитное небо.

Яник приседает, зажимая уши. Вопль исчезает в вышине, оставляя в огромном корыте долины сведенную судорогой толпу да испуганное эхо. Неимоверное напряжение момента еще какое-то время колеблется, удерживаясь на достигнутой крутизне, а затем с удивительной быстротой соскальзывает вниз, в яму. Первым, пометавшись в панике между горами, убегает эхо – скатывается по желобам оврагов, ловко карабкается на склоны, сплавляется по руслам ручьев и речек. Потом начинают расходиться и люди; они как-то уменьшились в размерах, съежились, как будто мощь заключительного вопля забрала у них большую часть сердца, как будто вместо легких остались у них в груди одни лишь опавшие рваные тряпки. Матери поспешно собирают детей, и те послушно идут, зевая, прибалдевшие и опустошенные. Долина быстро пустеет, сворачиваются лотки, гаснут факелы; лишь масляные лампы остаются гореть повсюду, где их зажгли черные тюрбаны.

Куда теперь? Яник идет к усыпальнице шейха. Навряд ли его пустят внутрь, но отчего бы не попробовать? Змея над входом жирно мерцает – или шевелится? – в колеблющемся свете ламп. Он подходит вплотную. Двое служителей по обеим сторонам двери стоят неподвижно, с непонятым выражением глядя поверх Яника, туда, где пестрящая огнями чернота гор сливается со звездной чернотой неба.

– Эй! – говорит он и осторожно поднимает руку, пытаясь привлечь их внимание. – Алло! Тук-тук! Есть дома кто-нибудь? – Один из служителей моргает и опускает взгляд. Но он смотрит не на Яника, а куда-то мимо, за яникову спину, будто именно там происходит сейчас что-то, заслуживающее внимания. Яник оборачивается. Плотная шерстяная стена бородатых людей в черных тюрбанах отгораживает его от остального мира. Их много, и они неторопливо сокращают отделяющее их от Яника расстояние, молча, не глядя на него, но отчего-то не оставляя места сомнению, что именно он тут – цель и добыча. Яник изо всех сил улыбается. «Я уже ухожу...» – успевает сказать он перед тем, как потерять сознание.

НИНЕВИЯ

1

Всадники несутся по неровной поверхности стены, их много, очень много – сколько хватает взгляда... лошадиные морды в пене, пики, нацеленные на невидимого врага, разъяренные в беззвучном атакующем крике рты. Как на экране телевизора, они выпрастываются из левого угла комнаты и мчатся по направлению к другому ее краю. Это, видимо, сон? Яник подтягивает руку к глазам – пощупать, открыты ли? Открыты. Все тело болит, как будто кто-то сначала разобрал его на мелкие части, а потом собрал снова, но уже неряшливо, в спешке, особо не заботясь о порядке и качестве сочленений. Даже собственный стон он слышит откуда-то издалека, словно в результате этой неправильной сборки рот оказался где-то в районе пяток, а уши, наоборот, – на потолке.

Ладно, уши... черт с ними, с ушами... сам-то он где? Ээ-э... глупый, как же ты не понимаешь – где уши, там и ты. Да, действительно, это ведь так просто, мог бы и сам догадаться. Ну? А что – «ну»? Если уши на потолке, то и он там, Яник. А почему тогда все тело болит? А потому что на потолке спать неудобно, это же ежу понятно. Ага. А еж-то тут при чем? Ну, как... у ежа рот где? У ежа? У ежа рот – где иголки. Ну, тогда все ясно, так бы сразу и сказал... Янику вдруг становится ужасно смешно, но он не смеется, потому что рот далеко – на пятке, а безо рта – какой смех?

Хорошо хоть глаз здесь, под рукой. Только надоели эти дурацкие всадники – скачут и скачут, как очумелые, скучно. Яник пробует косить глаз, чтобы рассмотреть еще что-нибудь, но у него не получается. Тогда он высовывает глаз вверх, как подводная лодка, на перископе. Да! Он просто – подводная лодка, он – железная рыба с ядерным реактором, он – кит, проглотивший Иону, то есть – самого себя. Да! И поэтому он такой молчаливый – ведь рыбы неразговорчивы, всякий знает; и рот у него поэтому на пятке, как у камбалы, только еще дальше. Хотя нет, у камбалы ведь глаз на спине, а вовсе не рот, это у него рот на пятке, и это тоже понятно – ведь он намного больше камбалы, он – большой железный кит-левиафан, вот.

И комната, вроде, тоже большая, хотя и не такая, как море. Яник осторожно, чтобы не вывернуть шею, поворачивает перископ и видит масляную лампу на вбитом в стену крюке. Это странно... как может быть лампа в море? А вот и может – на мачте корабля! Ведь может? Может? Ну то-то же... не изображай из себя дурнее чем ты есть. Кстати, где-то он уже видел такую лампу... когда-то очень-очень давно... на большом таком поле... или в долине... ну точно, в долине. Уф... Яник чувствует ужасную усталость. Эта чертова лампа отняла у него все силы – нашел на что тратить... Давай-ка лучше поспим. Ага, давай. Яник

убирает перископ и дает команду аварийного погружения. Нырнем поглубже, и пропади оно все пропадом... Закрывая глаза перед объявшимися его водами сна, Яник-кит еще успевает полюбопытствовать, спросить у Яника-субмарины – как там всадники на стене? Все мчатся неведомо куда? Точно, мчатся, несутся... нет, несутся – это курицы... ага, курицы и павлины... курицы и пав...

Он открывает глаза через пять тысяч лет, а может и больше – кто считает?.. Ну-ка, ну-ка... Ты смотри-ка – все на месте – и рот, и уши, и душа, и одежда, и... нет, мысли еще не совсем – ты ври-ври, да не завирайся. Кстати, как там со всадниками? Яник смотрит на стену. Пусто! Все ускакали, умчались в неведомую даль во главе со своим забубённым военачальником... Ни одного не осталось. И слава Богу... Яник тщательнее примеривается и, собрав мысли в кулак головы, вспоминает – как садятся. Как это делают, в натуре? Не в тюрьму, то есть, а просто. Скажем, лежал себе человек и вдруг – бац! – сел. Перешел из состояния в состояние. Или, из солежания в сосидение. Как-то ведь они это делают... А чего б тебе не попробовать, Яник? Ты, главное, не бойся. А я и не боюсь; я – вот, к примеру... руку – сюда, а ногу... надо же, получилось!

Яник садится и гордо смотрит на стену. Стена раздвигается и из нее выходит Мишаня с шубой. Оба они мокрые насквозь. Шуба, она, дура, промокла... помнишь, Яник?.. ну да, насквозь промокла – в той самой речке, где Мишаню застрелили, конечно, помню. А почему же Мишаня мокрый, если его застрелили? Ну как... ведь он всегда потеет, Мишаня... оттого и мокрый, известное дело. Да разве ж они потеют, мертвые? Не-е-ет... мертвые не потеют... а и впрямь, Мишаня, отчего ты потеешь, если ты мертвый? Непорядок...

Мишаня улыбается своею застенчивой улыбкой и разводит руками – мол, извини, Яник. Мол, ты же за мной это свойство знаешь... потею, хоть ты тресни, даже мертвый... никакие дезодоранты не берут. Я же тебя предупреждал, помнишь? Помню, как же, конечно, помню. Но ты ведь мертвый, Мишаня, правда? Ты ведь остался там, в том неизвестном притоке большой ассирийской реки, наштигованный пулями по самое не могу, остался со всем твоим потом и со всеми твоими мечтами... остался, брошенный мною – умирать в злой крутящейся воде, один. Один! Один, пока я, петляя, как заяц, рыл вверх по склону, подгоняемый собственным страхом... Ты уж прости меня, Мишаня, а? Посмотри на меня, гада мерзкого, пресмыкающегося... и прости. Ты ведь за этим и пришел – простить, правда?

– Правда, – кивает Мишаня, – за этим и пришел... ты уж извини, что я все молчу – мертвым много говорить не положено, как рыбам. – Ну и ладно... не положено, и – ладно... А зачем тебе шуба-то эта проклятая? Камеру, я вижу, ты так и не сыскал, утащило, да? Утащило... Ты видишь, Мишаня, какая все-таки скотская это штука – жизнь, и как нет в ней человеку никакого везе-

ния? Камеру – утащило, а шуба эта гадская осталась... где тут логика?

– Да, – соглашается Мишаня и снова улыбается, ничуть не печально, потому что, что же печалиться о таком общеизвестном факте? Нечего печалиться, да... Удивляться можно, а печалиться-то зачем?... что этим изменишь? Так зачем ты ее за собою таскаешь, шубу?

– Ну как... – Мишаня озадаченно разводит руками. – Отдавать-то надо; я ж ее займы брал, ты что, забыл? В Хайфе, у приятеля... неудобно... ты уж, Яник, того...

Конечно, конечно, о чем речь, Мишаня, обязательно сделаю. Найду твоего приятеля, из-под земли достану, будь покоен. Так и передам – мол, не беспокойся, друг-приятель, о своей вериге; Мишаня ее хранит пуще глаза и вернет в целостности и сохранности при первом удобном случае. Годится?

– Годится, – говорит Мишаня. – Ты, Яник, вот что. Ты бы поспал, что ли. А то лица на тебе нет. Эк они тебя накачали... А я пойду, ладно?

Ага. Накачали будьте-нате. Ты иди, Мишаня, иди, родной... я тут пока прилягу на немножко... вот так... на чуть-чуть...

И проходит еще три тысячи лет, а может, больше, а может – меньше... Яник садится и трясет головой. Где он? Большое помещение... подвал?... подземелье?... черт его знает, одно понятно – окон тут нету. Земляной пол, сырость; на грубой каменной кладке стен – живые водяные потеки. Масляная лампа. В углу – бесформенная куча тряпья. Опоясанная железом дверь из мощных деревянных плах. Как он тут оказался? Яник трет ладонями виски. Ну да... место называется Лалеш, или Люлөк, или еще что-то в этом роде. Во всяком случае, сюда он приехал на такси... шофер не взял денег... потом это дикое камлание – местный вариант «топталовки»... Да, точно, он искал тут Пал... был еще портье-армянин по имени Джо... и записка... А потом? Потом – люди в тюрбанах у входа в гробницу, и – все, обрыв. Видимо, тут-то его и прижучили. Он ощупывает голову; нет... – ни шишки, ни ссадины... отключили как-то по-хитрому, умеючи. А потом еще всадили какой-то гадости... сколько же времени он тут кукует? На часах – около десяти... дня?... ночи?..

Яник встает... о, ноги держат... и то хорошо. Он подходит к двери – заперто... ага, а ты чего ожидал, умник?... Яник осматривается – что тут еще? Тряпье это грязное? В полумраке особо не разглядишь; он пробует кучу ногой и отскакивает, как ужаленный, одновременно с диким криком, от которого вздрагивает ровный огонек лампы: «не-е-ет!!» Какую-то долю мгновения ему даже непонятно, кто кричал – не он ли сам?... и только потом Яник понимает, что кричала куча, что это вовсе не куча, а человек!... – человек, бесформенной неподвижной грудой лежавший до того на полу, а теперь сидящий, вернее, не сидящий – ведь трудно назвать «сидением» это состояние крайнего ужаса, эту крупную дрожь, это судорожное сучение ногами и

слепое, беспорядочное мельтешение рук. «Не-е-ет!!» – кричит он снова и, закрывая лицо руками, боком, по-черепашьи, сдвигается в сторону. Там больше света, и...

– Господи-Боже-мой, – вырывается у Яника свистящей скороговоркой, потому что иначе ему просто не выдавить воздух, застрявший в задохнувшихся легких. – Господи-Боже...

– Не-е-ет!!

– Успокойся, Андрей, это я, – говорит Яник, стараясь звучать спокойно. – Это я, Яник. Ты что, меня не узнал? Посмотри, это ведь я...

Ревич вдруг разом обмякает и начинает всхлипывать, все так же пряча лицо в ладонях. Яник наклоняется и кладет руку ему на плечо. И снова Ревич вздрагивает, как от ожога. Что с ним?

– Что случилось, Андрей? Да посмотри же на меня наконец...

Сквозь хлюпанье и сморканье прорывается какой-то неуместный сумасшедший смешок. – Сейчас... посмотрю... еще как посмотрю... – придушенно шепчет Ревич и снова хмыкает, будто смеется – раз за разом, еще и еще. Ну да, точно, смеется... Что за черт этот Андрей Первозванный, птица-феникс, ванька-встанька! Только что рыдал, тряся от страха, как загнанный зверек, и вот – нате вам – чудесное воскресение. Сейчас он опустит руки, и на лице его непременно обнаружится обычная циничная усмешка. Ну и ладно, пусть себе улыбается, вдвоем всегда веселее.

Ревич опускает руки и поворачивается в сторону Яника. На лице его и в самом деле усмешка, привычная, ревичевская... вот только поворачивается он не совсем к Янику, то есть, к Янику, но не точно, а как слепой, как будто наугад, на голос. И немудрено, Яник... как же ему еще поворачиваться с выколотыми глазами? Что можно увидеть этими пустыми, красными ямами, сочащимися слезами и сукровицей? Из Яникова горла вырывается странный писк; девятый вал рвоты накатывает на него, он отбегает в угол и выворачивается наизнанку.

– Хе-хе-хе... – издевательски смеется Андрей. – Сюрприз! Я вижу... прощанье, я *слышу*, что публика весьма впечатлена. Немногие мои выступления имели такой оглушительный резонанс... хе-хе-хе...

Яник выпрямляется, его шатает, он не может вымолвить ни слова.

– Эй! – зовет его Андрей. – Ты куда исчез? Где же аплодисменты, цветы? Где восторженные рецензии?

– Кто это тебя? Почему?..

– Почему?.. – передразнивает Ревич. – Проклятый вопрос многих поколений кретинов. Почему?.. спроси еще – кто виноват? Экий ты все-таки дурак, право! Ты-то как сюда попал?

– Я ищу Пал. Она оставила мне записку в гостинице.

– А... теперь понятно. Нет повести печальнее на свете... Что ж, Ромео, ты на правильном пути. – Он усмехается. – Может, и встретитесь где-нибудь... на алтаре.

– Что такое, Андрей? На каком алтаре? Тебе что-то о ней известно? Ну, говори же...

Ревич делает неопределенный жест.

– Известно... не известно... Была она тут, в этом уютном подвале. Справляла малую нужду, извини за такую приземленность, в том же самом углу, где ты наблевал. Мне, тогда еще зрячему джентльмену, приходилось отворачиваться. А потом гостеприимные хозяева избавили меня от этого неудобства. От зрячести, я имею в виду, не от джентльменства... хотя и это, судя по всему, не за горами. Избавить-то избавили, но и ее почти сразу отсюда забрали. Только не спрашивай, куда и когда... – не знаю. Да и счет времени я уже давно потерял

– Ладно. – Мысли о Пал возвращают Янику присутствие духа. – Почему б тебе все-таки не рассказать – кто нас тут держит?.. что с тобой произошло?.. чего им от нас надо?

– От вас – не знаю. Хотя можно предположить... жертвенные агнцы – слышал о таких? Бараны то есть... Ну, вам-то не привыкать, а вот как я ухитрился в ваше стадо угодить?.. убей меня, не пойму. Хотя, чего там – сам виноват.

Андрей вздыхает. Он сидит, прислонившись к стене, и грязное слепое лицо его спокойно; лишь время от времени проскальзывает усмешка – как острая ящерица по замызанной стене.

– Я с этими ребятами давно вожусь... нравятся они мне, а хорошим людям – отчего бы не помочь, особенно, если за приличные деньги? Вот я и помогал... в основном всякими железяками – теми, что стреляют и теми, что взрываются. Товар-деньги-товар, как говорил вождь и учитель.

– Подожди, подожди... – останавливает его Яник. – Так ты – йезид?

– Слушай, ты бы лучше молчал, – говорит Андрей презрительно. – Не болтай о том, чего не понимаешь. Йезидом стать нельзя, им можно только родиться. Это избранный народ, просекаешь? Они свой род ведут прямоком от Адама, в отличие от прочих, которые – вроде бы от Адама с Евой, и ни с кем не перемешиваются, женятся только на своих... Так что – я и рад бы, да рылом не вышел.

Яник хмыкает.

– Да, таких тонких различий мне действительно не просечь – от Адама... от Адама с Евой... Ты лучше объясни, чем они тебе так приглянулись? И за что глаза вынули?

– Я ж тебе говорю – сам виноват. Порвалась цепочка: деньги я у них взял, а товар не пришел... Это я тебе попростому объясняю, а на самом деле там цепочка длинная была, не только они замешаны. Короче, влетел я на большие бабки; не только к ним влетел, а еще и к другим, в России. Поставили на счетчик, ну и покатилося... Ээ-э, да что ты в этом понимаешь...

– Другие – это те, что на тебя в Анкаре охотились?

– Именно так. С ними я договориться уже не мог. Одна была надежда – на здешних. Тут какой-то шанс имелся: достать денег, откупиться от бандитов, а потом вернуть постепенно. Вот и побежал я сюда, спастись, к друзьям своим последним. Но, как видишь, и тут обломилось, не простили... Теперь я – в стаде, жертвенный баран, один из многих. Жду своего часа, когда под нож пустят. Ты только не злорадствуй – тебе того же не миновать, и Джульетте твоей тоже. Отсюда живыми не выходят.

– Как-то ты спокойно об этом говоришь... неужели не страшно? И потом – ты их за друзей считаешь; так неужели не обидно, что они тебя режут, вместо того, чтобы помочь? И почему они тебя сразу не убили, а мучают?... глаза вон вынули...»

– Много ты вопросов задаешь, Яник... так сразу и не ответить. Ну, во-первых, конечно, страшно. Да ты и сам видел, какой я вопль зарядил, когда ты меня пинать начал. Но это я со сна, от неожиданности, минутная слабость... простительно. Впрочем, на эту тему мы уже говорили. Ты мне тогда еще смерть близкую предсказал, помнишь? Как знал...

Почему мучают? Да потому что Таус-Мелеку не смерть интересна, а мучения, понял? А не понял, не расстраивайся – потом поймешь, завтра... а может, даже и сегодня... тут мы, бараны, не вольны – тут всё по расписанию.

А насчет того, что обидно... так – нет, не обидно. Ты ведь как думаешь? Ты думаешь, что есть черное и белое, добро и зло, что они всегда различимы, всегда понятно – где и что, так? Так... – типично баранья точка зрения. А у йезидов, понимаешь ли, другое мнение. Нет у них зла и нет добра. То есть, конечно, между хорошим и плохим они различают, но различия эти – сугубо временные. Сегодня, к примеру, убивать – плохо, а завтра может быть – хорошо. Нету никаких заранее определенных правил. Есть шейх, который всем рассказывает, что на нынешний день – зло, а что – добро. Такой вот простой и эффективный подход. И никаких тебе дурацких заповедей.

Не знаю, как кому, а мне – нравится. И к реальности намного ближе. В жизни ведь тоже все неопределенно, случайно – как кость выпадет... так что любым абсолютным истинам – грош цена.

Смотри: они меня наказали – значит, так у них в тот день карта легла. Но могла ведь лечь и по-другому! Могли ведь и помочь... Ну – не повезло, проиграл... что ж теперь делать? Надо платить, а не обижаться. На рулетку не обижаются.

2

Откуда-то сверху слышится лязг металла по металлу; легкий сквознячок протискивается в щель под дверь и, пометавшись по подвалу, убегает. Огонек лампы дергается и снова замирает. Андрей напрягается и застывает, вжавшись в стену. Шаги? Да, шаги... кто-то спускается по лестнице... сюда? Нет. Не останавливаясь – дальше, мимо. Яник переводит дух.

– Что, испугался? – говорит Андрей, улыбаясь. – Жаль, я твоего лица не вижу. Небось, вспотел почище Мишани... Бойся, бойся – есть чего.

Давай-ка я тебе пока – для настроения – расскажу забавную йезидскую историю про добро и зло. Кстати вспомнилась.

Жил когда-то один дедок – великий праведник. И уж такой он был весь из себя правильный, что даровали ему ангелы длинную-длинную жизнь. Тыщу лет прожил, поганец, и не просто тыщу, а с хвостиком. И не просто прожил, но еще и детей стругал, как сумасшедший, только к девятистам восемнадцати годам и успокоился. Половой гигант, одним словом. Теперь представь себе – сколько у него жен сменилось... это ж одуреть можно!.. и детей, и внуков, и пра-пра-пра-и-так-далее-пра-внуков. Все-то они жили свои шестьдесят-семьдесят, а кто и до тридцати не дотягивал... Как тут знать старику – не является ли девка, которую он в настоящий момент жарит, его прямой пра-пра-пра? Трудно, правда?

В общем, то ли по этой, то ли по другой какой причине, но на своих регулярно сменявшихся домашних наш дедок не обращал ровно никакого внимания. Даже имен не знал. Да и зачем ему они, имена эти, когда все равно не сегодня-завтра помрут их обладатели; не успеешь оглянуться – и нету, новых заводи...

Ну вот. Как я уже отметил, у тысячи его годков был хвостик – пятьдесят лет. Хвостик хоть небольшой, по дедулиным-то понятиям, но по обычным меркам существенный – многим на целую жизнь хватает. Ты вот, к примеру, и половины этого не проживешь... А любовные свои упражнения дедок прекратил в возрасте девятисот восемнадцати – не по желанию, заметь, а исключительно по причине старости и беспрецедентного износа инструмента. Стерся на фиг.

Не скажу, что перемена радовала старика; все-таки привык он к этому занятию за без малого тысячу лет и потому скучал безмерно. Так и прошло больше века, в скуке и тоске. Но вот как-то раз накануне тысяча тридцатого дня рождения, его спящий, казалось, непробудным сном орган проснулся! Представь себе, какова была радость праведника! Дедок немедленно подхватил пробежавшую мимо пра-пра-пра... и тут же, на месте, зачал последнего в своей жизни ребенка. Родившийся мальчик стал отрадой его души. Отцовскую любовь-то дед до этого не проявлял... вот вся она и сэкономилась. Тысячам безымянных детей и внуков – хрена лысого, а одному маленькому последышу – как из рога изобилия.

Помимо всего прочего, старик чувствовал приближение смерти, а значит, надо было позаботиться о преемнике, дабы не осиротел народ, в приумножение коего он лично столько вложил и впрыснул. На эту роль он и начал готовить сына. Не жалел ни сил, ни средств; не брезговал ни силой, ни деньгами, ни обманом, чтобы заполучить лучших учителей со всех концов света. Благо шло это все впрок. Мальчик выдался на славу – умный,

красивый, сильный... вылитый я. Скоро не стало на земле равного ему ни в чем. Всех превзошел – и в науках, и в чародействе, и в боевом искусстве...

Дедок на него нарадоваться не мог. Только вот ведь какая странность – чем больше паренек учился, тем с большим нетерпением на батю поглядывал, как будто ждал от него чего-то. А чего?.. Наконец, где-то за год до смерти старика, эта странность прояснилась. Оказалось, молодой человек ждал, когда же праведник передаст ему самую главную, самую глубокую мудрость, без которой всем прочим знаниям – цена копейка. – Что ты имеешь в виду? – озадачился дедок. – Вроде всему я тебя обучил... или забыл чего?.. так ты только скажи, обеспечим в лучшем виде...

– Ну как же, отец, – сказал парень. – Ты еще должен научить меня различать между добром и злом, как же без этого? Но ежели ты полагаешь, что я еще не готов воспринять это знание, то можно и подождать...

Короче, крошка-сын к отцу пришел, и спросила кроха...

– Аа-а... – говорит старик, – что ж ты сразу-то не сказал?.. это-то проще простого. – Набрал он в грудь воздуха для мудрого и ясного ответа... подержал... подержал... да и выдохнул ни с чем. Ты, говорит, вот что, сынок... ты, говорит, погуляй тут пока без этой последней мудрости, потому как время тебе еще не пришло. А как придет, так я тебя сам позову... для передачи, то есть. Не сумлевайся. Сына-то он отослал, а проблема осталась. Что сказать парню?

Тут ведь, понимаешь, какая неувязка вышла – не было у дедка ответа. Нет, не то чтобы он на эту тему никогда не задумывался... – задумывался и весьма; но делал он это преимущественно в молодости, лет эдак до ста пятидесяти. А годам к двумстам, помнится, даже пришел к совершенно однозначным выводам. Вот только что это были за выводы?.. Забыл, старый склеротик, забыл наглухо. Как ни всматривался выцветшими своими буркалами в толщу прожитых лет, так ни черта и не разглядел. Все размыто, все неопределенно, течет и колышется, как морская трава баламутная.

И ведь что самое-то неприятное... выходило, что все эти последние века сам он, великий праведник, жил как черт на душу положит, без малейшего понятия о столь кардинальном вопросе. И не только сам жил, но и другим пример подавал... Нехорошо получалось, что и говорить, некрасиво. В общем, мучился старик, мучился, думал, думал, да так ничего и не вымучил. А парень вокруг него ходит, ждет, смотрит вопросительным взглядом – мол, когда же, батя?.. когда? Вот уже совсем помирает старик, лежит себе – похрипывает на смертном одре, пялится в потолок мутными глазенками, а ответа все нет как нет.

А сынок-то сидит в изголовье, за руку держит, ждет. Потому что, если уж не сейчас, то и вовсе никогда... уходит ведь праведник, уходит, уносит с собою великое знание. Уже и времени

на длинный разговор не осталось... эх!.. да хоть бы одно, самое главное правило узнать... Сжал парень сухую старческую лапку – эй, батя, говори же, ну! Какое оно, это правило?.. назови, не томи! Собрал умирающий последние силы, моргнул сыну наклониться поближе, и прошептал ему в ухо всего три слова: «Н е т н и к а к и х п р а в и л!» С тем и откинулся.

Ну, парень, конечно, сначала прибалдел. Мол, как же так?!.. добро и зло!.. заповеди предков!.. символ веры!.. и прочая дребедень. А потом успокоился: в конце концов, «нет никаких правил» – тоже в некотором смысле правило. Стал он жить дальше, владеть и судить без всяких правил, как на душу ляжет, руководствуясь, как сказали бы позднее, пролетарской совестью и революционным правосознанием. И все бы ничего, да завелась в окрестности большая шелковица с необычным содержанием. Может, она и раньше там была, и просто никто на нее внимания не обращал, а может, и нет – неизвестно. Так или иначе, повадился народ к этой шелковице ходить за советом, кланяться, благодарить, на колени вставать и так далее... короче – молиться стали на глупую деревяшку.

Молодой правитель встревожился – при старом патриархе таких дел не водилось. Взял он топор, пилу и отправился валить конкурента. Только размахнулся, как кто-то его за руку – хват. Оглянулся – стоит мужик.

– Ты, – говорит парень, – кто такой, мужик? И чего ты тут делаешь? И по какому праву меня, пророка и властителя, за руку хватаешь?

А мужик ему отвечает:

– Зовут меня Сатана, может, слышал? А насчет того, чего я тут делаю, так живу я здесь, в этой шелковице. И ты бы лучше, чем дом мой рушить, приходил бы ко мне за советом, как все. Папаня-то твой, бывало, советовался. А ты вот все норовишь сам, сам... так ведь и свихнуться недолго, без квалифицированной помощи. Потому и авторитета людям в твоих решениях не хватает. Сам видишь – напрямик ко мне бегают, без посредников... беда!

Подумал парень, подумал, да и говорит:

– Про тебя мне батя не сказывал. Срублю я твой дом к ядрене фене. Вот.

– Погоди, – говорит Сатана. – Давай бороться. Победишь меня – руби дерево!

Стали они бороться. А у парня, как ты помнишь, были лучшие учителя, так что приемчиков он знал – будьте-нате. Одолел Сатану на первой же минуте. Только за топор схватился, как Сатана его опять останавливает:

– Погоди, парень. Срубить всегда успеешь. Дай мне отсрочку до завтра, а я тебе хорошо заплачу.

И деньги показывает. Большие деньги. За такие можно и подождать. Ладно, живи до завтра, так уж и быть.

А назавтра снова битому Сатане нейдет. Давай, говорит, я ставку удвою – только за то, чтобы с тобою еще раз схватиться.

– Что ж, давай, – соглашается парень. – Деньги мне не мешают, особенно если вдвое. И снова кладет Сатану на обе лопатки. А тот ему – «погоди...» и за кошельком лезет. И все опять снова-здорово, как в первый день.

В общем, валандались они так несколько месяцев. Всем уже надоело. Сначала ходили смотреть, ставки делали... а потом приелось – сколько можно, одно и то же... Парень набил казну до самого верху. Ему бы остановиться, да только – когда же денег слишком много бывает? Вошел во вкус, что называется. Вот и настал день, когда уже не смог он удивить Сатану новым приемчиком – все выучил лукавый! Победил он парня, и тут уже торговаться не стал – сразу голову отрезал и точка. Без лишних разговоров. Ну, тут уже народ сразу рассудил, что к чему. Кто победил – тот и прав. А как же иначе?

Ревич неожиданно всхлипывает, но тут же справляется с собою, и обычная усмешка снова выползает на его залитое слезами лицо... как подпись Сатаны-победителя, как черная йезидская змея, знак всеильного Таус-Мелека. Яник смотрит на него со смешанным чувством жалости и восхищения. Восхищения – его несомненной силой, мужеством, талантом, гордой стойкостью перед ужасом обстоятельств. Жалости – потому что все эти бесценные золотые червонцы растрочены ни на что, пущены по ветру, разменены на пшик, на пук бумажных ассигнаций несуществующего банка.

– Андрей, – говорит он. – Это ведь история о тебе, правда? Поэтому ты мне ее и рассказал, да?.. Ты вот что... ты только не подумай... Человек ты необыкновенный – это тебе всякий скажет, даже самый злобный завистник. Знал бы ты, как Мишаня тебя боготворил... и я тебя тоже очень уважаю.

Я только вот чего понять не могу: если ты так все заранее знал... ну, про того парня... если ты заранее знал, что проиграешь, как он проиграл, то зачем тогда было играть с Сатаной? Зачем? Ведь не из-за денег же?

Андрей горько усмехается.

– Почему ж не из-за денег? Ты просто денег настоящих не видел, не понимаешь, что это. Когда их много, они перестают быть деньгами и становятся чем-то другим: свободой, властью, здоровьем, любовью... да мало ли чем! Все это, вопреки дурацким поговоркам, покупается за деньги, и еще как покупается... Не веришь? Я помню, что ты мне тогда на горе сказал – что, мол, не та это свобода, не настоящая. Что молчишь, продолжай! Скажи, что и власть эта – кажущаяся... и любовь – суррогатная и что спокойствия душевного не купишь... Ну, скажи! Молчишь? Жалостливый ты мужик, Яник, хороший. Только не надо мне твоей жалости.

Допустим, ты прав, хорошо? То есть, ты не прав, но просто допустим, что прав. Ну и что? Что это меняет? Пойми, дурачина, тут не ты выбираешь – играть или не играть; выбирает он, Таус-Мелек. Он банк держит, он карту сдает, он же и выигрывает под конец. А иначе – как же ты здесь оказался, рядом со мною, в его

персональном подвале? Ну ладно – я, Андрей Ревич – душу дьяволу продал, и все такое прочее... но ты?.. Мишаня?.. вас-то за что? – Да за то же самое, Яник. Нет между нами разницы. И правил нет. Помнишь последние слова старого праведника? «Н е т н и к а к и х п р а в и л». И точка. В этом все дело.

Яник молчит. Андрей ждет ответа, и надо бы что-то сказать, возразить... но что? А вдруг и впрямь нет никаких правил, лишь безнадежный сатанинский беспредел, лишь слепые случайные взмахи меча, косящего правых и виноватых, без смысла и без разбора? Нет ведь, правда? Должна же тут быть ошибка, где-то прямо в основе, в главной, первичной посылке... какая-то звенящая пустотой ложь, затаившаяся в самом фундаменте этой безупречной ревичевской логики? Но где? Он ощущает слабость, томительное и мертвенное бессилие; мысли едва шевелятся в его голове, как вялые земляные черви.

Наверное, это продолжает действовать та гадость, которую ему впрыснули... А может, и нет. Может, гадость уже ни при чем, и дело намного хуже. Может, прав Ревич на сто процентов, и нет никакой ошибки, и все они – просто червяки – и он, и Андрей, и Мишаня, и даже Пал – вялые земляные червяки, бесцельно шевелящиеся в неглубоких своих ямках, пока безобразные голые павлиньи ноги не вывернут их наружу, пока не склюет их вездесущий клюв Таус-Мелека... Кто он, как не червяк, в этом сыром подземелье – беспомощный и жалкий, крохотный комочек потной от страха плоти? Хорошо, что Андрей не видит сейчас его лица... Яник тщательно откашливается. Яник говорит, стараясь звучать уверенно и ужасаясь своей очевидной фальшивости: «Я не верю, что нет ника...», и... голос его срывается в середине слова.

– И это все?.. – Андрей сидит, замерев, обратив к Янику пустые ямы глазниц. На лице его нету обычной усмешки, есть лишь жадное ожидание, похожее на ожидание спасения, на последнюю отчаянную надежду. – Это все, что ты можешь ответить?

Он какое-то время молчит, безнадежно качая головой. Затем усмешка возвращается на свое привычное место.

– Да, плохо дело. И почему я всегда оказываюсь прав, даже когда это совсем некстати?.. Знаешь, там, в горах, мне показалось, что в тебе есть что-то эдакое... как бы это сказать... сила какая-то, что ли?.. В общем, чего только с устатку не привидится... Ладно, забудь.

Андрей зябко передергивает плечами, берет в обе ладони свою изуродованную голову и ложится, по-собачьи покрутившись, чтобы поудобнее устроиться на жестком сыром полу. Яник закрывает глаза. Ему хочется выть от бессилия и одиночества.

3

Дверь распаивается неожиданно и бесшумно. Подземелье наполняется людьми с шерстяными крысиными спинами. Они молчат, они движутся уверенно и быстро, масляные лампы рас-

качиваются в их руках, и огромные тени от черных тюрбанов мечутся по съезжившемуся подвалу. Яник приподнимается и вжимается в стену. Но пришли не за ним. Дикий вопль Андрея врезается в его уши. Крысы схватили Ревича, оторвали от пола; он отчаянно сопротивляется, он извивается как червяк, он кричит во всю мочь, царапается, кусается, плюется; смертельный ужас утраивает его силы, кровь сочится из пустых глазниц... Но тщетно – крыс много, и они твердо знают свое ремесло. Они что-то делают с Ревичем – что-то очень убедительное и точное, без сильных ударов и широких замахов... просто он вдруг обмякает в их шерстяных неумолимых лапах, как тряпка, и один из них просто перекидывает его через плечо, как тряпку, и они просто несут эту тряпку к выходу, все так же молча, спокойно и деловито.

– Нет! – кричит Яник и прыгает на ближайшую спину. – Не-е-ет! Стойте!

Черный тюрбан даже не оборачивается. Он стряхивает с себя Яника одним неуповимым движением, без усилия, но так, что Яник отлетает на несколько метров, в угол, в лужу собственной блевотины. В отчаянии он глядит, как шерстяные спины втягиваются в дверной проем, унося свою добычу.

– Стойте! – кричит он снова. – Я – Иона! Юнус! Наби Юнус!

Последняя спина вздрагивает, как от удара. Они останавливаются! Они в явном замешательстве! Негромкий панический ропот волной пробегает по доселе безмолвной стае; крысы топчутся по обеим сторонам двери, наталкиваясь друг на друга, разом утратив свою невозмутимую уверенную повадку... Поколебавшись, стая выталкивает из себя одного, с бесчувственным Андреем на плече. Опустив голову, на полусогнутых, он крадется внутрь, осторожно кладет Ревича туда, где он лежал прежде, и поспешно, по-рачы, пятится назад. Страх сквозит в каждом его движении.

– Суки! Падлы! – Яник вопит во все горло, закрепляя победу. – Пошли вон отсюда! Вон!!

Он вскакивает и делает шаг-другой в их сторону. Это оказывается чрезмерным даже для самых храбрых. Стая опрометью бросается наутек, с обвальным грохотом топоча по коридору, оставив дверь нараспашку. Победа! Яник вскидывает вверх руки, как после забитого гола. Он чувствует необыкновенный прилив сил. Конечно! Ведь он же – Иона! Он – могучий пророк, он наби Юнус! Он – чемпион мира по боксу в тяжелом весе! Оп!.. оп!.. Яник делает несколько боксерских па по опустевшему подвалу: прямой слева, крюк справа... и оп! – апперкотиком!.. оп!.. оп! – и с копыт! Брысь, крысиная сволочь! На кого усы топорщите, падлы полушерстяные?! Вот я вас!.. оп! Он останавливается, вспомнив про Андрея.

– Эй, Андрюша, как ты там, братишка? Ничего, не бойсь, выберемся... Теперь-то я знаю, чем их пронять, мракобесов. Бей врага его же оружием! Ничего...

Он пробует привести Ревича в чувство... бесполезно – тот в глубоком обмороке. Надо же! Умеют, гады... как это они так ловко

отключают? Не вредно бы научиться... Ну ничего, вот Андрей придет в себя, и сразу двинем наверх, на свет Божий. Благо, дверь открыта. Хотя, с другой стороны, она ведь наверняка не последняя. Ну и что? Последняя... не последняя... пусть только попробуют на наби Юнуса хвост задирать! Прорвемся...

Яник присаживается на пол рядом с Андреем. Подождем. Жаль, воды нету... может, сходить, поискать? Он уже приподнимается идти, как неожиданный шум переключает его внимание. Наверху хлопает дверь, слышны торопливые шаги многих ног... возвращаются?... с чем только, интересно... Яник принимает максимально грозный вид. Эдакий господин ротный старшина, гроза салаг и молодых офицеров... вот ведь не думал, что этот опыт так пригодится в жизни...

Коридор ярко освещается десятками ламп. Черные тюрбаны робко заглядывают в дверь, но заходить не рискуют. Впрочем, что-то изменилось в их поведении – они еще боятся, но уже без прежней паники; теперь они явно знают, что делать. Небось, начальника привели... Набывчившись, Яник смотрит поверх двери, надменно игнорируя суету шерстяных спин там, внизу. Ну, подавайте сюда вашего босса... посмотрим, чем он дышит, клопина поганый. Движение возле двери замирает, в образовавшейся мертвой тишине слышны лишь чьи-то неспешные шаги. Они падают с раздражающей равномерностью метронома, как будто старый кухонный кран отмеривает каплю за каплей в спящей ночной квартире. Давай, давай, подходи, волчара, сейчас я тебе накапаю...

Он входит в дверь, высокий человек в белом тюрбане, с борою до самых глаз, одетый в длинную хламиду из белой шерсти. Ага. Все в дерьме, и тут выхожу я – в белом фраке... ну-ну... Бородач проходит на середину комнаты и останавливается, глядя прямо на Яника. В глазах у него нету страха, только изучающее, отстраненное внимание. В коридоре зарождается быстрое шуршение – шерстяные спины вносят в подвал несколько ламп и два низких табурета. Человек садится и знаком приглашает Яника сесть напротив. Ну уж нет, дядя. Яник не двигается. Он продолжает играть свою дембельскую сонату, сидя в небрежно-ленивой позе и уставившись стеклянным взглядом в полоску лба под белым тюрбаном.

Только ведь не салага это перед тобою, Яник. И чем дольше он глядит на тебя, тем яснее становится, что прежние понты здесь не сработают, ох, никак не сработают... Яник переводит взгляд в темные внимательные глаза и вопросительно дергает бровью – мол, какого хрена? Долго в гляделки играть будем? Говори, зачем пришел... Шейх кивает, не меняя выражения лица.

– Так ты – Иона? – спрашивает он по-английски. – Ты один?

– С ним. – Яник кивает на Андрея.

– Он – не Иона, – спокойно констатирует шейх. – Есть кто-нибудь еще?

Яник демонстративно оглядывается, будто ища кого-то.

– Глупый вопрос. Ты видишь тут кого-нибудь еще, кроме нас и твоих людей?

По бородатому лицу пробегает легкая тень. Гнева? Обиды? Разочарования?

– В таком случае ты – не тот, – говорит шейх и встает. – Мы действительно ожидаем гостя. Но в пророчестве сказано: «Пара голубей прилетит с запада во время большой войны...», а ты – один. Не каждый обладатель имени «Иона» – посланник Таус-Мелека. Ты, к примеру, просто мошенник, как и твой приятель. Вы оба умрете.

Он поворачивается и идет к выходу. Все? Яник отчетливо осознает, что если сейчас же, немедленно, в следующие три секунды, он не придумает чего-то экстраординарного, то все на этом и закончится, что и его, и Андрея снова будет ждать неминуемая мучительная смерть, уже, казалось, выпустившая их из своих цепких павлиньих когтей... и не только их, но, вероятно, и Пал... Пал... подожди... Пал! Вот оно! Он еле сдерживается, чтобы не закричать. Осторожнее, не торопись, не спугни его, ради Бога, спокойнее...

– Эй! – говорит он негромко и повелительно. – Вернись, раб!

Шейх останавливается у самых дверей. Он даже не оборачивается, просто стоит спиной и ждет. Яник переводит дух. Он старается цедить слова, медленно и презрительно.

– За день до меня к вам пришла моя женщина. Ее зовут – Паломма. На языке пророков это значит «Иона», голубка. Мы оба прилетели к вам с запада. Чего еще тебе надо, глупец?

Долгое молчание повисает в подземелье. Сработало?.. Нет?.. Яник закрывает глаза. На него вдруг наваливается страшная усталость, смешанная с безразличием... нет – так нет, будь что будет... Тишина все длится и длится; он чувствует какое-то шевеление сбоку... наверное, Андрей... пришел в себя, бедолага? Пора бы посмотреть, что там происходит, хотя не больно-то хочется. Он разлепляет веки.

Бородач в белой хламиде стоит перед ним на коленях, и глаза его сияют. Он смотрит на Яника с каким-то торжественным восторгом, как ребенок – на необыкновенный новогодний подарок. Его вытянутые вперед руки мелко подрагивают в сантиметрах от замызанной яниковой ладони, будто он ужасно хочет, но не решается дотронуться до столь неимоверно святого объекта. Натолкнувшись наконец на ответный взгляд Яника, шейх вдруг начинает говорить – быстро, горячо и совершенно непонятно. Он помогает себе судорожными жестами, трясет головой и кланяется. Он молит и молится, обещает и благодарит...

Яник устало вздыхает – поймешь их, папуасов... то жрут поедом, то в идолы записывают... Однако надо плыть вперед, пока ветер не поменялся. Он повелительно поднимает руку.

– Хватит. Я хочу видеть мою женщину, Палому. Сейчас.

Шейх часто-часто кивает. «Конечно, конечно... а как же иначе... прямо сейчас и отправимся... правда, госпожа не здесь, она

в Синджаре. Пусть уж господин простит нас, неразумных – не ведали, с кем имели... Но она – в полном порядке, так что беспокоиться не о чем, ее планировали только на завтра... сейчас и поедem... да!.. кстати!» Шейх о чем-то спохватывается, делает знак, черный тюрбан с красной полосой подскакивает к нему, предупредительно сгорбившись, и, получив короткое указание, немедленно убегает быстрой крысиной опрометью. «Вот прямо сейчас и позвонят туда, в Синджар, пусть встречают, готовятся... Господи! Счастье-то какое!..» Он снова впадает в режим восторженного бормотания.

Так. Теперь пора позаботиться об Андрее. Он уже совсем пришел в себя... вот – сидит рядом, обхватив голову руками и крупно дрожа. Яник трогает его за плечо: «Ну что, Андрюша...»

– Ай! – Ревич резко отшатывается. – Нет! Я не хочу! Не трогайте меня!..

– Ты что, Андрей, – говорит Яник как можно спокойнее. – Это ведь я, Яник. Ты меня опять не узнал... это я... сейчас мы отсюда выберемcя, не бойся...»

Ревич в ужасе мотает слепым кровоточающим лицом.

– Ты... – шепчет он. – Ты с ними заодно... теперь я все понял. Я все слышал... ты – один из них... Нет, ты еще страшнее; тебя они ждали, на тебя они молятся... это ты привел меня сюда, заманил... и Мишаню тоже... а врал-то как гладко, притворялся – даже я, стрелянный воробей, и то поверил... хитрый, гад! Гад, подонок, убийца! Убийца – вот ты кто... Кровь моя на тебе, убийца!

Все, думает Яник. Трюхнулся мужик. И, главное, как не вовремя-то! Что с ним, с таким, теперь делать? Яник беспомощно оглядывается. Вокруг только черные шерстяные спины, склоненные в почтительном поклоне, да бессвязно бормочущий шейх.

– Погоди, Андрюша, – пробует он еще раз. – Мы выберемcя, я тебе помогу...

– Ты – поможешь?! – Свистящий ревичев шепот переходит в крик. – Ты – поможешь?! Ты – сатана! Будь проклят, чертово отродье! Таус-Мелек!

Андрей как-то по-кошачьи подбирается и вдруг, прыгнув на Яника, вцепляется в его горло торопливыми, неожиданно сильными руками. Нападение застает Яника врасплох, он неловко барахтается, задыхаясь, не в силах оказать сопротивления; красно-желтые круги плывут перед глазами.

– Оставь... – хрипит он. – Оставь... дурак... И Ревич ослабляет хватку – внезапно и сразу, как будто вняв предостерегающему яникову хрипу. Его воздетое над Яником, искаженное болью и смертельной ненавистью лицо меняется, успокаиваясь, принимая какое-то удивленное, даже умиротворенное выражение. «Ну слава Богу, сообразил... чуть ведь не задушил, псих ненормальный», – думает Яник.

Андрей слегка улыбается ему своей привычной усмешкой... нет, усмешка другая... да и не усмешка это вовсе, а улыбка –

Это Пал, ее рука... чья же еще? Кто же еще на такое способен? Кто еще может совладать с целым миром, если не Пал, сильная Пал, любимая моя девочка, голубка, прилетевшая с запада? Вот так... держи меня, не отпускай, не дай мне снова уйти, упасть, оторваться, провалиться в эту вихрящуюся бездну... держи, не отнимай руки, не отнимай...

И она держит, не отнимает... вот и чудно, вот и слава Богу... мне еще надо кое-что сделать, надо объяснить, что-то важное... где же он? А! Вот он. Андрюша, братишка, как хорошо, что ты здесь. Давай поговорим, ладно? Ты так не по делу вчера выступил, так не по делу... Неужели ты всерьез думаешь, что я с ними, что я сатана, Таус-Мелек? Это ж надо такую глупость вообразить... Да ты посмотри на меня, Андрюша – это ж я, Яник. Я вижу, тебе глаза вставили, так что ты можешь... вот и посмотри.

– Вставили, вставили, не беспокойся... – говорит Андрей, улыбаясь насмешливой своею улыбкой. – Тут чего хочешь вставляють. И куда хочешь – на все вкусы и сексуальные ориентации. Мне вот глаза вставили. А можно и вынуть. Оп-па!

Он жестом фокусника вытаскивает глаз и держит его в руке. Глаз вращает зрачком и подмигивает.

– Понял? Дистанционное управление. Я тебе таких тыщу сделаю. Посмотри...

Яник смотрит. Вокруг, как пчелы, порхают сотни, тысячи андреевых глаз. Их множество, они заполняют все пространство. Нет, это даже не пчелы – это осы; вот они собираются в огромный черный осиный рой, огромный, черный, бесконечный; рой крутится вокруг Яника, все быстрее и быстрее, искажая мир, превращая его в тот, недавний, ужасный, вращающийся колодец. Что такое?... Рука! Где рука?! Верните руку!!

– Вот тебе рука, чего раскричался, – Андрей склоняется над ним, как тогда, в подвале, только на этот раз не душит. – Экий ты нервный стал, право. Ты, вроде, объяснить что-то хотел? Ну так говори, нет у меня лишнего времени с тобой тут валандаться. Только, давай, я сразу скажу – извинений не принимаю. Потому как есть ты бесово отродье, воплощение темных сил, которые нас злобно гнетут, вихрь враждебный, реющий над нами, как в той песне...

– Это почему же, Андрюша?

– А то самому непонятно, сатанинский ты прихвостень? Ты ведь каким ягненком прикидывался! Как вспомню, так зубы ломит, честное слово... Какую ты мне мораль читал! Мол, не по чести живешь, господин Ревич, не по совести, истинных ценностей не понимаешь, втаптываешь в грязь драгоценную искру Божию... Даже по морде мне как-то заехал, помнишь? – Мол, использую я вас с Мишаней в личных, корыстных интересах... Футы ну-ты... Только кто кого под конец использовал? Ты нас всех и использовал, и меня, и Мишаню, использовал, да и выбросил, как засранную бумажку. Всех поубивал, никого не пожалел...

А я ведь тебе почти уже поверил, был такой момент. Даже подумал – а вдруг прав он, этот добрый мальчик, а вдруг и мне еще не поздно?... Оставайся я в полной безнадюге, так и умирать было бы проще. Но ты мне и этого не позволил – а и правда, зачем?... нехай человек помучается – и тебе приятно, и Таус-Мелеку угодно. Сначала дурацкой надеждой заморочил, а потом предательством оглушил. Ты меня не просто убил, а в спину, с вывертом, по садистски, в лучших ваших традициях. Так что можешь радоваться... наби Юнус, будь ты проклят!

Кружатся над Яником запрокинутые андреевы лица, сливаются в мелькающий круг, в колодезные стенки... Вспыхивают и гаснут светляки далеких масляных ламп, тянется по бесконечной спирали огнеглазый павлиний шлейф, кривляются похабные козьи морды, жирным копотным блеском переливается змеиная чешуя... тошно мне, тошно... Нет! Где рука?!.. Руку!! Вот она – рука... и Пал склоняется над ним, укрывает от козьих морд занавеской пахнущих счастьем волос. Пал, это ты? А где же Андрей? Вот он, Андрей, вот он... не уходи, ладно?

Дай объяснить... все это очень просто, понимаешь, просто и правильно. Если бы мы не накручивали на простые вещи бесконечные мотки всяких павлиньих хвостов, то это всем стало бы ясно. Я и сам-то понял, в чем дело, только недавно, когда падал в этот тошнотворный колодец... как-то пришло ко мне разом, вся картина, ни прибавить, ни убавить. Так вот, мир – это ведь один большой кусок... я вижу, ты улыбаешься, ты говоришь: «кусок дерьма»... ты циник, Андрей, ну и ладно, пусть, мне не важно – чего именно... важно, что это одно тело, понимаешь? Мир – един. А значит, он не может быть плохим и хорошим одновременно – это ведь глупость, правда?

Это все равно, что сказать – в этом теле левая рука хорошая, а палец на правой ноге – плохой... ерунда получается. Все тело – либо хорошее, либо плохое, вот ведь какая штука. Главное – понять эту простую вещь, а дальше уже само собой пойдет. В мире нету зла, вот в чем дело. Есть только добро, и точка. А все эти черти с павлинами – не более чем наши собственные домыслы, понимаешь? И сатаны никакого нету... Ты говоришь – а как же страдания? Как же смерть, и садизм, и войны, и кровавые кишки фатиховы, и твои пустые глазницы, и кинжал в спине, и Мишаня застреленный? Что – этого всего нету?

Есть, конечно, есть, я и не спорю... но сатана тут ни при чем. Просто с миром надо работать по правилам, вот и все. Смотри – вот купил ты чайник, поставил на огонь – воду кипятить. Это – по правилам. Но попробуй сделать что-нибудь не так, как надо – ну, например, взять горячий чайник не за ручку, а двумя ладонями за бока... Больно? Почему? Да потому, что правила надо соблюдать, инструкцию. С чайником-то это всем понятно, а вот с такой сложной штукой, как мир, – не всем. Вот и твой старый праведник залепил: нет, мол, никаких правил! Что же

после этого удивляться, что больно? Может ли быть иначе – если без правил?... Ну? Разве не так?

– Дурак ты, Яник, – смеется Андрей. – Как есть – дурак... За-ладил, будто дорожный полицейский – «правила, правила...» Правил-то хватает... на каждой стенке прибиты, в рамках. Вот только которые из них соблюдать? Или все сразу? И кто их пи-шет, эти правила? Дебилы всякие, еще глупее тебя... Экую чушь ты несешь!

Нет, не чушь, не чушь! Правила-то и есть добро. А зло – это когда без правил... как ты не понимаешь?

– Да все я понимаю... на-ка, выпей лучше лекарства... ну, да-вай, приподнимайся... вот так, вот молодец... а то размахался тут руками... пей, Яник, пей, милый...

Это Пал, а вовсе никакой не Андрей... Где же тогда Андрей? Яник пытается оглянуться, но не может... и спать вдруг так хо-чется... Он закрывает глаза и проваливается в сон.

5

Что за грохот такой? Грузовики, наверное. Разъездились, спать не дают... Где ж это они разъездились, Яник? Известно где – на улице, за окном... Что ты говоришь?... на улице, значит... А на улице какого города, позволь тебя спросить?... какой стра-ны?... И в каком доме оно – это самое окно, на ту самую улицу выходящее? И как ты сюда попал, в эту кровать? И какое нынче число, месяц, год?... Яник открывает глаза. А не пошли бы вы подальше с дурацкими вашими распросами? Вот сейчас вста-нем и все разузнаем... нам это раз плюнуть... вот только...

Он, кряхтя, спускает ноги на пол и пробует встать. Победа! Ну вот, а вы боялись... пусть – покачиваясь, пусть – рукой за спинку кровати, но все же – вертикально! А теперь – шагок... ну-ка... маленький шаг для человечества, большой шаг для... или как там? Слабость, конечно, присутствует – и нешуточная, но, ежели по стеночке, то мы еще хоть куда – хоть к окну, хоть к тумбочке... ага... Но лучше все-таки – к окну. Яник облакачива-ется на подоконник.

Перед ним город, большой город. Не Дахук – это точно... Многоэтажки всякие – безликий интернационал стекла и бето-на. Купола храмов неизвестной принадлежности... хотя отчего же неизвестной?... у большинства – очень даже известной – вон они, фаллосы минаретов, не дают ошибиться. А вон и старый квартал – темно-коричневые соты с плоскими крышами... и ни деревца... веселенькое место. Но главное – река. Яник узнает ее сразу, старую знакомицу, будь она проклята, ассирийскую поилицу-кормилицу, реку-людоедку, тварь враждебную. В Ди-ярбакыре она была поскромнее; тут же раздухарилась, разле-глась, как истомившаяся купчиха, широким хамским разливом... ее места, ее кормушка, есть тут кому за нее заступиться... Что ж за город-то? Неужели – Мосул? А как же война?

Перехватив руку на оконной раме, Яник поворачивается и замирает. В дверях стоит Пал. На ней какой-то дурацкий длиннополый халат, под глазами – темные полукружия, волосы спутаны... но при этом она так неимоверно, фантастически красива, что Янику хочется плакать. Потому что такое бывает только во сне. Вот Андрей ему снился и Мишаня; а ведь они мертвы, нету их и не будет. А теперь вот Пал... неужели и она?..

– Пал, – говорит Яник. – Если это не ты, а очередной мой сон, то я не знаю, что я с собой сделаю...

Пал качает головой. Пал грозит ему кулаком.

– Только попробуй, – говорит Пал. – Только попробуй заикнуться о сне... двое суток продрых, как гриппозный медведь... мало тебе, извергу? Еще и руку на лбу твоём премудром держать – думаешь легко?

Она всхлипывает и для пущей наглядности демонстрирует ему свое распухшее запястье.

– Знаешь, как затекала? И ведь не снять – ты, чуть что, – рычишь, как ненормальный: «Руку! Где рука?! Верните руку!..» Так что ты уж лучше не спи, ладно? Вот встал и стой, хорошо? И не пугай меня больше... я же думала... я думала... я так боялась...

И она начинает плакать, размазывая по щекам слезы.

– Пал, счастье мое, – клянется Яник. – Я обещаю тебе, что отныне никогда не буду спать, не сомкну глаз до конца жизни. Вот чтоб мне пропасть!.. Но руку ты все-таки верни, а?

– Ага, – кивает она, улыбаясь сквозь слезы. – Вот и верь после этого твоим обещаниям... не зря Кэрри предупреждала...

Тщательно сбалансировавшись, Яник отрывается от окна и идет к ней на неверных ногах. Но Пал быстрее; он еще и шага не сделал, а она уже здесь – вплотную, в объёме, в обниме, в ливне мокрых поцелуев, слез, улыбок, шепота и восклицаний.

– Уедем... – шепчет Пал. – Давай уедем поскорее. Ты уже почти здоров, ты уже можешь.

– Куда?

– Все равно куда. Главное, уедем отсюда. Это очень плохое место... очень...

Они садятся на кровать, и Пал начинает рассказывать, всхлипывая и торопясь.

Она и думать не могла, что все получится так нехорошо... знаешь, когда обо всем этом читаешь где-нибудь в Торонто, в библиотеке, или в Интернете, то это как бы понарошку, как в кино про Индиану Джонса или еще что-нибудь в этом роде – дурацкие репортажи, рассуждения разных ученых ослов, записки всяких идиотских путешественников, мадам Блаватская и прочая мура... ну, в общем, неважно... А тут все иначе, тут настоящему, тут не играют, а живут, понимаешь, тут дышат этим адом... просто страшно.

Вот за окном, он потом увидит, там, за рекой – это ведь Ниневия, столица Синаххериба – был такой людоед, ты, может, слышал?.. а я про него экзамен сдавала в университете, пред-

ставляешь? Какая же я была дура – даже смешно. Я-то думала – это все история, что-то ужасно далекое, как с другой планеты, камни пыльные, раскопки, клинопись... короче – не про нас. А это про нас, понимаешь? Вроде и язык уже не тот, и имена поменялись, и город называется по-другому – Мосул, но это обман, иллюзия. Это – та же Ниневия, змеиное гнездо, проклятое место. И, главное, люди те же... они почти не изменились; в это трудно поверить, но факт, факт... просто ужас.

Пал замолкает. Прижав голову к яниковой груди, крепко вцепившись в него, она смотрит остановившимся взглядом на что-то, одной ей видимое, страшное, невыносимое... Яник гладит ее по волосам, осторожно встряхивает:

– Пал, солнышко, все хорошо, все уже кончилось...

Она судорожно кивает, зарываясь в него носом, спасаясь его запахом от кошмара, ползущего на нее из исковерканной памяти.

Да, да, теперь уже все хорошо... теперь, когда он, наконец, ее нашел и перестал при этом умирать... теперь-то да... особенно, когда они уже уедут отсюда куда-нибудь подальше...

А в тот день она просто пошла туда, в Лалеш – думала – на сельский фольклорный праздник... вот же идиотка!.. а впрочем, все мы такие идиоты – кто ж мог знать? Письмо вот тебе оставила и пошла... нашел?.. ну и хорошо... Пришла, вся такая восторженная, бестолковая, как овца. Мне бы сразу понять – когда они принялись там своих кур да барашков резать – мне бы, дурочке, сразу сообразить, что я для них – именно овца и есть... не женщина, не человек, не – смех сказать – аспирант авторитетного университета... а овца, жертвенная скотинка, бе-е-е... бе-е-е... Сволочи... Но нет, как видишь, не поняла... а овцы разве понимают? Я уж не знаю, чем они меня напичкали... потом подчитала – целые сутки в обмороке, представляешь? А как пришла в себя... лучше бы не приходила...

Она вдруг захлебывается, задыхается, заходится в истерическом припадке, выдавливая из себя бессвязные обрывки слов, царапая яниковы плечи судорожно дергающимися руками. Яник крепко прижимает ее к себе.

– Не надо, Пал, не надо... потом расскажешь, не сейчас...

– Нет! – кричит она, глотая рыдания. – Нет! Сейчас! Дай мне...

– Хорошо. Сейчас.

Пытаясь справиться с собой, Пал делает глубокий вдох, но он обрывается на полпути, срываясь в истерику, подобно сизифову камню. Она мужественно пробует снова и снова, пока, наконец, ей не удастся затащить этот камень на вершину. Отстранившись от Яника и собрав все свои силы, она в несколько приемов заканчивает вдох. Ну вот. Теперь еще раз – уже спокойнее, уже не так прерывисто... Пал сжимает руки в кулаки и продолжает, уставившись в одну точку.

Там был подвал, какое-то жуткое подземелье, и другие люди, среди них – Андрей. Она сглатывает образовавшийся в

горле комок, хочет что-то сказать и не может... только руки мечутся в безнадежной попытке описать виденный глазами ужас.

– Я знаю, – говорит Яник. – Знаю, не продолжай. Я там был. Я видел Андрея, уже слепого. Что было с тобой потом?

Потом ее снова чем-то накачали, уже не так сильно и перевезли в другое место, недалеко отсюда, к женщинам. А потом произошло чудо. Они вдруг стали ее бояться, представляешь? Стояли на коленях, что-то бормотали – про каких-то голубей, про наби Юнуса, еще черт знает что... Привезли сюда, в Мосул, в этот дом, дали умыться, дали одежду и еду... и все – с поклонами, да с приседаниями... гады... И в тот же день, к вечеру – ты...

Она снова поворачивается к Янику, нежно гладит его по щеке.

– Конечно, – говорит Яник. – Неужели ты думала, что я тебя не спасу?

Пал устало улыбается.

– Еще неизвестно, кто кого спас. Знал бы ты, в каком состоянии они тебя привезли. Как бревно... страшно вспомнить; весь в жару, температура – под сорок. Привели врача; прописал чай и аспирин, от вируса. Врачи-то везде одинаковы... Ну вот... Два дня ты так и витал, в неведомых даях. Ругался страшно. Оказывается, ты ужасный матерщинник, Ионыч. Я и слов-то таких не знала... От паука какого-то отбивался, с Андреем беседовал на философские темы. И все время требовал, чтобы я у тебя на лбу руку держала. Двое суток! Ну не мучитель ли ты после этого?

– Ничего-то ты не поняла, женщина. Не в руке дело. Вернее, не только в руке. Я просил у тебя руку и сердце, а ты все не давала ответа. Кто же после этого мучитель?

– Не понимаю, – смеется Пал. – Это ты что – мне предложение делаешь?

– Ага. – Яник сползает с кровати и становится на колени. – Выходи за меня замуж. Потому что лучшего Облома мне все равно не найти.

– Во-первых, руку и сердце не просят, а предлагают, невежда ты эдакий. Во-вторых, я согласна. Потому что ты – самый сонливый Ионыч из всех, описанных в мировой литературе.

– Ну, вот и хорошо, – говорит Яник. – Давай тогда поспим чуток, ладно? А то я что-то притомился от этих треволнений...

Не раздеваясь, они ложатся в постель, накрываются с головой и мгновенно засыпают, дыша друг другом, автономные и самодостаточные, как корабль в далеком походе.

В городе – грабежи и убийства. Иракские дивизии разбежались, власти нету, по улицам гуляет анархия. Жители Ниневии мародерствуют и сводят друг с другом старые счета. Счета длинные и их много, так что скучать никому не приходится.

– Яник, здесь опасно, – говорит Пал. – Вернемся в дом... ну, пожалуйста.

Яник кивает – сейчас вернемся, подожди минутку... Он и сам не знает, куда и зачем идет – просто увидел из окна эту хибару и пошел. Хибара как хибара, от прочих почти неотличимая. Только вот «почти» это особенное, из сна оно, это «почти», из давних Яниковых кошмаров. Как такое объяснишь?..

– Подожди, Пал, вон до того угла дойдем и вернемся...

Не будь этих снов, девочка, не будь этой хибары – ни за что бы нам с тобой не встретиться... так что важна она до невозможности, ты уж поверь мне на слово. А что там внутри – это мы сейчас выясним, непременно выясним... Они доходят до угла и сворачивают в переулочек. Переулочек пуст и грязен. Щербатые стены, сложенные из древних кирпичей. Откуда напомним? – не из синаххерибова ли дворца?.. – Куда ты, Яник? – А вот – туда, к этой двери... я ее помню, она тоже – из сна. – Что-то больно много у тебя «из сна»... ты уж не спишь ли, часом? – А может, и сплю, черт его знает... может, лежим мы с Пал, обнявшись, и спим себе спокойнонько, в точности как заснули, и все это мне снится... может быть... какая разница?

Ты зубы-то себе не заговаривай, Яник, ты дверь открывай, чего стоишь? – А зачем ее открывать – сама откроется, я точно знаю. – Ага, а что еще ты знаешь? Ну, говори, чего боишься? Нет, не боюсь, на этот раз не боюсь, знаю и не боюсь... – Ну и правильно не боишься, ты ведь за этим сюда шел, не так ли? – Так, за этим.

Дверь открывается, и вот она, старуха, ждет на пороге. Стоит, подслеповато моргая выцветшими глазами. Белая тряпка на голове, фиолетовая юбка с разводами, малиновая шерстяная кофтенка, да еще и синяя безрукавка поверх. Привет, бабуся! Долго же я до тебя добирался... ну-ка, давай его сюда, свой сверток. Теперь он мой, я так понимаю? Бабка мелко-мелко кивает, а может, это голова у нее так трясется, от старости.

Смотри, Пал, это наш мальчик. Его тоже зовут Иона – видишь эти желтые буквы на байковом одеяле? Я тоже раньше думал, что это просто узоры... Мы возьмем его с собою, Пал, увезем его домой, в страну, где живут пророки. – Ты уверен, что это не сон, Яник? – А какая разница?.. Даже если это сон, что нам мешает родить своего Иону, Пал? Ты родишь мне прекрасного сына, такого же, как этот маленький наби Юнус. Он вырастет и попробует изменить кое-что в этом мире. Знаешь, что? – Он будет пророком. Он придет сюда, в это самое страшное место на земле, чтобы еще раз напомнить слепым и глупым, что надо жить по правилам. Всего-навсего жить по правилам – и все. Так немножко... И может быть, люди его послушаются – ведь это так просто. Так просто.

Хава Броха Корзакова

ПЕСНИ МИРЫ

ПОДРАЖАНИЕ. Л.

Это мой учитель, с ним никогда на «ты»,
Даже съев пуд соли, — мы, в Питере, церемонны.
В тринадцать лет — мужчина моей мечты,
Да и потом, пока не взыграли гормоны.

Это мой создатель, до него не достать рукой,
И знать не стоит того, чего он не знает.
Хорошо, что время необратимо, в другой
Реальности — без него — меня не бывает.

Пусть с этим временем впечатления в голове
Все тоньше и реже, как следы перманента,
Кое-кто кое-что еще помнит, и верь молве —
Теми, кто его любит, наполнены два континента.

И вдруг — смещение акцентов и пропасть, не ржи,
После трех ночей смешенья, почти инцеста,
И словно не было ни черты, ни межи,
Ни войны, ни близости смерти, лишь время — и место.

11.04.2002

НА ДОРОГУ

Запредельная тьма за окном. Мы с Вами почти ушли.
Похоже, славнее вдвое две покинуть земли.
Черт с ними, с русской мглой, да и с арабской войной,
Если я знаменита Вами, а Вы знамениты мной.

Когда мы снова увидимся, боюсь, что опять начну
Целовать Вашу правую руку и ту проклинать страну.
Да вот когда мы увидимся? И где? И какой предлог
Найдется у тетки Лолиты, чтобы Ваш преступить порог?

20.04.2002

* * *

*Errat qui finem vesani quaerit amoris;
Verus amor nullum novit habere modum.*

*Мнящий конца безумной любви дожидаться – ошибся,
Суть настоящей любви – меры вовсе не знать.*

Проперций

1

Как я любила Вас! И как я Вас люблю!
Связать ли жизни обе половины?
Сказать ли Вам, что не было мужчины,
Который бы... Но нет, не оскорблю

Заведомой неправдой. Не терплю
Кокетства. Верно, не были невинны
Ни годы, ни стихи мои. Причины
Стыдиться я не вижу – и скорблю.

Безумно жаль, что в поисках предмета
Стихов, деторождения, обета
Безумную я потеряла нить

И не ждала, годами с плотью споря,
Что и меня, замшелую от горя,
Однажды блажь придет Вам поманить.

2

Вы согрешили, может быть, тогда,
Создав меня почти единым словом.
Творенье заново грозит основам,
И корня нет у этого плода.

Но плод созрел, грозили холода,
Меня утешить было не дано Вам...
Я говорю на диалекте новом,
Но помню все, уехав навсегда.

И вдруг из темноты не-ожиданья, –
Рука и губы, тело и дыханье
У самых глаз, и рук, и губ моих.

И снова я претерпеваю муки
Рожденья заново, и дополняют их
Разрывы где-то в сердце от разлуки.

24.04.2002

* * *

Сатир пузатый, пьяница, старик,
Гуляка, безответственный изменник,
Причина дюжины абортот, пленник
Полсотни предрассудков, ты возник

Не там ли, где благообразный лик
Учителя мерцал, где современник
Искал примера славы, власти, денег
Уменья избегать, почти вериг?

И снова я в твоих руках дражайших,
От похоти, от водки ли дрожащих, —
Кем ты сегодня сделаешь меня?

Мне все равно, я буду кем угодно,
Я все равно твоя, и я свободна,
Как вечный брак бумаги и огня.

05.05.2002

* * *

Я так безнадежно люблю Вас, но это не дело,
Не каждый же раз бежать и писать сонет,
Услышав далекий Ваш голос и вспомнив тело,
Которое было далеким так много лет,

И вдруг стало близким, да так, что не видно зазора, —
Двух-трех небольших морей и семи границ, —
Между сущностями, сплетенными до позора,
До посмертной славы, до дна, до пустых глазниц.

08.05.2002

ПЕРЕВОД

За влюбленностью или любовью, желанием, страстью, —
Беспредельная страсть и любовь неземной высоты.
Лучше оставь, все это, похоже, к несчастью, —
Он выжил в стольких перипетиях, но ты

Сама прекрасно знаешь, количества водки
В той стране не переживают и качеств ее...
Как бы потом не плакать тебе, молодке,
Это — вено твое, дорогая, вено твое.

12.05.2002

ДИПТИХ

Тема

Я счастлива? Да как никто другой!
Другая бы сказала, что несчастна.
Простой сюжет далек, а под рукой
Такое, что заглядывать опасно.

16.07.2002

Вариация

Порцию сердец, пожалуйста.

Реплика в иерусалимском ресторане «Ковер-самолет»

Я счастлива? Да как никто другой!
Другая бы сказала, что несчастна.
И разве я не видела прекрасно,
На миг безумства обретя покой, –

Простой сюжет далек, а под рукой
Такое, что заглядывать опасно.
Пространство, время, – все это ужасно,
Но что же мне, учитель дорогой, –

Больной печенке, «порции сердец»
Предпочитать разваренный супец?
Учению предпочесть существование?

А если мне уютно на огне?
Как воплощение должествования, –
Ты должен быть во мне, и ты во мне.

28.07.2002

ПО ДРЕВНИМ МОТИВАМ

Перевернувшийся мир не желает ложиться на место,
Вместо синицы в руке – грустный еврейский журавль.
Все превратилось во все – посмеялся бы с нами Овидий.
Ишь, расчирикались как рыбы бессчетных стихов!
Я утопаю в пустыне, потом голодаю на рынках,
Пивом согретую кровь нежный хамсин холодит.
Ветер в моей голове, истекает соками тело, –
Милый учитель, шутя, в Мирру меня превратил.

11.08.2002

* * *

Я боюсь, сегодня прочла некстати
Пару глупых строф, все на ту же тему, –
Быть предметом сих излияний желтых
Вам надоело.

Разве не могла я придумать что-то?
Гнать, плести, лепить, да и просто слушать?
Разве мне и Вам помешать способен
Гул телефонный?

Разве я не всех Ваших дам богаче?
Мой язык, мой голос – ведь Ваш подарок!
Эта дрожь – от Вас, эта сладость – Ваша,
Что же мне нужно?

Тот в моих глазах вызывает зависть,
Тот, дерзну сказать, одарен Всевышним,
Кто Вас видит часто и часто слышит,
Как Вы смеетесь.

14.08.2002

* * *

Порождение этой серой и злой толпы,
Плоть от плоти чухны и русских, пьяных и сирых,
Я – поэт из далекой страны, изворот судьбы,
Образец перебелки надписей на могилах.

Не любя отражения в зеркале и себе
В чем угодно, только не в этом, готова признаться,
Я сменила все, кроме любви к тебе
Да пола, дающего повод к тебе прижаться.

И теперь в их глаза, полные пустоты,
Я смотрю почти спокойно, почти с уютом, –
Все равно я вижу только твои черты
Даже в зеркале, и на фасадах, и в небе мутном...

22.09.2002

ЭПИГРАММА

Опять убеждаюсь, насколько Вы плодовиты, –
Ни советская власть, ни постсоветская мразь,
Ни чудовищные пропорции «аквавиты»
Не мешают Вам, изредка матерясь,

Писать стихи, позировать «ню» с балкона
И желать умереть, но, ложась не совсем костями,
Ваять, в монашеском духе «Декамерона»,
Талантливых деток с духовными дочерьми.

12.11.2002

* * *

Меня бы так любили, как его!
Мне, впрочем, тоже было бы неловко.
Пересластить – не лучшая уловка,
Когда хотят добиться своего.

Но мне ведь и не нужно ничего,
Пусть нищенка, но точно не воровка,
Полученное трачу, как мотовка:
Пишу – о нем, рожаю – от него,

Не умереть бы от такого счастья...
Излечит ли рождение близнецов
От застарелой безнадежной страсти?

Увы, красноречивый крысолов
Юпитером прикинулся отчасти,
Прошел грибным дождем – и был таков.

02.05.2003

ТРИПТИХ

1. Признание

Моя любовь, в отличие от тем
Возвышенных, – суровая реальность,
Ведь это Вам обязана я всем,
Включая имя и национальность.

Вы – мой отец, отец моих детей,
Вы мне (я ничего не пропустила?) –
Примерно все. Из сладостных сетей
Не выпутает никакая сила.

2. Продолжение

Сколь сладостно мне было с Вами спать!
Да если б спать! Вы вечно уходили,
Добившись толку или нет, кровать
Другая Вас влекла, чужая или

Все эти годы – чья-то. Да хоть чья!
Ведь, пережив компанию нимфеток,
Из молодых любовниц только я
Качаю этой ночью Ваших деток!

3. Реплика со стороны

У педагога, он же крысолов,
Роились дети – и родились дети.
Прошелся в борозде – и был таков,
А Сильвочка обзванивает нети,

В которые немолодой отец
Ушел, отговорившись отвлечением
К свободе нравов нынешних. П... конец.
Меня же скоро вырвет восхищеньем!

август-сентябрь 2003

Илья Беркович
НАРОД КНИЖИ

Наш город, как все древнееврейские города, имеет овальную форму и улицы в виде концентрических кругов. Этим он отличается от городов греческих. Несмотря на обширные археологические исследования, на холмах, где мы жили, до сих пор не обнаружено ни следов городской стены, ни укрепленных ворот. Только на южной окраине, примерно в тридцати метрах от крайних домов, найдены остатки железных столбов.

Дома наши слеплены из необожженного кирпича, от которого, если регулярно не обмазывать стены известью, через двести дождей остаются холмики грязи на каменных фундаментах. По фундаментам легко можно определить строение квартир: большая часть из них – четырехкомнатные.

Лет пять назад возле северной окраины города вырыли огромный черный котлован. Назначение его объяснили мне археологи: это типичный для еврейских поселений конца железной эры резервуар-водосборник. По глубине водосборник достигает подземных вод. Правда, дно его со всех сторон бетонировано, и непонятно, как подземные воды могли в него проникать, но возможно, бетонировка носит позднейший характер. К востоку от резервуара, на холме, экспедиция Тель-Авивского университета раскопала облицованный плиткой бассейн, в котором я так любил плавать по понедельникам и четвергам, и фундамент Дома культуры – массивного каменного здания, состоящего из пяти разной величины залов. В отчете экспедиции это здание фигурирует как «Губернаторский Дворец». В разных частях города найдено еще четыре подобных здания. Юго-восточный квартал представляет собой ряды квадратных строений, очевидно, складов или мастерских.

Так как ни ипподрома, ни театра, ни крытого рынка при раскопках не обнаружено, горожане, в основном, толкуются в торговом центре и около него. Торговый центр – первый этаж подковообразного трехэтажного дома – невелик: 10-15 магазинов и кафе, но, судя по изобилию товаров, жители поддерживают тесные торговые связи с Юго-Восточной Азией, Америкой и даже с Россией, отношения с которой особенно интенсивны. Только осколков бутылок с тисненными надписями на русском и словами русского происхождения на английском найдено 13 типов.

Первое от угла помещение торгового центра – пиццерия, уютная, как все пиццерии из-за запаха горячего теста, сыра и горной травы, которой в Израиле посыпают пиццу. Этот запах, мягкий, сладковатый, даже в жару не содержит тревоги и скрытой вони, как запахи мясных ресторанов. Поскольку больше половины по-

сетителей пиццерии – солдаты, хозяин приклеил на стеклянную дверь портрет начальника главного штаба. Внутри заведение имеет вполне гражданский вид. За стойкой уже десятый год стоит Таня: невысокая, обтекаемой формы, раскосая женщина с прямыми черными волосами. Хозяин уважает Таню за голос – в штиль это обычный голос молодой курящей тетки, но, если дети пытаются стащить что-нибудь из холодильника, или солдат зимой не закроет дверь, или собственная танина дочка, из внутренних органов Тани вырывается звук, от которого мороженое падает у воров из рук, офицеры пограничной охраны чешут лысые коричневые головы, а хозяин Ави, фигурой, лицом и его выражением напоминающий только что вылупившееся огромное яйцо (я знаю, что яйца не бывают вылупившимися, но Ави похож именно на вылупившееся яйцо – что я могу поделаться?), так вот, Ави подмигивает кому-нибудь из посетителей в смысле: вот такая штука у меня есть, – не забывая заткнуть большим пальцем правое ухо (на левое он глух). Впервые услышав танин звук, я был поражен не только его силой и качеством: я почувствовал в нем следы гармонии – и не ошибся. В прошлой жизни Таня была учительницей пения. В ее замечательный крик, как реки в Волгу, влились симфонические произведения Александры Пахмутовой, песня “Летят самолеты, сидят в них пилоты”, “Сурок” и “Санта-Лючия”. Таня могла бы выступать на сцене, изображая, например, ожившую статую ашдодского бога Дагона, на которого она очень похожа, могла бы, окончив курсы, получить сколько-нибудь часов преподавания в музыкальной школе, или давать детям из приличных семей частные уроки – но ни к чему этому совершенно не стремится. Открывая и закрывая заслонку печи, вынимая подносы и нарезая пиццу на треугольники острым колесиком на ручке, Таня мечтает только о том, как крикнет на хозяина, чтобы дал, наконец, отпуск, полетит на стальной птице в Стамбул, накупит джинсов, маек, черных чулок, кожаных курток, возьмет в центре содействия малым бизнесам льготную ссуду, снимет рядом с пиццерией магазин и станет бизнесвумен. Под прилавком у нее лежит книга. На черной обложке золотыми буквами написано: «Тот кто сможет это сделать, завоеует весь мир, а кто не сможет – останется в одиночестве», и в счастливые минуты, когда посетителей нет, или они уже жуют, как сейчас, Таня прикасается концом сигареты к огню и читает, глубоко затягиваясь в знак согласия с автором “Шести принципов”, которые позволяют:

- «1. Улыбайтесь.
2. Называйте клиента по имени.
3. Верьте в свой товар, как ваша бабушка верила в Бога.
4. Каждое утро, проснувшись, и каждый вечер, перед сном, повторяйте в течение минуты: “Я хочу заработать миллион долларов, я хочу заработать миллион долларов, я хочу заработать миллион долларов”.
5. Проявляйте искренний интерес к своим покупателям.
6. Дайте людям то, чего они хотят.

7. Каждый раз открывая эту книгу, перечитывайте заново "Шесть принципов»).

Повторив "Шесть принципов", Таня открывает книгу в месте, заложенном пакетиком чая "Высоцкий", и опять ныряет в текст:

«Сегодня тысячи усталых, обескураженных и плохо оплачиваемых торговых агентов толчутся по тротуарам. Почему? Потому что они всегда думают только о том, чего сами хотят. Они хотят продать. А мы не хотим покупать. Мы хотим решить свои проблемы. И если бы агент мог показать нам, каким образом его услуги и товары помогут нам в решении наших проблем, ему не нужно было бы предлагать их нам. Мы сами бы их купили. Но чего же мы хотим? В чем наши проблемы?»

Известный венский ученый доктор Зигмунд Фрейд говорит, что в основе наших поступков лежат два мотива: сексуальное влечение и желание стать великим или значительным. Проиллюстрируем это. Когда я был мальчиком и жил на ферме в Миссури, мой отец разводил замечательных свиней породы дьюрок-джерси и племенной беломордый скот. Мы обычно показывали своих свиней и скот на окружных ярмарках и выставках повсюду на Среднем Западе. Мы выигрывали десятки первых призов. Мой отец прикалывал полученные награды на полосу белого миткаля, когда же к нам приходили друзья и посетители, он всегда доставал эту полосу, и, демонстрируя награды, держал ее за один конец, а я – за другой. Свиньи не интересовались наградами, которые они завоевывали, а вот отец интересовался. Эти призы позволяли ему чувствовать себя значительным – чувство, которое заставило Ч. Диккенса написать свои великолепные романы, а Линкольна – стать президентом Соединенных Штатов.

Насколько мне известно, только два человека получали жалование в размере 2 млн. долл. в год: Уолтер Крайслер и Чарки Шваб. "Самым ценным своим качеством, – сказал Шваб, – я считаю умение вызывать у людей энтузиазм и развивать то, что есть лучшего в человеке, с помощью признания его достоинств и поощрения. Проиллюстрируем это. Ваш подмастерье, Чарли, сшил за смену 250 заготовок, в среднем по 30 заготовок в час. Производительность не такая уж большая, но вы пожимаете ему руку и говорите: Чарли! Ты сегодня молотил, как Тайсон. Теперь я вижу, как ты можешь работать!" И вы увидите, что назавтра он сошьет уже не 250, а 270 или даже 300 заготовок, что составляет 20% прироста производительности, и если вы зарабатывали на каждой заготовке по полдоллара, считайте что одна фраза и рукопожатие немедленно принесли вам 25 долларов чистой...»

В тридцати метрах от Тани, за собственным прилавком, у вертящейся витрины с часами стоит Фира, осуществившая танину мечту. Фира – совладелица самого большого в нашем городе хозяйственного магазина. На стоянке перед входом – заляпанные жидкой глиной, оклеенные огромным количеством политических этикеток машины, с торчащими из крыш антеннами аварийной связи. Несколько джипов. Среди них – бронирован-

ный сундук военной полиции с зарешеченной мигалкой и ладонями зеркал на капоте. Метафизически пахнет навозом, портупеей и новой сбруей. И действительно, в фирином магазине есть нечто от староамериканской скобяной лавки, в которой по стенам сидят на корточках одичавшие на дальних фермах поселенцы с револьверами и кнутами за поясом, и жуют табак, сплевывая на пол желто-коричневый сок.

Наши поселенцы, приезжающие в город якобы за покупками, а в действительности – напоить глаза чем-нибудь кроме желтых холмов, – с удовольствием сидели бы у Фиры, но места нет. Магазин набит товаром до отказа. В проходах между стеллажами двоим худым не разминуться и одному толстому не пролезть. Чтобы хоть средней упитанности покупатель мог протиснуться между полками и прилавком, стойку с рулонами клеенки, коврики для ванной и мусорные ведра пришлось выставить на улицу. Так и стоят ведра ударной установкой: от огромного контейнера – хайхэта до крохотного ведрышка – барабанчика для оркестра дрессированных мышек или белочек. Столяр Меир Фаюни, который постоянно ошиивается в фирином магазине, с трудом, но нашел-таки себе нишу: он сидит на ведре с белилами, опершись о бухту электрического кабеля, под свисающими с потолка армейскими зимними куртками, и смотрит на Фиру немигающими глазами с такими черными зрачками, что отблеск света в них кажется еще одним, внутренним зрачком. Фаюни дает покупателям бесплатные хозсоветы. Сейчас он обедает: тюкает о прилавок крутым яйцом, сыплет скорлупу себе на ладонь, на этой же ладони у него соль, а Фира достала из-под кофточка книгу, и уже приладилась читать, но тут же сунула книгу обратно, потому что раздался любимый и ненавистный для каждого хозяина звук: хлопнула дверь.

Хлопает дверь. Бородатый учитель, добрый человек, видно, всю дорогу от дома до магазина нагнетал в себе твердость, и теперь орет с порога, трясая субботним реле: Я купил это в четверг, вчера включил, лампочка не горит!

– Миша, посмотри, что у него! – Фира пытается перепасовать учителя сыну, но сын паса не берет, а продолжает себе, жужжа точилом, вытачивать на другом конце прилавка ключ, и учитель тычет Фире реле прямо в рожу. Фира дергает головой вверх, как собака, у которой перед носом зажгли спичку, и опять видит: банки с краской, детские пластмассовые рапиры, мохнатые маски, связки свистков.

– Погляди, Меир, – бросает Фира.

Меир стряхивает скорлупу в нагрудный карман спецовки, перекладывает яйцо в левую руку, берет в правую реле, и прищурившись, начинает разглядывать его на свет.

Хлопает дверь.

– Фира! Какой фонарь на случай войны покупать? – интересуется тетка. Голова ее вместо платка повязана красным в черную клетку махровым шарфом.

– По 29 шекелей, у нас таких нет.

– Так скажи Игорю, пусть привезет. Нужная ж вещь.

– Сменить лампочку, и все, – заключил, наконец, Меир, хлопнул реле о прилавок, переложил яйцо в правую руку и сдул с него пыль.

– Сколько стоит сменить лампочку?

– Миша, – фирина голос пробивается сквозь жужжание точила как комариный звон, – сколько стоит сменить лампочку?

– Бесплатно.

Фира пока молчит. Сдерживается.

Наконечники для душа, куклы, шпатели, дюбеля, клубки ниток, шурупы.

– Ну, ты позвонишь Игорю?

Хлопает дверь.

– Где у вас прозрачная изолента?

– Мама, сколько стоят эти пружины?

– Я не знаю, позвони папе.

Рукавицы, замшевые тряпки для протирки лобовых стекол, лакированные бочонки, аэрозоли, вазочки, ванночки, грим, плоскогубцы, замки.

Хлопает дверь.

– Покажите мне во-о-н тот магнитофон!

Фира лезет на стремянку и спускается с коробкой.

Ей протягивают чек.

– Подождите, – говорит Фира, – они подорожали. Я должна спросить мужа. Миша, позвони папе.

– Чего звонить-то? – спокойно отвечает, Миша, рассматривая ключ, – сколько на коробке написано, столько и стоит.

– Ты сегодня всем будешь делать подарки?

– Мама, ты не умеешь продавать.

– Ты зато умеешь продавать. Сколько раз я тебя просила не выкладывать бижутерию на прилавок. Эти дети воруют без всякого стеснения!

– У меня нет времени, – говорит покупательница.

Хлопает дверь.

Петли, фильтры, цепи, карандаши, брелки.

– Сейчас, я быстро позвоню.

Фира представляет себе мужа. Он сидит в гостиной за столом, блестя начищенной, навощенной и отполированной бархоткой лысиной, и под звуки попури из Вивальди либо считает на калькуляторе, либо складывает пазл из 300 частей. Муж затеял монументальный проект: импорт сборной детской мебели. С женой он разговаривает так, как подростки разговаривают с матерями. В трубке длинные гудки.

– Вы замените наконец лампочку?

– Миша, смени ему лампочку.

– Мама, я делаю ключ.

Рукавицы, клеенчатые передники, машинки для заклеивания коробок. Изолента. Замазка. Тальк. Образцы черепицы. Занавески для ванн. Карнизы.

– Вы продадите магнитофон или нет?! У меня автобус через пятнадцать минут!

– Слышь, Фира, сестра с племянником приехать хочет. Послала его на курсы – как готовиться к химической атаке, как что. Одиннадцатый класс. Совсем большой стал.

– Я вам сказала, магнитофоны подорожали, я не могу продавать себе в убыток, я должна узнать новую цену, а муж не отвечает.

– Мама, да пусть уже берет за старую. На сколько он мог подорожать?

Швабры. Горшки. Молотки. Гладильные доски. Китайские резные сундучки Машинки для бритья. Бусы. Пульверизаторы. Скрепкошпигатели. Куклы.

– Мне нужно повесить обогреватель. Эти винты годятся?

– Фира, что с фонарем, узнала? Когда он привезет? Совсем ты закрутилась здесь, съезди хоть в Чехословакию, отдохни.

– Простите, где зеркала для ванных?

– Мама, ну пробей ей чек, пусть она берет свой магнитофон и уходит.

– Идиот! – взвизгивает Фира, – У тебя все вытягивают скидки. Ты всем делаешь подарки! Ради чего я здесь убиваюсь по десять часов в день, ради чего?! Бизнеса нет! – Фира выскакивает из-за прилавка и бежит как будто плакать, а в действительности показывать зеркала для ванных. Упитанный покупатель с трудом протискивается за ней.

Хлопает дверь. Конструкторы, кисти, брелки, будильники, тостеры, микроволновые печи, картины, рожки, унитазы, стрелялки, вазы, наргиле, пылесосы, дубленки, смесители, кисти, сухая замазка, шурупы, дюбели джамбо, абажуры, лейки, тапки из пористой синей резины, махровый купальный халат с золотой вышивкой “Дорогой маме” на груди, сауна, высшее образование – подотрись, Карловы Вары, сто тысяч под двенадцать процентов, кожа рук после работы с хлоркой, крем “Доктор Нона”, чистый бизнес: одна женщина нашла на дне моря бактерию, газококсилка, грабли, резиновые перчатки. Обогреватели.

Зеркала.

Фира хватает зеркало в белой пластмассовой оправе, и впиивается взглядом в свое лицо. Красота его разрезана тонким японским ножом (новейший образец с металлическим держателем – 15 шекелей плюс 4 запасных лезвия) на 300 частей, как мужнин пазл, но части еще не смешались, лицо только подернулось рябью, как отражение на воде, когда поднимается ветер. Если погасить ветер, лицо станет прежним. Фира кидает вороватый взгляд на покупателя: покупатель, тоже держит в руках зеркало и разглядывает свою брылястую рожу. Он заслонила ее от толпы необслуженных у прилавка. До конца стеллажей с коробками, до белых дверей туалета – рывок в два шага. Фира проскользывает внутрь, припирает дверь спиной, вытаскивает из-под кофточка книгу, и читает:

«Неприступный замок женского превосходства светится в моих глазах, царственное величие светится в моих глазах, торжествующая сила молодости светится в моих глазах, торжество несокрушимого крепкого здоровья светится в моих глазах, восторг счастливой молодости светится в моих глазах. Я вся наполняюсь счастливым блаженством, радостью жизни.

Царственное величие, царственная гордость светятся в моих глазах. Под глазами мое лицо рождается новорожденно-полное, белоснежно-светлое, белоснежно-чистое розовое лицо под глазами. Ярко-красный, ярко-красный цвет вливается в мои губы. С каждым днем увеличивается моя умственная работоспособность. Я работаю целый день напролет со свежими силами, с огромной энергией.

И через тридцать лет, и через сто лет я буду молодой, веселой, несокрушимо-здоровой прекрасной красавицей. Каждый прожитый день увеличивает продолжительность моей будущей жизни, я живу по закону: чем старше – тем моложе».

А на втором этаже, прямо над магазинами, в коридоре муниципалитета, напротив дверей комнаты, где по вторникам принимает адвокат, прямо, положив руки на колени, сидит тщательно причесанная седая дама. Это Джулия. Джулия ждет адвоката. Адвокат должен был приехать 40 минут назад, но лицо Джулии не выражает гнева: настоящая дама не должна показываться на людях в неглаженной юбке, без зонтика от солнца и с выражением гнева на лице, так же как не должна ни в коем случае бежать, задыхаясь, с красным лицом и трясущейся грудью. Гневаться можно, но только если ты решишь, что ты гневаешься и владеешь своим гневом. Твой гнев должен вызывать в окружающих страх потерять работу, а не веселый смех...

Джулия старается не думать об адвокате, о своем бракоразводном процессе, о муже Мозесе, который за свое согласие на развод требует от нее отказаться от ее части в доме, о его подлых детях. В книге, на странице 3, написано, что во время стрессов нужно думать о хороших вещах. Нужно думать о PETS, о своих любимцах. В книге написано, что мир нужно любить, но ведь невозможно любить весь мир. Приходится любить локально. Для этого есть любимцы. Нужно уметь их выбирать. Мужчины не годятся на роль петс, – это Джулия знает наверняка. Они невнимательны, неблагодарны, вечно где-то бегают, и рано или поздно начинают все эти фокусы с ее деньгами. Ну ладно Карл, – что можно ждать от представителей народа, который кладет в овощной салат жареное сало и начинает день с пива, ладно Роджер, – американцы слишком устают на работе, но Мозес, единственный человек в Израиле, умеющий завязывать галстук! Нет, мужчины непредсказуемы, агрессивны, и если их кастрировать, могут совсем взбеситься. Они не понимают, что это для их же пользы. А что, коты лучше? Ее кот, Мучачо, не ценит, что у него есть дом, что ему покупают лучшую еду. Каждая упаковка стоит 30 шекелей. Прививки – 150 шекелей. Кастрация – 650 ше-

келей!!! Он не ценит, сколько Джулия в него вложила. Уходит и возвращается через 3 недели. Вчера вернулся, сидел у парадной с совершенно сухим брюхом, и это в такой дождь. Он просто ходит кормиться еще к кому-то, а потом его привозят на машине. А попугаи лучше? Взяли привычку дохнуть. Стоило уехать на три дня – и зеленый попугай сразу сдох. Джулия узнала об этом по крикам самки, голубой попугаихи. Прыгает вокруг своих партнеров, как старая еврейка, даже в зеркало не дает им смотреться, а когда они от такой жизни дохнут, поднимает крик! Сколько было хлопот! Мертвый попугай вцепился окостенелыми лапами в проволоку. Пришлось его отдирать, потом звонить раву. Рав сказал, что над телом не надо читать кадиш, но похоронить обязательно. Была бурная ночь, Джулия перепачкала грязью юбку. Землю у забора стройплощадки пришлось рыть лопаточкой для торта. Что думали про нее люди (слава Богу, там никого не было, хотя никогда не знаешь, видят тебя или нет, городок маленький, тотчас пойдут слухи, Глория как-то странно смотрела на нее в клубе, ее соседка Анна по вечерам гуляет со своей худой собакой, могла увидеть и рассказать). Буквально через два дня Джулия встала в 6, поехала в Тель-Авив и купила попугаихе новую пару, молодого желтого попугая. 50 шекелей. И что вы думаете? Через несколько дней неблагодарный сдох!

Мысли о любимцах не помогают. Джулия достает из сумки книгу, которую всегда носит с собой, открывает на странице 3 и медленно читает:

«Поговори с кем-нибудь – выпусти пар и постарайтесь вместе найти выход.

Постарайся найти в ситуации смешную сторону и посмейся над ней.

Знай – потерянные ключи, часы, пудреница, паспорт, кошелек, чековая книжка рано или поздно найдутся.

Используй календари, будильник, дневник как помощников памяти. Купи грифельную доску – приучись записывать все, что ты должна сделать и сразу по выполнении стирай.

Не назначай больше одной встречи в день.

Будь терпелива с собой и снисходительна к себе.

Признай, что ты изменилась.

Не требуй от себя слишком многого.

Начиная дело, дай себе больше времени, чем казалось бы нужно.

Не сдавайся.

Старайся сделать, что можешь».

Джулия сделала все что могла. Назначила на сегодня одну-единственную встречу – с адвокатом, который должен наконец сказать, насколько серьезные шансы бамбинос отнять у нее ее вклад в дом. Она начала готовиться за два часа. Полчаса делала лицо. Полчаса выбирала кофточку и юбку. Специально дала себе лишний час, и действительно, пришлось искать письмо из суда. Слава Богу, она пришла ровно в назначенное время. Где

она только не искала это письмо, залезла даже за карту, карту, которая висит на стене в кухне. Все города, где Джулия жила и разводилась: Порт-о-Пренс, Бостон, Бонн, Хедера, обозначены красными кружочками. Джулия знает, как важен адвокат, его поддержка, их общее внимание к любой небрежности противника, она так радовалась, что нашла нужного адвоката, и оказался такой марикон. Произнеся мысленно слово, которое ни в коем случае не должна произносить дама, Джулия видит, что третья страница не помогла, открывает книгу на стр. 46 и медленно, задерживая дыхание, читает:

«ОБЕЩАЙ СЕБЕ:

Ты будешь сильной.

Ничто не потревожит покоя твоей души.

Кого бы ты ни встретила, ты будешь говорить только о здоровье, счастье и благополучии.

Ты дашь почувствовать всем своим друзьям, что в них что-то есть.

Ты найдешь солнечную сторону во всем и проявишь свой природный оптимизм.

Ты будешь думать только о самом хорошем, добиваться только лучшего и ждать только самого лучшего.

Чужие успехи принесут тебе не меньше радости, чем твои собственные.

Ты забудешь ошибки прошлого и устремись к великим достижениям твоего будущего.

Ты всегда будешь выглядеть веселой и каждому встречному живому существу подаришь улыбку.

Ты потратишь на самосовершенствование не меньше времени, чем ты тратишь на то, чтобы критиковать других.

ОБЕЩАЙ СЕБЕ:

Быть слишком щедрой, чтобы беспокоиться о потере чего-нибудь.

Слишком благородной для гнева.

Слишком сильной для страха.

И слишком счастливой, чтобы допустить, что на свете есть несчастья».

Но мертвый зеленый попугай все летает в голове по кругу, и кот все выходит, сыто облизываясь, из чужих дверей, и адвоката нет. Нет несчастья, которое бы заставило ее спину согнуться. Нет в городе человека, о котором она сказала бы дурное слово. Нет человека, которому бы она пожаловалась. А что есть? Есть водоворот. Раньше при приступах была только боль, пальцы не немели. Позавчера первый раз онемела рука. А сегодня почти прошла, — только пальцы, если их согнуть... Это водоворот, ты плывешь по кругу, тебя погружают и отпускают, и ты уже думаешь, что вернулась к себе, но тут прихватывают крепче и погружают глубже. Тебе показывают, что с тобой будет до того, как это случится, чтобы знала. И уже не вернуться. И желтый попугай, схватившись окостенелыми лапками за проволоку, крутится

как адаптер на патефонной пластинке в кафе, где они собирались, чтобы во время танго шепнуть друг другу: – Хозе приехал. Встреча завтра в 9, у старого порта. – Отец до самой смерти не знал, что она была в организации.

Джулия решает погадать по книге, придет адвокат, или нет. Она открывает ее на первом попавшемся месте и читает:

«Зеленые деревья.

Не думай, что ты только погружаешься. Каждый раз погружаясь, ты взлетаешь.

Чем дальше ты от мира дохлых попугаев, неблагодарных котов и мужчин, тем ближе – к миру зеленых деревьев, гномов и грибного дождя.

Чем меньше тебе нужны вещи, тем больше удовольствия ты можешь получить от них».

Джулия потрясена. Она живет по книге последние десять лет, знает ее, как свою косметичку, но никогда не читала ничего подобного:

«Поверь, в тебе уже достаточно смелости, чтобы отказаться от любимцев, загораживавших от тебя весь мир.

Откажись от них.

Закрой глаза, и ты увидишь ветки зимних деревьев на фоне бледно-голубого неба.

Дождись, пока деревья зазеленеют.

Забудь все указания и инструкции.

Мышь говорит неправду.

Карлики говорят правду.

Закрой книгу и больше никогда не открывай ее.

Оставь ее в коридоре, на стуле.

Пусть ее найдет и возьмет себе кто-нибудь, кому она нужна.

Если вдруг захочешь что-то узнать (в первое время это еще может случиться), смотри на зеленые деревья».

Джулия привыкла повиноваться указаниям книги, но этого указания она выполнить не может. Ведь это как если бы любимый учитель сказал: забудь все, чему я тебя учил и перестань со мной здороваться. Кроме всего, обидно. Кто она, Джулия, без книги.

Джулия продолжает смотреть на последнюю строчку текста, и вдруг понимает, что текст стирается, как будто невидимый палец не отрываясь давит на клавишу delete, верхние строчки исчезают, белое поле внизу все увеличивается, буквы последней строки суетливо бегут справа налево, справа налево, возникают на строчке сверху, они движутся как вагоны мимо сидящего на перроне. На верхушках букв стоят маленькие зеленые человечки, они раскачиваются в такт движению, машут руками и беззвучно поют. Только один карлик, вылитый столяр Меир Фаюни, не поет. В левой руке у него незажженная сигарета, в правой – яйцо. Фаюни недоволен: во-первых, забыл зажигалку на работе. Во-вторых, не дают спокойно поест.

А на букве “U” стоит на задних лапках мышь. Это симпатичная, человеческая, белолицая мышь. Джулия морщится от отвра-

щения, а мышь кричит, протягивая к ней лапки: «Почему, почему вы, женщины, так ненавидите и боитесь нас, мышей! Ведь мы давным-давно не делаем вам и вашим продуктам ничего плохого. Мы должны не враждовать, а объединиться! Ведь нам с вами только-то и надо что погрызть кекса или сыра!», – Джулия, пожалуй, согласна, но даме не пристало разговаривать с мышами. К тому же в книге написано: «Мышь говорит неправду». Правда, в книге написано и: «Забудь все инструкции». И еще, там написано, что карлики говорят правду – а они ничего не говорят, а просто раскачиваются и машут руками. Господи, как тяжело. И как красиво. Она смотрит на черные буквы, убегающие как дым, как песок в часах, как пересыпаемый из миски в миску рис, смотрит на растущее снизу бело-песчаное, снежное поле, на карликов, перепрыгнувших еще на строчку вверх. Они машут чем-то красным. Они по-прежнему машут руками, только теперь вместо ладоней у них язычки огня.

А на третьем этаже, над магазинами и муниципалитетом, – местный краеведческий музей. В нем много ценнейших экспонатов: капитель протоионической колонны (примерно X век до н. э.), детали мозаичного пола эллинистического периода, изображавшие праздник разлива Нила, раннеисламская керамика и т.д. Археологи, обмахивая метелочками, обдувая и радостно осматривая эти вынутые из земли предметы, и организатор музея, историк, не думали о том, какую, простите за каламбур, яму они роют своим коллегам-потомкам: ведь когда наш город будет разрушен, третий и второй этажи (музей и муниципалитет) обрушатся и смешаются с первым, и при последующих археологических раскопках капитель протоионической колонны будет найдена под обломками компьютеров и железных стульев, черепки раннеисламской керамики смешаются с осколками водочных бутылок из русского магазина ностальгической еды, а деталь синагогальных ворот с вырезанным в известняке семисвечником найдут на полметра выше клада китайских и тайландских кукол и резных сундучков, – весомое доказательство того, что древнейшими, до евреев, обитателями наших мест были тайландцы.

Короче, после раскопок будет тяжело. Но не археологам, которые знают, что они хотят найти, и всегда найдут именно это, может быть, с небольшими поправками.

И не сидящим в первых рядах амфитеатра студентов в непреходящих джинсах, с плоскими компьютерами на коленях: студенты чувствуют, кому из профессоров стоит верить. Тяжело будет нам. Нам, собственно, уже нелегко. Ведь это мы, жители города, сидим на мраморных плитах арены под крикливый над нашими головами спор профессоров о том, кто мы такие.

– Топография города, планировка квартир и характер культовых строений, – проносятся над нами пронзительный голос справа, – однозначно свидетельствуют о национальной принадлежности жителей. Только у евреев жилища в эту эпоху делились на четыре основных помещения. Это подтверждают рас-

копки в Тель-Шеве и десятках поселений в районе Сдэ-Бокер. В разных кварталах города обнаружены пять культовых строений без жертвенников и абсид. Культовое строение без жертвенника и абсиды может быть исключительно синагогой. В центре города найдена верхняя часть синагогальных ворот с вырезанным на ней семисвечником. Еще один типичный признак еврейского города – глубокий прямоугольный резервуар для сбора и хранения воды. Точно такие резервуары раскопаны в Тель-Шеве и Хацоре. Город, уважаемый коллега, населяли евреи.

– Как вам должно быть известно, – отвечают слева, – евреи в указанную эпоху соблюдали кашрут. При этом более 30 процентов найденных при раскопках города упаковок продуктов – импортного происхождения, то есть некошерных. Городские ворота не соответствуют принятому у евреев в ту эпоху типу ворот. Обязательной для еврейских поселений стены вообще не обнаружено. В свете этого ваша гипотеза о том, что котлован в северной части города – это резервуар-водосборник, представляется крайне неубедительной. Зачем жителям неукрепленного, стоящего в пятидесяти метрах от источника города рыть тридцатиметровой глубины водосборник? Это не водосборник, а строительный котлован под фундамент монументального храма Ваала, постройка которого была начата незадолго до разрушения города. Об этом свидетельствует арматура на дне котлована. Как я уже говорил, многие из найденных в городе, особенно в промышленной зоне скелетов принадлежат не семитам, а тайландцам или китайцам. Предметы и постройки с еврейской символикой практически отсутствуют. Верхняя часть ворот с высеченным семисвечником не имеет никакого отношения к городу – это просто деталь стоявшей за городской чертой синагоги, которую жители использовали как строительный материал. И откуда в еврейских магазинах того времени могли взяться русские скалки и бразильские столовые приборы? Не хотите ли вы сказать, что древние евреи торговали с Россией? Из всех средиземноморских народов только финикийцы заплывали за Геркулесовы Столбы. Согласитесь, что приведенные факты однозначно доказывают: город был финикийской торговой колонией.

– Из финикийских купцов, – отвечают справа, – до России доплывал только Садко Торговый Гость. Но в поэме о нем ни словом не упомянуто плавание в Таиланд, откуда происходят большинство городских находок. А если уж профессор вспомнил о кашруте, – отметим, что процент найденных в городе свиных костей практически равен нулю. Финикийцы же не чуждались свинины. Попытка выдать водосборник за строительный котлован под фундамент некоего мифического, и конечно, языческого храма даже в устах коллеги Фрадкина звучит слишком революционно – до сих пор не обнаружено ни одного древнего храма, который стоял бы на тридцатиметровой глубины бетонном фундаменте. Это не котлован, а именно резервуар-водосборник. Когда-то он соединялся с подземным источником туннелем, который был забетонирован

жителями во время осады, чтобы враги не проникли через него в город, как проникли в евусейский Иерусалим воины Давида. Что касается якобы отсутствия городских стен: как во множестве еврейских поселений, городскую стену образовывали задние стены построенных вплотную, в одну линию домов крайней улицы. Скелеты китайцев в промышленной зоне принадлежат слугам и наемным рабочим. Я понимаю желание определенных кругов вопреки очевидным фактам доказать, что евреи никогда не жили в Иудее и не имеют на нее исторических прав, но эти доказательства выходят за рамки академической дискуссии. Можно спорить о частностях, но еврейский характер города очевиден.

— Не знаю, на какие круги намекает профессор Ярон, — твердеет эхо слева, — но очевидно, что лично он пытается заселить евреями области, где их никогда и духу не было, даже если для этого приходится проводить воду через бетонные стены, выдавать за исторические факты элементы народной мифологии и экстраполировать современные китайские и немецкие товары в первое тысячелетие до нашей эры.

— Сколько ты получил от Европейского Союза?!

— Фашист!!

И когда профессора, судя по звуку, начинают разматывать провода чтобы, за неимением ручных гранат метнуть друг в друга микрофоны, со стороны средних рядов амфитеатра доносится и покрывает всех как шапкой такой властный и снисходительный баритон, что даже мы, сидящие на каменном полу арены, перестаем зевать, вязать, чесаться, пихать друг друга локтями и люлюкать своих младенцев. Все мы (кроме читающих) просыпаемся и поднимаем головы.

А баритон сообщает, что никакой исторической правды в природе нет. Есть только версии: версия профессора Ярона, согласно которой мы — евреи, и версия доктора Фрадкина, по которой мы — финикийско-таиландско-русская торговая колония.

Не знаю, не знаю. Вам, господа начальники, видней. Хорошо еще, что наши любимые книги истлели. В чью пользу свидетельствовали бы они, окажись бумага долговечной, как бутылочное стекло? В пользу Фрадкина? Ведь ничего еврейского в наших книгах нет. Или в пользу человека с бархатным голосом: поди определи по отрывкам нерелигиозных текстов трехтысячелетней давности национальность читателей.

Или все-таки в пользу Ярона? Ведь тематика наших книг свидетельствует, прежде всего, о вере в истинность книги, вере, которую мы получили вместе с нашей первой, каменной книгой. Каменная Книга давно лежит внутри горы и излучает оттуда, а вера в книгу осталась при нас, и тысячами карманных фонариков освещает страницы, переведенные с американского руководства по правильному перевариванию жизни. Значит ли эта вера, что, несмотря ни на что, мы все-таки евреи, то есть — народ книги?

Эдуард Розенштейн

ПЛАМ, ПО РАДИО, МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ

* * *

памяти А. Г.

Там, по радио, между станциями передают специальный шум:
подслушанные жерла земли, высоковольтные вены ночи.

Включи его, чтоб заглушить соседей на кухне:

мальчики о политике, навязчивое благодородство.

Стихи мёртвой девочки.

Описать свой день.

Я не хотел, но я сбежал.

Разуверился в утрах, разуверился в ранних вставаниях.

Метафора: твоя смерть, как игла, проходит податливое тело,
и кровавой шарик сердца кружится на её острие.

На этот раз –

солнце так и не докувыркнулось

заводное лопнула пружинка

говорил не закручивай до конца

мечтать о своей детской а пока

устраивать её в коробке из под

обуви пылесоса телевизора

кукла Маша твоё в страхе «мама»

запомнит и повторит так похоже что

любовник спросонья потянется приласкать

несколько неправильных воспитаний

чувство локтя по почкам

ничем хорошим никому не грозила

ты шила но ткань на просвет

то ширилась и уходила грязной водой

то собиралась в скучный кулак под сердце

стихи это то что не пишется

не говорится не думается а никак

говорят что снятся интересных снов

но если после них просыпаются – это плохие стихи

ты-здравствуй ты-садись ты-водки

ты-пьющаяся неспеша

ты-выбилась из собутыльников тоски

ты-больше не их

ты-горлышка в крови анупусти

на, подметай осколки

в эту минуту искусственной тишины
по тебе по девочке Анечке дочке
заходится чревоушательным «ы»
одна в ночи радиоточка
вот-вот разревётся вот-вот запнётся.

пустая смерть из пустой розетки
уснули соседи уснули соседки
полтора часа до восхода солнца
2000

* * *

памяти Б. Р.

помнишь в детстве понарошку
испекли нас из
мамы три столовых ложки
слёзы сопли слизь

на стакан муки как пыли
ветром ли с горсти
сдуло сами ли пересолили
здравствуй и прости

лоб отца улыбка мамы
корочка обид
запеклась между губами
больше не болит

вкус вины и сердца сдоба
и рецепт готов
оказался ты съедобным
для своих стихов

аполлон зачем ты хмурый
горек твой запой
и стихи в овечьей шкуре
гонишь на убой

призываешь иудеев
пир не пир а так
сядем разберём идею
кто из нас мудак

призываешь православных
пир не пир а так
сядем выясним по правде
кто из нас мудак

на столе вино в стакане
чёрствый чебурек
а в земле лежит под нами
мёртвый человек

2001

* * *

Этот город Русалкой зовётся,
я сейчас докурю и уйду,
георгины в больничном саду
остаются одни, остаётся
вспоминать, как в такси до Бат-Яма
на таксиста ненужный вопрос
что-то долго плести довелось,
что к приятелю еду, как к маме
не хотел подходить у ворот,
не умчался пока с моей сдачей
ухмыльнувшийся мордovorot.
«Сколько ты заплатил?», – передачу
в непослушных руках тормоша,
сквозь абзацы ивритской газеты
птицы-гриль проступала душа,
буквы мёртвою плотью согреты,
я прочту, я умею читать
на коричневой коже печать
этих алефов, шинов и реш,
мать отнекивалась: «Сам поешь,
я уже за обедом поела».
И сегодня свой вечный вопрос
задала как-то более смело:
«Ты купальника мне не привёз?»

2003

* * *

Он был сектант, он пил мочу,
и вышиванку из простыни
он делал главному врачу,
ну не ему, так его сыну.

Его кровати у окна
завидовала вся палата,
и крестики воротника
он с зарешёченного сада

брал, с зарешёченных небес,
я подсмотрел – я был моложе
в ту пору и глазами без
очков судил всё правильней и строже.

Я подсмотрел, как нужно шить,
как крупную сетчатку тверди,
заката лопнувшую нить,
через забор обитель смерти
(сейчас скажу – больничный морг)
он на сорочку, как для трупа
мелко крестя, съюзорить смог.
Он получил вторую группу.

2003

* * *

Стенка на стенку вышли хлеборобы.
– Запроданці! – я выхватил гранату.
– Задрипанці! – я выхватил гранату.
Двух станов не жилец, а только жид пархатый
я лёг на обе.

Так, мне казалось, будет лучше всем.
Так я возьму свою победу.
Так прилеплюсь надолго, насовсем
к земле и дому, к тишине и хлебу.

Чтобы чертами своего лица
с ваших бы лиц никак не отдирался,
чтоб в золото, одевшее леса,
добавилось и моего багрянца.

Чтоб с потрохами, чтобы потроха
летели бы и перевоплощались
в пар, а из пара в облака
и облаками оставались.

Что, облако в штанах, увидел сходство
с тем, кто напротив собранно сидит?
И вот сидишь и ждёшь, когда взорвётся
автобусный сосед, араб на вид.

2003

* * *

Фотка на память – всё, что останется от наших тел и дел.
Еврейская улыбка ему не шла, а другую он не умел.

Хмурился, складывал руки на груди,
как криво сидит на нём всё то, что будет с ним впереди.

Эту шею на вырост – уже кто-то раньше носил,
этих плеч зажим – с чужих плеч, я сразу сообразил.

Герман, возьми меня в типажи, я свой, я никто,
я Иванченко-погорелец в чужом пальто,

я на заднем плане сплуну слюну,
я в камеру как в душу твою взгляну.

Только не надо меня на передний план:
я не смогу, я душу свою предам,

я расплывусь в улыбке, я подмигну,
ведь я знаю, что мы уже выиграли великую войну,

а это не правда, так оставь меня там стоять,
пусть рядом стоят отец мой и мать,

пусть камера по нам как по другим промелькнёт
и покажет крупным планом дерево, снег, гололёд,

и забудет про нас, ей важно, что будет потом.
А мы не расходимся, как будто чего-то ждём.

2003

* * *

Волга впадает в Каспийское море
иголка впадает в щель в паркете
книги впадают в книжные полки

а потом они выпадают и падают
Волга иголка остатки библиотеки
одним потоком – тёплым солёным летним

только подставляй картонные ящики
пакуй их обтягивай изолентой
и шли малым ходом дешевле морем

Волга – это ты, любимая, это ты.
Иголка – это то, что прячется, как смерть Кощея.
Книги – это утопленники, выталкиваемые из воды,
потому что она всё равно тяжелее.

2003

* * *

Ты вошла в просвечивающемся платице
ты вошла я помню этот час
значит то что было то останется
навсегда какая разница что нас
больше нет нас больше нет на свете
ты вошла вошла в меня меня
разрывая даже не заметив
о просвет меж ног о как она
всем его дарила раздаряла
да просвет от слова свет от слова свят
солнце ты не зря за нею стало
и стоишь твои лучи горят
сквозь неё закатные очеловечены
ну завидуй что же ты лучу
этот образ мира этим вечером
не убий убий ещё хочу

2003

* * *

Я трогаю, я говорю – не тронь
это свечение, это осязание,
подрагивает и щемит ладонь,
как принявшая подаянье.

Я спрячу руку, я скажу: не надо,
другие нищие на этой паперти
достойны более твоей пощады
и осенённой благодатью памяти.

Так почему мою скупую руку,
зажатую в кулак в своей гордыне,
своими гладишь ты на радость и на муку
и радуешься ей отныне.

2003

* * *

Благодари весну сегодня
ты видел в утренней газете
как пасху города господня
над головой омар-мечети
проносит колокол беззвучно
и запыхавшиеся люди
пред церковью сгрудились в кучу
ты скажешь голову на блюде
проносит присно и вовеки
невидимая миру дева
но вот туристы и калеки
персты влагают в своё тело
и чуют радостно воскресли
они не верили вначале
но в этот день и в этом месте
колокола обозначали
непостижимы осиянны
как пролитые в мир купели
невидимые миру раны
они зажили и запели

27.04.2003

Виктория Райхер

ОТ СУМЫ, ОТ ПЮРЬМЫ И ОТ БЕЗУМНОЙ ЛЮБВИ

Семёнову, моему давнему, верному и любимому другу

Рядовой Армии Обороны Израиля Авирам Бен-Рахман по прозвищу Бухта сидел на полу в углу и ковырял в носу. Перед самым ковыряемым носом рядового Бен-Рахмана простирался армейский туалет. Туалет был мыт. Соответственно, по мнению рядового Бен-Рахмана, туалет был чист. Но по мнению сержанта роты Иегуды Шварца, которого бойцы, согласно существующей традиции, называли командир Иегуда, туалет чист вовсе не был. Более того. По мнению сержанта роты командира Иегуды, туалет был возмутительно, вызываяюще, непотребно грязен. Посему, командир Иегуда выбрал самого любимого солдата своей роты, приказав ему до обеда начисто перемыть туалет. Любимым солдатом командира Иегуды вот уже четыре месяца был рядовой Авирам Бен-Рахман.

Нельзя сказать, что пылкая любовь командира радовала сердце Бухты Бен-Рахмана. Авирам, как человек простой, не понимал, почему именно он должен за все провинности получать наиболее суровые наказания, почему именно его постоянно назначали дежурным по кухне, ванной, туалету и оружейной мастерской, и какого черта командир Иегуда никогда не разрешил ему никакого, самого маленького, послабления. Собственно говоря, рядовой Бен-Рахман был убежден, что командир Иегуда придирается к нему по-черному и что пока не умрёт командир Иегуда, ему, рядовому Бен-Рахману, не будет жизни на этой базе. Не исключено, что он был прав. Картину мира рядового Бен-Рахмана довершал неоспоримый факт, что командир Иегуда Шварц безусловно не собирался умирать.

— Бухта! Бу-ухта! — раздался чуть дрожащий голос, и кто-то легонько тронул за плечо погруженного в думы и в собственный нос рядового Бен-Рахмана.

— А? — отозвался Бухта, не поднимая головы и не отвлекаясь от ковыряния в носу.

— Бухта, у меня к тебе просьба, — продолжал голос, явно не смущаясь интимностью занятия собеседника.

Бухта почесал низ живота и поднял глаза. Перед ним, грудью как раз на уровне его сидящей головы, стоял рядовой Иехезкель Таз, которого в роте называли Хези или Тази. Рядовой Таз был мелок, худ, очкаст и носат. При всём при том Хези Таз не был лишен определённого обаяния, поэтому в роте его любили. Впрочем, рота была хорошая: в ней любили вообще всех, кроме командира Иегуды Шварца.

– Чего тебе, Тази? – спросил Бухта, мрачный от своих мыслей о сержанте и туалете.

– Бухта, я тебя хочу попросить, – жалобно улыбнулся рядовой Таз. – То есть Бухта, я тебя у ж е прошу. Застрели меня, а?

Рядовой Бен-Рахман имел массу достоинств, но не имел чувства юмора. Поэтому его реакция на просьбу коллеги по базе была проста и незамысловата. Будь рядовой Бухта Бен-Рахман служащим российской армии, он бы наверняка использовал пару однокоренных слов, и послал бы Хези Таза туда, откуда (или с помощью чего) рядовой Таз в своё время появился на свет. Но Авирам Бухта родился в Израиле, его родители в пятидесятых годах переселились в Страну Обетованную из Марокко, поэтому запас ругательства Бухты, даже и на иврите, был невелик. Любой мало-мальски грамотный российский школьник за пять минут обошел бы его на пятьдесят очков – но рядового Бен-Рахмана это нисколько не смущало, еще и потому, что в данный момент его в жизни интересовали всего две вещи: немый туалет и сержант Иегуда Шварц. Причем оба в отрицательном смысле. К рядовому Хези Тазу Бухта относился вполне хорошо, поэтому в данный момент своей жизни рядовой Бухта Бен-Рахман рядовым Хези Тазом не интересовался.

– Хези, – сказал Бухта мрачно, вернувшись к недрам собственного носа, – Хези, иди трахаться.

Следует уточнить, что в роте, находящейся под ведомством сержанта Иегуды Шварца, посылать солдат идти трахаться было весьма популярным занятием. Сержант Шварц занимался этим с утра до вечера, причем, к сожалению для всех, глагол «трахаться» он употреблял исключительно в переносном смысле. Он посылал своих солдат идти трахаться, когда они жаловались на усталость, когда им не нравился распорядок дня, когда они просили внеочередные отпуска или послабления в режиме – в общем, в любой момент, когда сержант Шварц не был расположен идти навстречу роте. Рота не обольщалась и абсолютно верно понимала своего командира. Точно так же верно понял рядового Бухту Хези Таз.

– Нет, Бухта, ты послушай, – заторопился он, невесомо оседая рядом с огромным Бен-Рахманом, – ты послушай, я тебе серьезно говорю. Ты думаешь, я шучу, а я не шучу. Застрели меня, Бухта, я тебя очень прошу. Ну что тебе стоит? Застрели, а!

Судя по виду рядового Бен-Рахмана, глагол «думать» Хези Таз применил зря. Те два раза в жизни, когда Бухте Бен-Рахману приходилось совершать это непростое действие, он потом долго вспоминал с неудовольствием. Поэтому он поднял голову, изобразил в сторону собеседника жест, означающий отсутствие настроения для разговора, и повторил:

– Хези, иди трахаться. Тебе весело и у тебя есть время. А мне надо мыть этот сраный туалет, и успеть до обеда, потому что иначе этот сраный сержант снимет с меня мою сраную шкуру.

– Бухта, я помогу тебе вымыть туалет! – самоотверженно предложил Иехезкель Таз, вскакивая и закатывая рукава. – Я помогу тебе вымыть туалет, а ты меня за это застрелишь. Идёт?

Когда Хези взялся за лежащую неподалёку тряпку, Бухта Бен-Рахман наконец понял, что от него чего-то хотят. Он с сожалением вынул палец из правой ноздри, почесал шею, и встал на ноги. Шустрый Хези Таз уже всю размахивал тряпкой по полу. Бухта огляделся, обнаружил неподалёку от себя вторую тряпку, подтянул её ногой, крикнул и присоединился к развлечению. Минут пять они споро мыли пол туалета с двух сторон, попеременно сгоняя ручейки грязной воды к стоку в левом углу. Через пять минут Хези заговорил.

– Бухта, я всё продумал, так что ты не сердись, а дай мне сказать. Тебе командир Иегуда уже давно жизни не даёт, я же вижу. Он скорей удавится, чем даст тебе перейти на какую-нибудь приличную базу, а тут он тебя доведёт, это точно.

– Это точно! – уныло согласился Бухта Бен-Рахман, искренней болью отзываясь на последнюю фразу.

– А я всё продумал, и всем будет хорошо, – продолжал Хези Таз. – Ты меня застрелишь, а разыграем мы это, как несчастный случай. Больше полутора лет тебе не дадут, причем тюрьма будет армейская, а не гражданская, так что особой разницы с владениями командира Иегуды ты и не заметишь. Правда, срок отсидки вычитают из срока службы, но ты можешь попросить смягчения условий, подать просьбу, туда-сюда, обычно после тюрьмы людей с тяжелым характером из армии вообще отпускают – а у тебя ведь тяжелый характер, скажи?

– Тяжелый, – мрачно подтвердил Бен-Рахман, терзая тряпкой пол.

– Ну вот, – обрадовался Хези, – я же и говорю. Тебе еще служить два года, а так мы получаем полтора, минус Иегуда Шварц, плюс почти гарантированная демобилизация. Тебе же лучше, Бухта, я точно говорю.

Бухта Бен-Рахман сменил тряпку, домыл два унитаза из левого угла и перешёл к двум центральным унитазам. Он долго хмурил брови, клял себя за решение появиться на свет, а вместе с собой – и невыносимо болтливого Хези Таза, но в результате сумел собрать мысли в кучу и сформулировал тот вопрос, который беспокоил его с самого начала разговора.

– Тази, – спросил рядовой Бен-Рахман, – Тази, а почему ты хочешь, чтобы я тебя застрелил?

– Не могу больше жить, – грустно признался Хези, неожиданно бросая тряпку и опускаясь прямо на влажный пол. – Сил моих нет.

– Ты чего, больной? – осведомился Бухта, выливая в унитаз дополнительную порцию моющего средства, – может, тебе к врачу?

– Да нет, Бухта, зачем мне к врачу, – грустно отозвался Хези, ногтем отскребая какое-то малозаметное пятнышко на туалетном полу, – я здоровый.

– А если здоровый, чего голову морочишь? – не понял Бен-Рахман.

– Душа болит, – сообщил грустный Хези Таз.

Рядовой Авирам Бен-Рахман твёрдо знал, что такое «душа». Что такое «душа болит», рядовой Бен-Рахман знал уже не очень твёрдо, и не потому, что его собственная душа никогда не болела, а потому, что он редко давал столь пышное наименование своему временами появляющемуся плохому настроению и желанию кого-нибудь избить. Но рядовой Авирам Бен-Рахман обладал добрым сердцем, и испытывал смутное беспокойство, когда окружающим его людям было плохо.

– А чего она у тебя болит? – спросил он, намыливая раковину.

– Кармела меня не любит, – доходчиво объяснил ему Хези Таз.

– А... – отреагировал Бухта Бен-Рахман, и продолжил намыливать раковину.

Кто такая Кармела, знала вся база. Кармела была бессменной подружкой, безумной страстью и единственной настоящей любовью трепетной души Иехезкеля Таза. Каждый вечер, независимо от погоды, усталости и состава слушателей, Хези Таз разговаривал по телефону с Кармелой. Он орал на неё грубыми словами, параллельно осыпая такими нежностями, от которых у окружающих слушателей – простых рядовых Армии Обороны Израиля – краснели уши. Он выяснял с ней отношения часами, столько, сколько позволял распорядок дня и еще кучу времени сверх этого, под одеялом тайком. Он писал ей письма и каждый день отправлял их с армейской почтой. Он ссорился со своей Кармелой по десять раз на дню, и по десять раз в день мирился. Он прожужжал её именем уши всем служащим базы, кроме разве что командира Иегуды Шварца.

Раз в три недели, по выходным, Кармела приезжала навеситить своего Хези. Она проходила через всю территорию базы, высокая, большегрудая, с пышными ярко-черными волосами и малиновыми губами наперевес, звеня на ходу сережками, браслетами и негодованием. Свои претензии к любимому она начинала высказывать уже с порога его комнаты – общей, следует заметить, с семью рядовыми, и смежной с еще пятьюдесятью четырьмя рядовыми. Кармела была вечно чем-нибудь недовольна, при этом одно появление Хези вызывало у неё улыбку на губах, которую она смачно вlepпляла в любимого. Поцеловавшись, Кармела и Хези уходили из общей комнаты куда-нибудь в кусты, не переставая выяснять отношения на ходу. Подробности этих отношений при желании могла бы знать не только вся Хезина база, но и две соседних, но никто из них не понимал и не желал понимать нюансы сложной любви страстной парочки. Запутанные извилины и изгибы их взаимных упрёков, комплиментов и признаний мог при желании, наверное, понять разве что сержант Иегуда Шварц, в своё время с отличием окончивший сержантские курсы, но именно от него Кармела с Хези старательно прятались, дабы не навлекать.

Раз в месяц, когда солдат отпускали на выходные домой, Хези уезжал с мечтательной улыбкой на устах, а возвращался обычно

с синяком под глазом. Знающие люди говорили, что один синяк под глазом – это ерунда, потому что Кармела после таких выходных обычно щеголяла с двумя.

Все эти ценные сведения прекрасно знал и помнил Бухта Бен-Рахман, поэтому он не спросил, кто такая Кармела. Он только позволил себе внеочередное мыслительное усилие, и уточнил:

– А почему ты решил, что Кармела тебя не любит?

В этом месте Хези Таз стукнулся лбом о немытую пока еще стену и зарыдал. Авирам Бен-Рахман посмотрел на его рыдания, вынул из кармана пачку сигарет и протянул фигуре у стены. Хези, не прекращая рыдать, взял сигарету и закурил. Бухта отобрал назад свою пачку, тоже закурил и грузно сел к стене рядом с Хези.

– Звонит редко, раз! – перечислял тем временем Таз между затылками и слезами, – когда звонит, о любви ничего не говорит, два! Когда я говорю о любви, недовольно морщится, три!!!

– Откуда ты знаешь, что она морщится – по телефону? – проявил неджентельную смекалку Бен-Рахман.

– Я чувствую, Бухта! Чув-ствую! – зашелся в рыданиях Хези. – Она меня больше не любит, Бухта, я тебе говорю, она меня разлюбила! У неё тон другой, у неё интонации другие, она в прошлый вторник сказала «целую» только два раза – здороваясь и прощаясь, а больше «целую» она не сказала ни разу, Бухта!

Бухта Бен-Рахман не был большим знатоком человеческой психики. Но он неоднократно видел Кармелу, а также (как и вся база) знал про неё всё от Хези Таза. Бухта Бен-Рахман не был большим знатоком человеческой психики, но он был стопроцентно убеждён, что если кто-то в целом мире и любит Хези, то это его ненормальная подружка.

– Хези, – сказал Бухта, стараясь сформулировать своё знание, не тратя слишком много энергии на слова, – Хези, ты дебил.

– Я знаю, – печально откликнулся Хези.

– Хези, она тебя любит, – выдал Бухта вторую мысль, затягиваясь очередной сигаретой.

– Не любит, – отказался Хези. – Если бы любила, вела бы себя иначе.

– Но, Хези, – откликнулся удивлённый Бен-Рахман, – откуда ты знаешь, как БЫ она себя вела?

– Если бы она меня любила, – мечтательно протянул Хези, – она бы вела себя так, чтобы я это понимал.

Если бы рядовой Бен-Рахман обладал хотя бы десятой долей красноречия своего собеседника, он бы спросил Хези, как может быть, что он не понимает того, что прекрасно понимает вся его база и две соседних. Но Бухта не был оратором. Поэтому он пожал плечами и повторил:

– Ты дебил, Хези.

– Я знаю, – повторно согласился Хези. – Но если Кармела меня не любит, мне незачем жить. Мне так больно, Бухта, так больно, что мне каждую секунду хочется умереть, лишь бы перестало болеть.

– А спросить её ты не можешь? – осенило Бухту, который любил простые решения. – Спросить Кармелу?

– Что спросить, любит ли она меня?

– Ну да.

– Пробовал. Вчера ночью. Сказала, что любит. Десять раз сказала, что любит. А потом, к концу разговора, перестала говорить.

Хези всхлипнул.

Рядовой Бен-Рахман подозревал, что если бы его заставили десять раз повторить, что он любит, скажем, баранину на углях, то на одиннадцатый раз он бы любил баранину на углях сильно меньше. По крайней мере, был бы сильно меньше расположен говорить об этом вслух.

– Хези, – сказал он, собирая последние остатки сил и вставая, чтобы довершить вымывание сияющего уже туалета, – Хези, ты тупой. Ты тупой идиот, Хези, и я не буду в тебя стрелять. Если тебе очень нужно, застрели себя сам. Оружие у нас тут у всех есть – в чем проблема?

– Сам я не могу, – уныло отозвался Хези, – мне страшно... Кроме того, говорят, когда сам в себя стреляешь из автомата, могут быть всякие неприятности. Дёрнешься не вовремя, попадётся не туда, останешься калекой – а я хочу, чтоб наверняка. А тебе я покажу точно, куда стрелять, ты не думай, я знаю, я в школе биологию учил.

Авирам Бен-Рахман не учил биологию в школе. В районной школе города Офаким, где он получал своё весьма неполное среднее образование, было очень мало обязательных предметов, и биология в их число не входила. Кроме того, Авирам Бен-Рахман не хотел ни в кого стрелять. То есть, если бы ему предоставили полную свободу действий, он бы подумал, не застрелить ли ему командира Иегуду Шварца – но перспектива даже и полутора лет тюрьмы против двух на базе ему почему-то не нравилась.

– Всё, Хези, – сказал он, выжимая тряпку. – Ты мне классно помог, спасибо тебе большое, а теперь пошли отсюда вон, я сдам эту сраную работу этому сраному командиру и пойдём обедать.

– Я не хочу обедать, – грустно сказал Хези, – я хочу, чтобы ты сдержал своё обещание. Мы же договорились, помнишь? Мы договорились, что я помогу тебе мыть туалет, а ты за это меня застрелишь. Разве не так?

– Не так, – убежденно сказал Бухта Бен-Рахман, моя руки под краном. – Ты предложил мне договориться, но я не согласился. Я всё понимаю, Хези, но ты debil, и я не хочу в тюрьму. Иди трахаться и оставь меня в покое.

На самом деле, рядовой Авирам Бен-Рахман отказывал своему боевому товарищу в можно сказать последней просьбе не только и не столько потому, что боялся тюрьмы. Настоящая причина крылась глубже: дело в том, что у Бухты была мама. Эта мама, коричневого цвета еврейка из Марокко, ходившая пятьдесят лет подряд в одном и том же черном головном платке и неиз-

менном цветастом платье, и оравшая на своих семерых сыновей так, что в домах города Офакима дрожали стёкла, позаботилась о том, чтобы у её детей были четкие представления о том, что можно делать в мире, а чего нельзя. Будучи женщиной необразованной, зато религиозной, мама Бен-Рахман не изобретала собственных правил, а прибегла к десяти всем известным заповедям, взятым из той единственной книги, которую она прочла, и то не до конца, за всю свою жизнь. Дети Бен-Рахман дрались на улицах и хулиганили в школе, они плохо учились и все до одного в какой-то момент пробовали курить траву, но каждый из них точно знал, что за нарушения заповеди «не укради» мама лично придёт и оторвёт ему голову. Поэтому дети Бен-Рахман не воровали, никогда. С прелюбодейством было сложнее, потому что в городе Офаким бытовала слегка скорректированная версия соблюдения данной заповеди, но вот в чем Бухта был уверен точно, это что мама не одобрила бы нарушения заповеди «не убий». Более того, она была бы категорически против. С детства привыкнув считать железные правила своей мамы абсолютно неоспоримыми, Бухта в результате и сам явственно ощущал, что было бы неправильно взять и застрелить Хези Таза, пусть даже и по его собственной просьбе. Он не облакал свои мысли в слова, но точно знал, что стрелять в Хези не будет. Рядовой Бен-Рахман домыл руки, проследил за тем, как Хези аккуратно складывает в углу туалета тряпки, мыло и щетки, и молча вышел из туалета. За ним, уныло перебирая ногами, последовал рядовой Иехезкель Таз.

Следующие дни оказались насыщенными событиями сильно больше, чем этого бы хотелось Бухте Бен-Рахману. Каждый вечер Хези громко и надрывно выяснял свои сложные отношения с Кармелой, неизбежно приходя в результате к выводу, что она его не любит. Каждый вечер сержант Иегуда Шварц находил, что именно его не устраивает в несении срочной службы рядовым Бен-Рахманом. Каждый отбой Бухта встречал в каком-нибудь новом месте, которое ему предлагалось быстренько помыть. Каждый раз к нему туда приходил Хези Таз.

Через какое-то время они прекрасно спелись в плане уборки — работа делалась ими быстро и качественно. Хези, как выяснилось в процессе, был старшим братом при безмужней маме и двух младших братьях-близнецах, поэтому с детства приучился неплохо орудовать по хозяйству. Бухта был бы, наверное, вполне рад такой неожиданной помощи, если бы не одно обстоятельство: каждый раз, при каждой уборке, Хези неумоимо уговаривал себя застрелить. Он приводил различные доводы, рыдал, бился головой об стену, объяснял, почему Кармела его не любит, находил новые и новые тому причины и неизменно добавлял, что без любви Кармелы ему не жить. Бухта в какой-то момент перестал следить за новыми витками развития отношений странной парочки, он только тупо повторял, что стрелять ни в кого не будет, и раз от разу наливался бессильной злобой. В какой-то момент он понял, что Хези Таз ему смертельно надоел.

– А почему бы тебе не пойти попросить кого-нибудь другого? – спросил он как-то раз, в процессе покраски забора вокруг клуба. Хези красил забор вместе с ним, с обратной стороны, причем если голова Бухты сильно возвышалась над забором, то Хезина макушка терялась где-то на уровне третьей планки.

– Потому что никто другой не согласится! – с уверенностью произнёс Хези. – Я тебя знаю, ты человек мягкий. Тебя я, даст Бог, еще уговорю.

«А кроме меня дураков нет», – мысленно закончил фразу рядовой Бен-Рахман, чьи умственные способности значительно развились в процессе общения с рядовым Тазом. В тот день он сильно опоздал на построение, поэтому после покраски ему предстояло бегать пять кругов вокруг того самого забора, который они красили вместе с Хези.

Поздно ночью отбегавший своё Бен-Рахман наконец забылся тяжелым сном, а Хези Таз закончил очередной подпольный разговор по телефону. Он немного порыдал в подушку, после чего решительно встал, повернулся к соседней койке и потряс за ногу спавшего там Бухту.

– Бухта! Бу-у-хта! – прошептал он страшным шепотом, – Бухта, проснись! Проснись, Бухта, я больше не могу!

– А? Чего? Где? – встрепенулс Бухта, видевший во сне командира Иегуду Шварца, тонущего в идеально вымытом унитазе.

Перед ним, как печальная галлюцинация, стоял маленький встрёпанный Хези Таз.

– Бухта, – одними губами произнёс Хези Таз, – мы окончательно поругались. Она меня точно-точно не любит. Я больше уже ну никак не могу. Застрели меня, а?

Конечно, применение грубого физического насилия по отношению к своим товарищам по оружию – вещь недопустимая. Но Бухта Бен-Рахман в этот день очень устал, набегался, наскандалился с командиром, и поэтому был слегка не в себе. Он поднялся с кровати, придвинулся вплотную к маленькому Хези, размахнулся и с наслаждением дал ему в челюсть. Хези, будучи некрупным, но задиристым, немедленно ответил точным, впрочем, слабым ударом слева, после чего Бен-Рахман сел на него верхом и с блеском доказал преимущество уличного образования города Офаким над аккуратным аттестатом Реальной Гимназии Хайфы. Разнимал их прибежавший на шум сержант Иегуда Шварц.

В его кабинете горел свет, и мягкие тени падали на флаг, висящий на стене. Сержант Иегуда Шварц был доволен, как кот, поймавший мышь. Перед ним стоял огромный, тяжело дышащий Авирам Бен-Рахман, на плече которого буквально висел крошечный, избитый со всех сторон Иехезкель Таз. За драку, ясное дело, следовало наказать обоих. Но рядовой Бен-Рахман давно и неустанно раздражал командира Иегуду, поэтому командир Иегуда с наслаждением предвкушал, как он наконец-то отправит этого волосатого разгильдяя в армейскую тюрьму. Для начала – на двадцать восемь дней. А там посмотрим.

– Ну-с, – начал он сухо, стараясь не улыбаться, – Хези, тебя я тоже накажу. Но сначала объясни мне, за что он на тебя набросился.

– Он на меня?! – возмутился Хези, моментально отпав от плеча своего боевого друга и принимая максимально устойчивую позу, – да вы что, командир! Это не он на меня, это я на него набросился!

– Чего? – не понял сержант Шварц, – как это ты на него набросился?

– Очень просто! – с великолепным апломбом подтвердил Хези Таз, – я давно хотел его избить. И сегодня ночью понял, что больше не могу терпеть. Встал, разбудил и избил.

– И – ч т о? – переспросил сержант Шварц, разглядывая со всех сторон разукрашенного Хези, – что ты с ним сделал?

– Избил! – заявил Хези, лучезарно улыбаясь.

– Э-э-э... а за что ты его избил? – цепляясь за свою последнюю надежду, спросил командир Иегуда.

– А он меня давно раздражает, – с ангельским видом пояснил рядовой Иехезкель Таз.

С тем, что рядовой Бен-Рахман может раздражать кого угодно, сержант Шварц был вполне согласен. Но это был, конечно, не повод прощать драку в роте.

– Это правда? – спросил сержант у молчаливо стоящего у стены абсолютно целого и невредимого Бен-Рахмана, которого только что зверски избил весь покрытый синяками и ушибами Хези Таз.

В ответ на это Бухта сдавленно охнул. Сержант не мог этого заметить, но оханье произошло оттого, что в бок рядового Бухты вонзился худой и острый локоть Хези. Больше рядовой Бухта ничего не сказал. Сержант Шварц был вынужден принять его оханье за возглас смертельно избитого человека.

– Хорошо, – сказал он голосом, не сулящим никому и ничего хорошего, – тебя (он подбородком брезгливо указал на Хези) мы будем судить. А ты – тут кивок достался Бухте – можешь прямо завтра с утра начинать отмывать туалеты базы. Все. Начиная с самого дальнего. Спокойной ночи.

Суд, проведённый на следующий же день на скорую руку, приговорил рядового Иехезкеля Таза к двадцати восьми дням без права выхода с базы. Первые десять из этих двадцати восьми дней рядовой Таз был очень занят: он помогал рядовому Бен-Рахману мыть туалеты. Каждый день сержант Иегуда Шварц приходил принимать работу (Хези предусмотрительно сваливал подальше), и каждый день браковал её, требуя назавтра всё перебивать. На базе еще долго вспоминали эти блаженные дни, когда все туалеты просто сияли чистотой.

На одиннадцатый день рядовой сержант Шварц сломался и принял работу (по совету всезнающего Хези, Бен-Рахман на свои деньги купил в магазине рядом с базой какое-то особенно мощное моющее средство, поэтому туалеты уже не просто сияли, а прямо-таки светились от стерильности), после чего рядо-

вой Бен-Рахман был милостиво отпущен домой на выходные – вместе со всей базой. Вся база чистила ботинки, паковала грязное бельё и обсуждала планы на целых три с половиной дня. Единственным человеком, который ничего не паковал и ничего не чистил, был Хези Таз.

Он уныло сидел на раскалённой от солнца скамейке, и следил глазами, как один за другим уходят за ворота остальные солдаты. Все они были в курсе странной драки между Хези и Бухтой. Все они с симпатией относились к обоим. Все они махали Хези рукой и желали приятных выходных. Все они знали, что понятия «приятные выходные» при условии двадцати восьми дней без права выхода с базы просто не существует.

Через какое-то время поток солдат иссяк, и база опустела. Хези по-прежнему сидел на скамейке, и думал о том, что если бы его кто-нибудь уже, черт побери, застрелил, ему бы уже, черт побери, давно было полегче. Солнце клонилось к закату, тишина опустилась на казармы и крыши, дежурный по кухне, пробегая, напомнил Хези, что его смена начинается через три часа, и больше никто не колебал воздух вокруг. Три часа надо было хоть чем-нибудь занять. Три часа занять было нечем. Можно было поспать, но на душе было так паршиво, что спать не хотелось.

В этот момент скамейка рядом с Хези закрипела, и чья-то тень упала на опущенные плечи рядового Таза. Хези поднял голову и увидел, что рядом с ним тяжело уселся Авирам Бен-Рахман.

– Ты что тут делаешь? – спросил Хези без выражения.

– Ничего, – честно ответил Бухта.

– А почему ты не дома? – спросил Хези.

– А ты? – ответил Бухта вопросом на вопрос.

Хези понял и больше вопросов не задавал. Бухта сидел, откинувшись на спинку скамейки, и курил. Хези подумал, пошарил по карманам, нашел пачку сигарет и закурил тоже.

– Бухта! – просительно сказал он через какое-то время.

– Не-а, – лениво откликнулся Бухта, не дожидаясь продолжения фразы.

Они посидели молча еще немного, после чего Бухта вспомнил, что вечером будет транслироваться неплохой баскетбольный матч, а в клубе наконец-то починили телевизор. Хези очень любил баскетбол, поэтому он не мог не отреагировать положительно. Поговорили про баскетбол, перекинулись на футбол, перемыли косточки новой подруге полузащитника команды Маккаби, сравнили впечатления от последней игры. Хези постепенно увлекся и беседовал почти с удовольствием – но вдруг неожиданно подавился собственными словами и замер. Бухта не сразу, но заметил, что его собеседник стих и как замороженный, не отрываясь, глядит на главные ворота базы. Авирам оторвался от ковыряния в собственном носу и поднял глаза.

От ворот, по центральной дорожке, яростно размахивая сумочкой и звучно цокая каблуками, шла Кармела.

Михаил Книжник
САМАЯ МАЛОСТЬ

ПЕСЕНКИ ДЛЯ НИКОГО

1. Крутится-вертится

Улица Курская, дом 23.
Вот уже ёкнуло что-то внутри,
Вот уже ёкнуло, оборвалось.
Как ты боялся, так и сбылось.

Как ты боялся, так и сбылось —
Мертвые рядышком, прочие врозь.
Что же печалиться, плюнь, разотри...
Улица Курская, дом 23.

1990

2. Эвейну

Гляди, осталось немного,
ну, что ты плачешь ей-богу,
осталось только в дорогу,
осталось вещи сложить.
Вещей тех самая малость
гляди, немного осталось,
совсем немного осталось,
разложим вещи,
будем,
будем, будем жить.

1995

* * *

Вот пойдя, Расскажи, как было.
Жили-были и пили-пели?
Помнишь, как по утрам знобило,
если спал не в своей постели,

и всю ночь приبلудный терновник
всё царапал стекло иглою.
Своих будущих вин виновник
Дни сравнил с зернистой икрою.
Сладко-солон, слит и отделен
Каждый день был другого зернистей.
Как портреты со стен глядели?
С укоризною? С укоризной.
Мол, смотри, а начали чинно,
Чай, варенье из желтых черешен.
Как ты счастлив был, дурачина,
Молод, глуп, невиновен, грешен.

1992

ЭПИТАФИЯ

Он принял жизнь как рукопашный бой.
Куда Иакову, тот бился до рассвета,
А он из года в год и без просвета –
Со временем и с местом, и с судьбой.

Он на удар ударом отвечал,
Хоть, в общем-то, и не был иудеем
И жизнь не подчинял свою идеям.
Зла не чинил. Ну... сам не начинал.

Его будильник зорю проиграл,
Он скреб лицо опаснейшею бритвой,
В атаку, без ура. Он эту битву
Не выиграл, но и не проиграл.

2004-05

Дан Орьян
ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА ТОМА

ИЕРУСАЛИМ, ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 2002 ГОДА

Тому было тогда восемь лет, и он очень любил ездить к дедушке и бабушке в Иерусалим – поваляться с дедушкой Тедди на большом коричневом ковре в гостиной, сразиться с ним в шашки, поиграть вместе на компьютере. Любил послушать, как дедушка рассказывает всякие забавные истории «из зала суда» (дедушка у Тома адвокат), или как читает ему. Том в особенности любил книгу про праздники.

Приезжать к деду каждую неделю, как это делают многие из вас, Том не мог – его родители в то время были представителями Израиля в России, и он вместе с ними и младшим братом Надавом жил в Москве, а бабушка и дедушка оставались в Иерусалиме. Так что Тому удавалось бывать у них гораздо реже, чем ему хотелось бы.

В то лето Тому особенно повезло: дедушка разрешил ему играть своей волшебной палочкой и даже научил, как делать с нею всякие замечательные чудеса. Известно, что некоторые дети вообще не верят в такие вещи – в чудеса и волшебные заклинания.

Честно признаться, Том вначале тоже не был уверен, что дедушкина волшебная палочка сумеет выполнить то, о чем он ее попросит.

Но дедушка Тедди не сомневался в успехе. Он поднял волшебную палочку высоко над головой (внутри у нее засверкали всякие цветные искорки) и сказал:

– Сейчас мы с тобой совершим особенное, необыкновенное чудо!

– Какое, например? – поинтересовался Том.

– Например, посмотрим, сможет ли волшебная палочка устроить так, чтобы под подушкой на диване появился леденец на палочке.

– Что ж, прекрасная идея, – одобрил Том.

И они принялись за дело – дедушка сжимал волшебную палочку в своей огромной руке, а Том залез на стул и своей не такой уж огромной рукой стал сжимать изо всех сил огромную руку деда.

И вместе они размахивали волшебной палочкой направо и налево, и вообще во все стороны, и дедушка сказал таким особенным голосом:

– Волшебная палочка, волшебная палочка, сделай так, чтобы под подушкой на диване для Тома появился леденец на па-

лочке! Фокус-покус! – а потом помолчал и добавил своим обычным голосом: – Давай посмотрим...

Том спрыгнул со стула и в некотором сомнении приблизился к дивану. Он вовсе не был уверен, что найдет под подушкой леденец на палочке. Он осторожно взял подушку за краешки, а потом рывком поднял в воздух. И что вы думаете? Под подушкой действительно оказался самый настоящий леденец на палочке – розового цвета.

– Получилось! – выдохнул Том с восторгом. – Давай попросим ее еще раз!

– Еще раз? – задумался дедушка. – Что ж, вообще-то, прекрасная идея...

– Давай, дедушка, давай сделаем еще раз! – поторапливал Том. А чтобы дедушка не подумал, что он жадничает, прибавил: – Для Надава.

– Хорошо, – сказал дедушка, – только теперь пускай волшебная палочка устроит леденец под этой подушкой. – И показал, под какой, – подошел к дивану и похлопал по той подушке, которая лежала в другом углу дивана.

Тому было не так уж важно, под какой именно подушкой окажется леденец. Они еще раз подняли вверх волшебную палочку, вместе помахали ею направо и налево и во все стороны, и Том сам сказал таким особенным голосом:

– Волшебная палочка, волшебная палочка, сделай так, чтобы на диване оказался леденец на палочке для моего брата Надава!

– Не забудь «фокус-покус»! – напомнил дед.

– Фокус-покус! Давай посмотрим...

– погоди, погоди, – остановил его дедушка. – Ты забыл сказать: «Под подушкой».

Том набрал в легкие много-много воздуха и повторил все с начала:

– Волшебная палочка, волшебная палочка, сделай так, чтобы под подушкой на диване оказался леденец на палочке для моего брата Надава! – Выдохнул оставшийся воздух: – Уф! – и прибавил: – Фокус-покус!

– Фокус-покус! – поддержал его просьбу дедушка.

Том подбежал к дивану, перевернул подушку и нашел под ней еще один леденец на палочке – на этот раз желтый.

– Молодец, волшебная палочка! – похвалил Том, протянул леденец Надаву и сказал: – Видишь, какой я волшебник?

Теперь каждый вечер, после того, как они с дедушкой гуляли и играли, а потом все вместе ужинали, и разумеется, после того, как Том чистил перед сном зубы, волшебная палочка совершала для него всякие чудеса.

К великому удивлению мамы и папы, бабушки и Надава, да и самого Тома, оказалось, что она умеет делать не только леденцы, но и свистки, наклейки с Дональдом Даком, цветные фломастеры и многие другие полезные вещи.

А в самый последний день, когда Том и Надав уже должны были возвращаться в Москву, она приготовила для них диски с компьютерными играми на иврите.

Такого Том даже представить себе не мог – чтобы волшебная палочка разбиралась в дисках с компьютерными играми и могла выбрать из них те, которые на иврите! Он ведь просто попросил какой-нибудь сюрприз на память – перед тем, как уедет в Москву. Волшебная палочка сама, совершенно самостоятельно догадалась, какой сюрприз порадует Тома больше всего.

И тогда, после этой необыкновенной удачи, Том спросил у дедушки осторожно:

– Дедушка, а можно я возьму твою волшебную палочку с собой в Москву?

– Хм... – сказал дедушка. – Что ж, я готов отдать ее тебе, но, видишь ли... Я не уверен, что она будет исполнять твои желания и в России. Ты ведь знаешь, что у каждой волшебной палочки, впрочем, как и у каждой феи, есть... Как бы это сказать? Определенный район влияния. За пределами которого она утрачивает свою магическую силу. Но может быть, папа сумеет помочь нам... Понимаешь, для того, чтобы волшебство удалось, необходимо, чтобы в нем участвовал кто-нибудь из взрослых.

Том сразу же побежал к папе и сказал:

– Папа! Дедушка готов отдать нам свою волшебную палочку насовсем, чтобы мы увезли ее в Москву, если ты согласен, чтобы мы делали там чудеса вместе.

– Не знаю, не знаю, – сказал папа, – я не уверен, что дедушкина волшебная палочка станет меня слушаться...

– Станет! – заверил Том. – Я научился, как с ней разговаривать.

Действительно, после того, как они с дедушкой совершили столько всяких чудес, у Тома накопился в этом деле солидный опыт.

– В общем-то, это просто, – объяснил Том. – Нужно сказать волшебной палочке, что мне хочется, и прибавить «фокус-покус».

– Да, – сказал папа, – не так уж сложно. Что ж, я готов попробовать.

Том аккуратно завернул волшебную палочку сначала в бумагу, а потом в пластиковый пакет, чтобы по дороге в Москву с ней ничего не случилось. Мама и бабушка предложили упаковать ее в чемодан вместе с другими игрушками – как будто волшебная палочка это игрушка! – но Том, разумеется, отказался. Вот еще!

– Это не игрушка, – объяснил он, – это очень-очень особенная волшебная палочка, она не хочет лежать в багаже, она полетит вместе со мной в самолете.

В МОСКВЕ ПОСЛЕ КАНИКУЛ

Когда самолет приземлился в московском аэропорту, Том ощупал пакет и убедился, что волшебная палочка на месте. Всю дорогу он волновался, как бы она не исчезла – возьмет вдруг и сама собой исчезнет, не захочет жить в России. И потом, когда шофер Саша вез их из аэропорта домой, то есть в ту квартиру, в которой они жили в Москве, Том ни на минуту не выпускал пакет из рук.

– Что это у тебя там? – спросил Саша по-русски.

– Ничего! – ответил Том.

Не хватало только, чтобы кто-нибудь выведал его секрет!

Вечером, после того, как все поужинали, Том вынул волшебную палочку из пакета и сказал папе:

– Сейчас мы с тобой должны сделать особенное чудо!

– Какое? – спросил папа.

– Пускай на диване под подушкой появится зеленый леденец на палочке – для меня. А для Надава – желтый.

– Погоди, погоди, – сказал папа, – не так быстро. Я боюсь, что волшебная палочка еще не успела как следует отдохнуть с дороги.

Ну, это, конечно, звучало несерьезно: если Том прекрасно успел отдохнуть с дороги, то и палочка тоже наверняка успела. Том и так проявил невероятную выдержку, отложив это дело до позднего вечера.

– Не волнуйся, – успокоил он папу. – Я с ней знаком, она отдохнула.

Он встал перед диваном и сказал особенным голосом:

– Волшебная палочка, волшебная палочка, сделай так, чтобы под подушкой на диване для меня оказался леденец зеленого цвета!

Потом подошел к дивану, поднял подушку и... Никакого леденца там не было – ни на палочке, ни даже самого обыкновенного.

Том чуть не заплакал.

– Я же сказал тебе, что волшебная палочка еще не успела отдохнуть после полета, – вздохнул папа.

– Она испортилась! – объявил Надав.

Вы не представляете себе, как Том расстроился. Неужели волшебная палочка действительно утратила свою магическую силу? Неужели она умеет творить чудеса только в Израиле? А Москва, как предупреждал дедушка, не входит в район ее влияния...

И так, очень печальный и даже сердитый, Том пошел спать. Уже лежа в постели, он решил, что завтра с утра попросит папу позвонить дедушке по телефону и посоветоваться с ним. Может, дедушка знает что-то такое... Пусть он объяснит папе, как уговорить волшебную палочку устраивать чудеса и в Москве... Эта надежда немного утешила Тома, и он уснул.

Целый день папы не было дома – после отпуска у него накопилось очень много дел на работе. Поэтому Тому опять пришлось дожидаться позднего вечера. Зато вечером папа пришел и сказал:

– Я поговорил с дедушкой, и он мне все объяснил. Теперь, я думаю, чудо получится. Только сначала поужинаем, а то я очень голодный.

Том очень обрадовался этому сообщению: он был уверен, что если дедушка все объяснил папе, то волшебная палочка обязательно, обязательно послушается!

– Во-первых, – сказал папа после ужина, – нужно, чтобы мы вместе держали палочку.

«Правда, – подумал Том, – ведь мы с дедушкой всегда держали ее вместе».

И они взялись за палочку вдвоем – папа сжимал ее в своей большой руке, а Том влез на стул и своей не такой уж большой рукой сжимал изо всех сил папину большую руку. И вместе они размахивали волшебной палочкой направо и налево, и вообще во все стороны, и Том сказал таким особенным голосом:

– Волшебная палочка, волшебная палочка, сделай так, чтобы под подушкой на диване для меня оказался леденец на палочке!

– Минуточку, минуточку, – остановил его папа. – Не спеши, это не так просто, как тебе кажется... В России леденцы на палочке совсем не такие послушные, как в Израиле. И вообще... Давай лучше попросим, чтобы она сделала для тебя жвачку.

«Хорошо, – решил Том, – если ей проще сделать жвачку, пусть будет жвачка».

Они с папой опять помахали волшебной палочкой направо и налево и во все стороны, и Том сказал:

– Волшебная палочка, волшебная палочка, сделай так, чтобы под подушкой на диване для меня оказалась жвачка! – и не забыл прибавить: – Фокус-покус!

Он спрыгнул со стула и потихоньку-потихоньку, на цыпочках, подошел к дивану. Он очень боялся, что фокус опять не удастся. Но нет – под подушкой оказалась целая пачка замечательной лимонной жвачки! Как раз такой, которую Том больше всего любит. Том очень-очень обрадовался – и от того, что получил жвачку, но еще больше от того, что волшебная палочка сумела выполнить его просьбу и в Москве. Значит, Москва тоже входит в район ее влияния!

Потом они с папой повторили все еще раз и получили жвачку для Надава – земляничную. Как раз такую, которую Надав больше всего любит.

Том хотел попросить палочку совершить еще какое-нибудь чудо – просто так, чтобы убедиться, что она может выполнить все, о чем он мечтает, но папа сказал:

– Нет, мне кажется, на сегодняшний день довольно. Не будем утомлять ее. Все хорошо в меру. Она может испортиться

от излишнего напряжения, и тогда придется отправлять ее в Иерусалим в починку, и кто знает, сколько времени это займет, и сумеют ли вообще ее починить...

Том подумал и согласился, что действительно, такая опасность существует. Не нужно жадничать. Главное, чтобы волшебная палочка была в порядке и действовала в России, а тогда он сможет долго-долго, всю зиму, просить ее о чем угодно.

– Хорошо, – сказал он. – Спасибо, папа, что ты позвонил дедушке и все узнал. Мы будем делать чудеса каждый день, правда?

– Я думаю, что да, – ответил папа. – Если только меня не задержат на работе.

А когда мама пришла поцеловать Тома перед сном, он сказал ей:

– Мама, я должен открыть тебе что-то. Одну важную вещь. Не думай, я знаю, что волшебная палочка не на самом деле сделала жвачку для меня и Надава. Это папа сам положил ее под подушку. Но ты не говори ему, что я знаю. Пускай он думает, что я верю, как будто это волшебная палочка. Все равно, во-первых, хорошо получать подарки. А во-вторых, ведь правда, папе нравится думать, что я верю, будто это волшебная палочка?

– Правда, – сказала мама. – Я ничего не скажу ему. – Она поцеловала Тома и прибавила: – Ты славный мальчик. Просто замечательный!

Перевела с иврита Светлана Шенбрунн

Дмитрий Байдак

ИЗ КНИГИ «ЗЕМЛЯ ПЛВЕРДА»

* * *

ветра холодное пламя
бьется в балконные двери
на подоконнике мокрым
тихо алоэ скрипит
август себя превзошедши
морщится в дикой стране
в комнатах тесных квартир
лепит свое отраженье
серый спасительный свет
жданного этого дня
ссохшейся корочки века
той что нудит расчесать
не отпадает и ноет
он как и прежние дни
в тексте теперь закольцован

* * *

деревянный венок
суеверия свечный огарок
опреснок и чеснок
проплывают под лодочкой арок

туберозы смятенье
в простенке шуршащего эха
мелкотемье гуденье
щемящее вокруг человека

лепестки тубероз
опрометчивый сетчатый глетчер
над домами возрос
добрый вечер ему добрый вечер

истончения ложь
дай законы твои я нарушу
а иначе склюёшь
ты по зернышку дочиста душу

* * *

новорожденный текст-щенок
увы не тонет в унитазе
и сука воет в голове
ее любовь проста как вымя
тоска бурятская потоп
несет байдарку гильгамеша
по смеси мутных apprehend'ов
возникших в личной толщине
проречий густоотделений
желёз набухших там где пульс
мерзее морзе парный стон
те двое разом выделяют
из множества возможных зву
и их щенок бежит за мной
каким-то черт гвадалквивиром
но только молча как ручной

* * *

о чем бишь говорили мы в машине
деревья вроде ив перегибались
над бетонной чтобы заглянуть
нам в лица и отпрянуть позади
а мы – мы говорили о дорожном
покрытии о ценах на бензин
налогах и вот этой тремпиаде
которую недавно террорист
атаковал своим автомобилем
его направив на солдат

деревья
однако слышали иной наш разговор:

– ты знаешь надвигается война –
да-да война я помню что же делать –
нам может быть придется умереть
и смерть видна за этими горами
в который раз уже но ты подумай
стихи какие можно написать
о ней и мы напишем их пусть даже
ее увидев – это невозможно –
возможно и свершилось мы мертвы
мертвы давно смотри на этой трассе
мы никого еще не обогнали

не встретили – я только что заметил:
понятны мне деревьев голоса
но чья же смерть горит за горизонтом –
и это предстоит нам а сейчас
мы уезжаем друг мы уезжаем
записывая слова что еще помнишь
деревья видишь смотрят в лица нам
зачем же время вечности теряя

(уезжают)

* * *

вдоль по длинному-длинному месяцу
перетянута в неделях
пробирается ночь-ровесница
ошивается день-бездельник

я в тени ваших дат прекрасных
тополь-мельник и пальма-дева
на добычу лоскутья казан
и perpetuum оголтелый

день и ночь растирая в масло
пятки крепкие давят зиму
клокотание несогласных
слов что вот произносимы

* * *

птицы обступили стеклянную мглу
из рта тишины слышен запах гниения
премьер-министр качается с пятки
на носок
и обратно
руки в карманах брюк
рот его улыбается
сжатый в куриную жопку

люди стоят полукругом
зачем это труп на траве?
кто не может помочь – отвернитесь!

здесь мы все налицо для свободы
и каждый как сдавленный крик за стеной

* * *

был день пустой над тенерифом белым
истлевший пеплум встречный ветер мял
привстала боль и лижет неумело
цепочки зла протянутые в зал

медово-сладок сок на сочлененьях
не корочкой но пленкой на слуху
то молоточек трудится над тенью
то пленочка дрожит в глаза стиху

метогіum метаний полук сонных
и ящичков скользящих и стержней
сорбонной бонны сумасшедших гонок
нежнее немцев гоголя страшней

* * *

три дня луна не уменьшалась в небе
подряд три ночи
всходила с северо-востока
катилась медленно в зенит
и шлейф серебряных отточий
блестел как щит

три дня в конце израильского лета
аборигены гнули забастовку минфин кляня
луна в ответ на это распределяла пайку света
упрямства для

на третью ночь к двенадцати часам
когда колонна импортных «фантомов»
переползала переезд в Ашдоде
и поезду пришлось затормозить
луна решила хватит полнолуний

вошел в окно огромный богомол
и заломал ночницу на торшере
и черный лак урезанной луны
последнее что видела ночница
блестящими от ужаса глазами

Мария Макарова

ЛИНЕЙКА

Уже пятнадцать лет прошло с тех пор, как я на корточках срывала маленькие цветочки мать-и-мачеха на полянке за домом в районе Химки в Москве.

Уже десять лет прошло с тех пор, как я, завидев с балкона пастуха с овцами на маленьком красивом холме в Гило, вперережку скатывалась с лестницы третьего этажа и, радостно пыхтя, гладила овечек, фантазируя, что я нахожусь на руинах старинного околдованного дворца.

После этого для меня настали «темные времена», насыщенные телевизором, попытками убежать от самой себя и восстанием против родного и близкого.

Конечно, и в этой андраламусии было много чего позитивного, я просто вошла в мир и бросилась в него сломя голову, абсолютно забыв себя, и поэтому много чего изучила на своей шкуре. С детства «том-бой», я храбро отвечала на любой вызов судьбы, на любое рискованное предприятие.

У меня завелись хобби – бильярд и мотоциклы. После лёгкой автокатастрофы (по иронии, на машине) я как будто проснулась и немедленно начала действовать, а именно – рисовать...

Пять лет назад я переехала в Тель-Авив, ища полной независимости и новых приключений...

Цветы Тель-Авива – это люди... Этот пульсирующий город, полный людьми и всяческими развеселительными заведениями, сразу же напомнил мне пчелиные соты. Это пьянящее ощущение, брожение по ночному городу, когда все окна горят и народ снуёт туда-сюда, из кафе в ресторан, к друзьям или на работу, как в огромном «лего», наушники в ушах, по радио передают любимую песню и экстаз сменяется городской меланхолией... Кайф!

Днем пыльные улицы Южного Тель-Авива запружены машинами, контейнерами и трехколесными велосипедами, нагруженными разноцветными свертками полотен.

Бедный ослик, такой несчастный и в то же время живописный, медленно тащит одноглазого араба из Яффо и груды непонятного хлама. Одноглазый рупором зазывает купить старьё, ослик жалобно смотрит.

Всего лишь полгода назад я, усевшись на каменных ступенях близ побережья реки Варанасси (она же священный Ганг), рисовала стадо буйволов, купающихся в реке, и привлекала неустанный интерес любопытных индусов, которым все надо обязательно узнать.

Священные «бабы» (конечно, не русские бабы, с которыми мы так хорошо знакомы), входившие и выходившие из мутной грязной воды, в которой я за все это время разглядела два трупа, мирно плывущих по течению... Индийские женщины в цветных сари тоже купались, а также на берегу проводилась ручная стирка белья.

Стиралками в Индии служат мужчины. Это очень тяжелый физический труд. Худые как палка и жилистые фигуры отчаянно бьют мокрыми полотнами по мокрому камню, не разгибаясь совсем, так что уже трудно представить их в разогнутом состоянии, и промывают одежду в священной реке. Много прекрасных минут и приключений произошло со мной в этой сказочной стране Индии, и об этом в другой раз...

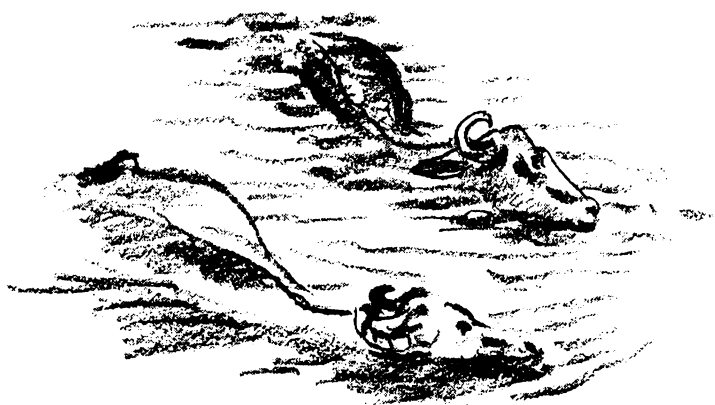
Сейчас сижу в одном из флорентинских маленьких кафешек, наслаждаюсь зимой, цветами и отличным кофе.











Федор Макаров

ИЗ ДНЕВНИКА

13.10.2002, Эйн-Карем

Особенно меня беспокоит область скульптуры и инсталляции. Это же сколько места все занимает!.. Особенно у нас, в нашей маленькой стране. Я когда учился здесь в школе для особенно разнообразных, очень был обеспокоен перегруженностью пространства. Поэтому очень редко что-то создавал. Тут, конечно, можно заметить, что это как с детьми, the more the merrier. Пихай свое. Дак нет, нужно непременно свободное пространство, все чтобы белое и нииникого. Вообще у меня давно в голове картинка сидит, видеоданс: человек в углу комнаты за столом лицом к стене и все белое, и он встает и танцует. А еще хочу сделать соло смешное под классическую музыку – это я и раньше хотел, а теперь увидел такую штуку у Казуо Оно, и сам захотел. Он там на редкость интересный, как папа мой. Между прочим, вот Казуо Оно – и серьезный, и смешной. Но сейчас, по-моему, уже не такой смешной. Вспоминаю его авангардные эксперименты в юности, вспоминаю «Лицедеев», вообще всякую юность чужую, и вижу, что нет во мне революционера. Но вообще, конечно, если правильно подобрать материал, можно наклепать революционный образ. Но это потом.

Машины уже некоторые ездят, и вдалеке идет черный человек со своей черной тенью вдоль белой стены. Вот и автобус прошипел как большой резиновый пылесос. Птицы уже разогрелись и поют без ошибок.

Все-таки это довольно идиотская идея – решить кто ты такой, то есть я, кто я такой. То есть, у всякой вещи есть какая-то идея, которая ее тащит, а если у меня такая идея, что я хочу знать, кто я такой, – это хорошо? Типа, ведь это все равно никому не нужно, кроме тебя. Другим нужно то, что ты им даешь, а твои собственные разборки, увы, нужны только тебе одному. (Увы? У-у-в-ы-ы?) Да, только тебе одному. То есть я могу, конечно, сейчас позвонить одной особе, ее как раз только что ребенок разбудил, и спросить, – что она думает, кто я такой, – или, вообще, развить кампанию и всем раздать анкеты. Осознание-то приходит и снаружи, и изнутри...

15.12.03, Вена

Господи позволь покривляться перед лицом твоим я есмь червь из черноты сотканный червь не боле но живой живой у меня есть сердце и нервы нет я не святой если кто думал ни-

чтожный жалкий но живой я Я услышь голос мой лишенный
кровя я лишенный чрева я позволь станцевать тебе среди ко-
робок среди хлама среди пустых тарелок в твоём новом кафе
среди чужой обуви позволь показать тебе как живет мой
взгляд нет как моя плоть живет я один морщусь от света на
твоём столе, один потираю ушибленное и улыбаюсь тебе,
один обтираю ножки столов твоих, нечистоты дня и ночи уби-
раю с глаз твоих, полощу тряпки грязные вдали от истинных
слуг твоих, ненавижу, да, ненавижу тебя за то, что ты не со
мною, забыл меня в подвалах своих, чтобы отдохновение при-
ходило ко мне во сне, с грязной тряпкой в руке, склонившись
головой на стол, среди окороков и туш убиенных тобой...

Будь проклят созданный тобой мир, ночлежка для утра-
тивших надежду, амбулаторий для одиноких, лишенных голо-
са. Каждый влачит колесо свое, изо дня в день, радуясь лишь
забвению. Вдоль коридоров, среди шумной толпы, по полям
прошлого гоним мы пустые плевелы, как змеиную шелуху. Вот
провод, вот кусок декорации, вот камень врытый в землю; вот
краешек ковра, вот семья сидит на ковре, но лиц не видно,
наверно, монголы; пьют чай из пиал, морщинами улыбаются и
голоса относит ветер; вот в расселине скалы девушка в сером
свитере согнувшись сидит со спины, наверно что-то выливает
на песок, остатки чая. Я буду краток, ведь я же червь, а черви
долго не живут – ровно столько, сколько надо, чтобы продол-
бить шедевральную норку и оставить на грязи красивый уни-
кальный росчерк. Затем я парашютист, спускаюсь в ваш до-
машний уют с небес через телевизор, как когда-то нечистый
залезал через печную трубу, рассказываю дамам сказки и об-
воровываю мужчин. На мою долю выпадает много приключе-
ний. Естественно, я путешествую инкогнито, и везде всегда
впервые – какая замечательная страна у вас, а какие глаза и
какие на них ресницы! О да, я с чрезвычайной легкостью ус-
воил ваш язык, я вообще с легкостью усваиваю любую пищу,
даже прах... Ну конечно, вам уютно со мною, и мне с вами то-
же неплохо, только давайте запустим ураган, вихрь, и будем
держаться друг за друга из последних сил! Что? Увы, я ничего
не слышу из-за шума, а теперь уже и не вижу ничего... метель!
Где-то там бродит Пушкин, бормочет себе под нос – темно и
не видно ничего, а между прочим, если копнуть поглубже, об-
наружится земля и прелые корни цвета хурмы, можно доко-
паться до котельной, отогреться, но он не ведает, бедняга,
что у него под ногами двадцать первый век, у него снежинки в
бакенбардах и звезды в голове, он должен сегодня придумать
стихи, которые мы все так любим, и вот, опершись на часто-
кол, он бормочет еще более возбужденно, потирает замерз-
шие руки в перчатках, и мы понимаем – he's got it. Тут же от-
крывается доселе невидимая дверь, девки в шитых красным
платьях несут пирог со свечами, поэту приходится есть на
улице стоя, мараť кремом пальцы...

29.3.4, Иерусалим

Я хочу быть бесстрашным – не бояться ни смерти, ни людей.

Почему я боюсь смерти? Потому что я боюсь отсутствия смысла.

Жизнь, воля к жизни, все, что мне так важно, вдруг исчезнет?

Тело, вся работа, все затраты ради него – увянет и умрет?

Зачем же мне дан выбор, уж лучше б я рос как дерево!

– А может, я и есть дерево?

Это сейчас мне кажется, что от меня все зависит, от моего упорства.

Возможно, все это – импульсы извне.

Страх един и всеобъемлющ, бояться смерти – то же, что бояться людей.

11.10.04, Нью-Йорк

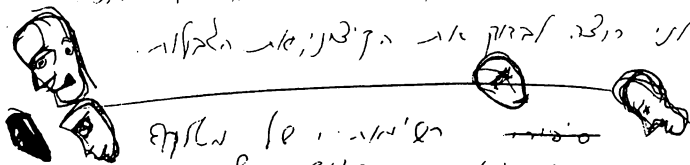
Ну, все, все, все. Хотите кубинскую музыку по радио в два часа ночи – пожалуйста. Хотите японские суши в китайском квартале – пожалуйста. Все, когда угодно и сколько угодно. Хотите танцевать? Танцуйте. За десять долларов в час мы научим вас сальсе, румбе и катакали. Вы какую музыку любите, фолк или рок? Пожалуйста, вот программа и адреса, сегодня бесплатный день, вам повезло. Вы музеи-то хоть видели? Вот, берите, тут у нас все искусство по темам, периодам и национальным признакам. Что-то вы, голубчик, как-то напряжены... И цвет лица... Вы наши витамины пробовали? Вот наши продукты, сахар без сахара и абсолютно несоленая соль! Помогает от неуравновешенности и полностью меняет характер! У вас есть страхи? Мы возьмем их на себя! Мы сделаем из вас человека, звезду! Вы будете на всех обложках! Мы поставим вам голос! Мы профессионалы, понимаете? Профессионалы! Видите этот длинный автомобиль? Он будет ваш! Пожалуйста! Вот номера, звоните! Мы запишем вас на курсы! Вас мать родная не узнает, такая у вас будет стрижка и такая фамилия! Это надо отпраздновать!

Скажите, а как вы насчет женщин? То есть, вас какие расы интересуют? Потому что у нас есть все. Вам нравятся еврейки? Их у нас есть! Черные или белые? Косоглазые? Но какого цвета? Может быть, все-таки мулатки? Японки? Может, вам мальчика? Не стесняйтесь, у нас это в порядке вещей! Вы убегаете? Такси! Нет, давайте лучше возьмем вам лимузин! Погодите, а вот и рикша подрос! Вы вообще как, на велосипеде ездите? Для спорта? Замечательно! Только не забудьте пристегнуть покрепче, а то ведь у нас все постоянно в движении, может унести... Столб тоже может за ночь исчезнуть, лучше заносите в дом. На всякий случай пристегните к кровати, так будет надежнее всего. Дома нет? У нас масса домов! И прекрасно, что у

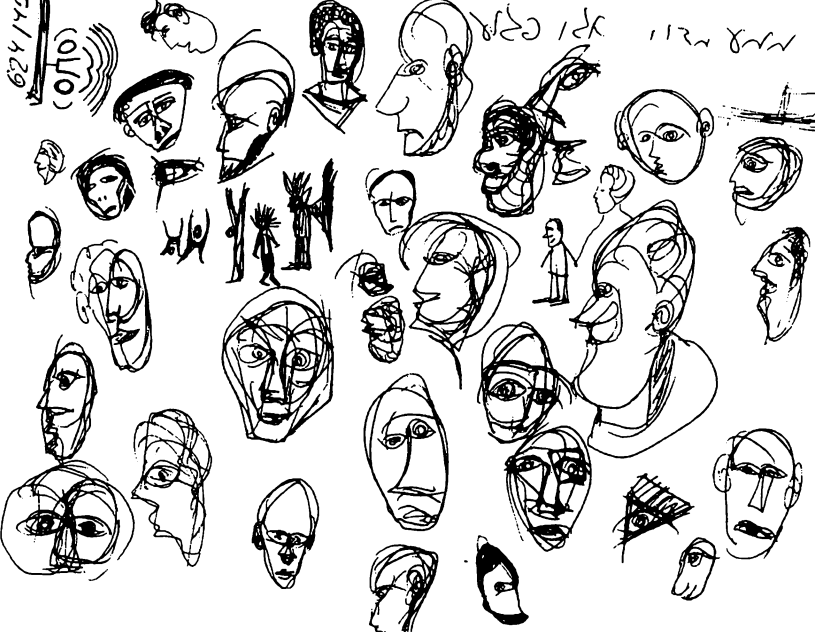
вас нет дома, значит, вы двигаетесь, не торчите на одном месте, под лежащий камень вода не течет! Вы молоды, талантливы, амбициозны! Ищите, и вы обязательно найдете! Вам смотреть с первой по четырнадцатую, с четырнадцатой по тридцать четвертую, выше или ниже, восток или запад? Климат помягче или пожестче? У нас везде круглосуточный обогрев и охлаждение, охлаждение и обогрев. Конечно, есть, двести сорок каналов с доплатой. Не надо никуда ходить, все здесь и сейчас! Только скажите, и все будет! Как не знаете? То есть, это как — не решили? Так вы, значит, кушать пока ничего не будете? Белье пока не стирать? Не записывать вас на курсы горлового пения? Ах, вот оно что, вы еще не выбрали! Значит, контракт пока не присылать? Вертолет отпустить? Ясно. Так, девочки, расходимся, на сегодня все! Все свободны!

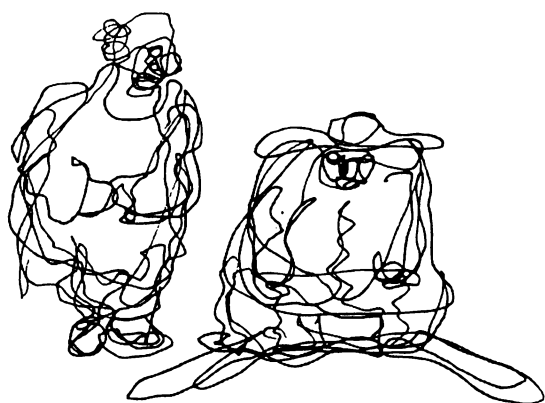


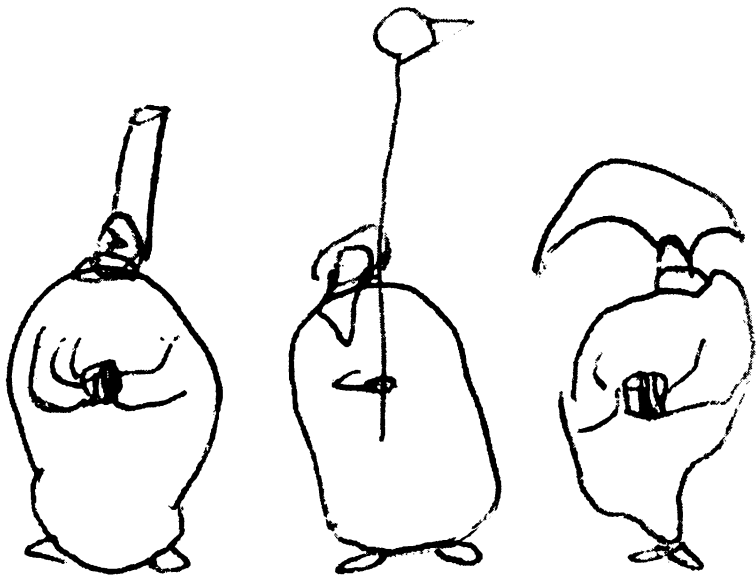
זה אפס שגק פנ, זיגד ו'וק, האפס הוא שוכנה
 וזיגד, היה נדב מ'ש'ן. ש'ול' פס על ג'מ' אר'א' ו'א-
 ה'ע'מ'ז'ו' ה'א'א' ו'א' פ'א' ר'ק א'א'א' א'ק'ר' ו'ב'ז'ק'ה.
 א'ז' ו'א' ד'ר'ו' ו', א'י'ק' ו'ה'מ'ס'ן י'ס'ר'א'ל ב'ת'ע'ה'ה' ה'א'א'ה'ה'
 ב'מ'ס'ן א'ז'י' כ'ו'ב'ה' א'ב'ז'ק' א'ר' ה'ק'י'צ'נ'י' א'ר' ה'א'ב'ל'ו'ה'.



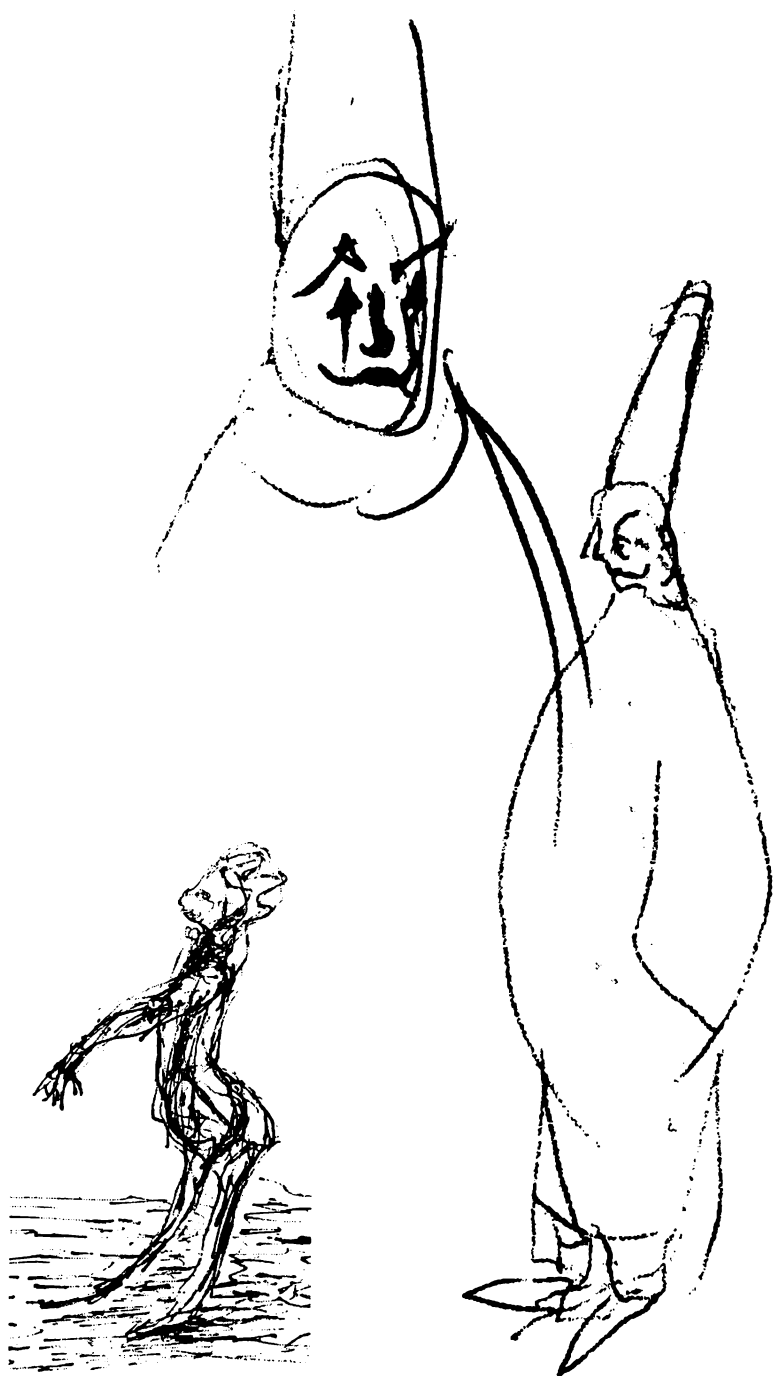
ר'א'י'א'ה'ה' ו'ס'ן ה'א'א'ה'ה'
 3. ב'א'ו'ק'ל'א'ר' - א'י'ז'ק' י'ו'ט'א' ד'ו'ס'ן: פ'א'י'ש' א'ל ה'מ'א'ר'ה'
 ה'ק'ל' מ'ר'י'ז' ו'א'ר' ה'א'י'מ'ה' כ'פ'ק'ר' ב'א'ל'ת'ס', כ'ו'ש' א'ו'י'ן' ה'מ'ז'ק'.











Аркадий Ф. Коган

КЛОНЫ И СПЕРМОНЫ

Главы из романа-дайджеста

ДОКУМЕНТ № 6

Дон Фабио слыл человеком патологически спокойным и уравновешенным. С этим были согласны все. Точнее, то, что вызвать на его лице следы волнения практически невозможно, было общеизвестно. С этим никто и не спорил. Не все были согласны лишь с тем, что дон Фабио можно назвать в полной мере человеком. Его жестокость, беспощадность, приступы ледяной ярости снискали ему репутацию зверя среди всех, кто его знал, включая конкурентов, которых, правда, с каждым годом становилось все меньше и меньше.

Но сейчас дон Фабио был взволнован и даже не пытался скрывать это. Понятно, что для проявления эмоций должна была быть веская причина. И она, действительно, у него была. Дон готовился стать отцом...

Широкими неслышными шагами дон Фабио мерил из угла в угол огромный холл. Шаги были не слышны потому, что, во-первых, пол был устлан туркменским ковром ручной работы, и, во-вторых, потому, что ступать бесшумно еще в детстве его научила мать-индианка.

...Сорок два года назад дочь владельца лесопилки повстречала заезжего спортсмена, выступавшего на местной арене, то есть на городской (сельской?) площади в боях без правил – единственном виде единоборств, пользовавшимся популярностью среди местного населения. Любовь между Аресией и Антонио вспыхнула, как и водится в этих краях, подобно пожару в сельве. Стоило прекрасной Аресии увидеть звероподобное, поросшее клочьями шерсти и украшенное шрамами, вымазанное кровью противников тело Антонио, стоило увидеть Антонио высокую точеную фигуру с широкими бедрами и узкой талией, длинными стройными ногами и грудью, спелую красоту которой не могла скрыть блузка вольного покроя, как все было готово к пожару.

Когда над притихшей ареной раздался хруст шейного позвонка, сломанного могучей лапой Антонио, и когда победитель, обводя ослепевшим от убийства взором трибуны, толкнулся на взгляд слегка раскосых глаз, с ласковым спокойствием смотревших на него из широко посаженных бойниц над медно окрашенными бастионами скул, в тот момент публика немо ахнула в восторге от зрелища смерти и тут же зашлась

воем восторга. Но Антонио уже забыл о только что поверженном сопернике и, переполняемый страстью, взвыл, перекрывая рёв толпы, и не из кровожадности, а лишь потому, что не ведал, как можно еще выразить свое чувство, схватил труп и саданул его черепом о валун так, что камень треснул, и мозги, освобожденные из костной темницы, заляпали ближайших зрителей. Антонио рванулся к зрителям, и толпа покорно шарахнулась от убийцы. Но ему нужны были не их никчемные жизни, а лишь мачете, без толку торчащий за поясом уставшего от непрестанной тупой работы под кокаиновым наркозом креола. Антонио выхватил нож, широким жестом отделил скальп от черепа поверженного противника и, не обращая внимания на стон ужаса, вырвавшийся, наконец-то, из искаженных страхом морд *Homo Sapiens*’ов, стаями разлетающихся из-под его ног, преклонил колено пред индианкой и протянул ей лоскут кожи. Скальп с остатками модной в те годы и в тех краях прически еще источал характерный запах только что освежеванного мяса. И когда Аресия, не отводя глаз, приняла подарок, когда их руки встретились, ударила та самая молния, что воспламенила в их душах пожар, в пламени которого суждено было сгореть многим, ибо в огне этом зачат был дон Фабио.

Антонио не выходил из Аресии ровно неделю, после чего, умиротворенный, принял из ее рук еду и скупно рассказал о себе, а именно, что ничего о своем рождении не знает, кроме того, что говорила ему пожилая женщина, воспитавшая его. А она сообщила, что в жилах его течет кровь всех ныне живущих и уже канувших в преисподнюю народов. Во всяком случае, ей было доподлинно известно, что отец Антонио был смесью запорожского казака и цыганки. Мать же нельзя было назвать чистокровной бразильской мулаткой лишь потому, что мужчина, породивший ее, будучи по внешнему виду китайцем, исповедовал в память о дедах попеременно ислам, буддизм, иудаизм и младогегельянство, а женщина, в чьем чреве мать Антонио отбывала свой первый срок, была зачата на какой-то вудистской церемонии дочерью португалки и негра из Сенегала посредством потомка английского матроса от портовой женщины сомнительного происхождения.

Молодые лютовали в любви, и через два месяца Аресия почувствовала, что стала тяжелой. Спустя некоторое время надежда переросла в уверенность, и тогда она душной ночью, после того, как возлюбленный был обессилен ее ненасытностью и забылся счастливым сном без сновидений, вонзила мачете в его грудь.

В положенное время она родила легко, как и подобает здоровой женщине. Когда повивальная бабка сказала Аресии, что у нее мальчик, молодая мать не выказала никаких чувств – она ведь всегда знала, что у них с Антонио будет сын. Перед первым кормлением Аресия достала свою самую дорогую реликвию – высушенную кровь Антонио – и смазала ею маленький

ротик сына. Так дон Фабио впитал отцовскую кровь с молоком матери.

Аресия бережно опекала сына. Любовь ее была безгранична, и цели, которые она ставила перед Фабио, тоже не знали границ. Он должен был стать властелином мира, и Аресия воспитывала его сильным и жестоким. Когда же наступил день его шестнадцатилетия, она увела его далеко в сельву. Там из тайника она достала фамильное мачете и отдала его сыну.

— Этим мачете я убила твоего отца. Я сделала это, чтобы ты был его единственным сыном, Фабито. Ты рожден в крови и должен стать властелином. Ты силен и жесток, ты готов взять мир, но у тебя есть одна единственная слабость. Эта слабость — я, твоя мать. Поэтому ты сейчас убьешь меня. Возьми мачете — оно помнит кровь твоего отца — и перережь мне горло, потом достань сердце и выпей из него кровь, похорони меня по-божески и не забудь прочитать молитву — из всех молитв я научила тебя только этой, заупокойной.

Фабито был послушным сыном.

Через некоторое время он создал свой мир, и власть его в этом мире была абсолютна.

...Для дона Фабио идея клонирования стала тем спасительным кругом, который рука провидения почти всегда предоставляет сильным мира сего. За полгода было куплено и построено все необходимое и теперь, спустя год — должно свершиться! Первый же эксперимент увенчался успехом: в тиши джунглей у бедной креолки родился ребенок, получивший всю необходимую информацию для своего развития из его, дона Фабио, клетки! Это случится сегодня: молодая, сильная женщина должна произвести на свет его — дона Фабио — точную генетическую копию. Точную! Без всяких примесей, которые подсовывает другим мужчинам женский организм на пару со случаем.

В три ночи в дверь тихонько постучали.

— Войди! — едва сдерживая волнение, произнес дон. Дверь тихо отворилась, и на пороге показался Фиделио — любимый и самый преданный слуга. Физиономия его расплывалась в улыбке.

— Ну!

— Поздравляю с сыном, дон Фабио!

ДОКУМЕНТ № 11

...но однажды я проснулся с полным осознанием того, что я не игрок. Понимаете? Я не субъект, а лишь инструмент, на котором играет Вечность, когда ей взгрустнулось или просто делать нечего. Это напечатала только что моя рука, если, конечно, не успел напечатать или произнести кто-нибудь раньше. Да и кто повелевал моей рукой? Я или Большой Зеленый Кукловод от нечего делать? Ну, да ладно. Важна суть. Суть меня. И

сегодня я, наконец-то, осознал ее. СУТЬ МОЯ В ТОМ, ЧТО МЕНЯ НЕТ. Я – лишь карточная колода, разбросанная умело, а иногда и не слишком, по операционному столу Истинного Творца, Я – клавиши компьютера, по которым барабанит бесконечная комбинаторность студня моего мозга, не давая мне заняться собой – упиваться едой без салфеток и ножей, вилок и стаканов, женскими телами – рвать их на части без отвлекающих, обволакивающих щупальцев слов, отдаваться азарту – без ограничивающих табу денег и своих психических тормозов. Эх, с какой бы страстью, с какой вакхической радостью я перегрыз бы горло тебе, мой любезный Заказчик, хотя бы за то, что ты посмел купить мои мысли, как покупают в лавке зеленщика шпинат, чеснок, помидоры. Но нет, Студень, он же Истинный Творец, не велит. Да и руки коротки. А ведь интересно взглянуть было бы на твое заказничье нутро: что за страсти, что за мысли, что за сокровенности копошатся там?

Эх, скучно, знаете ли, выворачивать себя наизнанку. Тянет в последнее время к интерактивности, что ли. Ладно уж, пообщались, и будет. Студень зовет к станку.

P.S. Как рабочую гипотезу предлагаю считать Господа одним большим коллективным Приоритетом. Конечно, это не слишком раскрывает суть Черного Ящика, но все же...

(Из дневника Арчибальда Дивани)

ДОКУМЕНТ № 18

Арчибальд Дивани – основоположник промышленного клонирования. Родился в 1996 году в Новой Зеландии в семье концертирующего музыканта и учительницы химии. С юного возраста проявил необычайные способности не только к учебе, но и к творчеству, что создавало множество проблем его родителям...

Когда Арчи исполнилось двенадцать, его мать, не вынеся тягот воспитания, а значит, и общения с гением, порожденным ее организмом, пока отец мальчика гастролировал на островах Тонга с концертами банджевого кантри, ушла к богатому овцеводу, оставив дитя попечению домоправительницы. Отец, вернувшись с островов и узнав о переменах в семье, пожал плечами, отобедал и от расстройства лег спать. Проснувшись, он убыл на Маршалловы острова, где страдал от тропических болезней, тоски и собственной музыки до самой смерти.

Арчибальд же, казалось, даже не заметил, что остался практически один, поскольку был полностью погружен в собственный мир...

Днем Арчибальд учился, а по вечерам работал. Как и подobaет юному гению, он не гнушался никакими занятиями: драил подъезды, в отопительный сезон кочегарил, в курортную пору мыл посуду, в путину разделял рыбу. Единственная работа,

от которой он отказывался – репетиторство. Говорить о банальностях, даже за деньги, представлялось ему оскорбительным для собеседника и преступным по отношению к себе. «Голова должна думать, а не изрыгать пережеванные очевидности», – считал Арчи. Иное дело физический труд. Его юноша считал втрое полезным. Во-первых, физические усилия сообщали организму нагрузку, столь необходимую для поддержания здоровья. Во-вторых, за эти упражнения платили, пусть по минимуму, но платили. И, в-третьих, метла, лопата или разделочный нож совершенно не требовали участия мысли. Достаточно было усилий мозжечка, а значит, помахивая тем или иным инструментом, можно было спокойно размышлять о своем, сокровенном. Дело в том, что голова юного Дивани была устроена таким образом, что информация, загруженная в нее днем, к вечеру перерабатывалась, и в мозгу Арчи начинало искрить, комбинировать, интуитивно гипотетировать... Ну да кому я все это рассказываю! Кому, как не нам с Вами, дорогой Читатель, доподлинно известно это состояние перманентного озарения?..

Кембридж сперва презрительно ухмыльнулся, глядя на усердие неофитствующего новозеландца, затем стал впадать в задумчивость при знакомстве с его туманными, даже для Альбиона, высказываниями, из которых спустя короткое время неизбежно вырисовывались четкие очертания еще недавно казавшегося невозможным. И, наконец, на третьей стадии знакомства гордый Кембридж приучился вставать и почтительно расступаться при его приближении, как и подобает вести себя хорошо воспитанной посредственностью в присутствии представителя Высшего Разума.

(По материалам книги Гамлета Тер-Академянца «Вундеркиндам об Арчибальде Дивани – человеку и гению»)

ДОКУМЕНТ № 26

СТЕНОГРАММА СХII СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН, ЧЕТЫРЕЖДЫ ЛАУРЕАТА НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ МИРА В ЛИЦАХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ ОДНОИМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Вопрос № 47:

О проекте всеобщей декларации о недопустимости дискриминации человека (генетического) по способу зачатия, зародышевого развития и способа инициации автономных жизненных процессов. Фрагменты дискуссии. Записано с фонограммы.

Полномочный представитель Французской республики (выдержка из выступления):

– Мадам и месье! Проблема, которую мы имеем честь обсуждать, сложна. Действительно, признание клон-копий равноправными людям содержит множество нравственных, мораль-

ных, психологических, экономических аспектов. Так, например, придется в корне пересматривать все законы о наследовании. Более того, теперь стоит задуматься над новым решением и без того непростого вопроса о том, что считать смертью.

Действительно, если ранее умершим считался человек, чей мозг не мог более функционировать, то теперь с помощью клон-технологий возможно в некотором смысле воскрешение усопшего, причем, практически через сколь угодно длительное время. Это приводит при существующем ныне законодательстве в вопросах гражданского права к юридическому коллапсу. Следует пересмотреть все процедуры, связанные с регистрацией актов гражданского состояния. Иначе неразбериха затронет все стороны жизни общества, включая экономику.

Разумеется, это лишь один пример гуманитарной проблемы из множества, порождаемых фактом признания клон-копий равноправными людям. Однако с нашей точки зрения, наличие проблемы означает необходимость ее решения. Поэтому моя страна считает необходимым выдвинуть обсуждаемую Декларацию и призывает представителей других стран проголосовать «за».

Основная цель настоящего документа состоит в том, чтобы ввести процесс клонирования человека в правовое поле. Возможно, что предлагаемая редакция несовершенно, более того: это, наверняка, так. Но мы обязаны принять Декларацию как можно быстрее, не поддаваясь на провокационные предложения добиваться абсолютного совершенства документа, поскольку любая затяжка приводит только к тому, что проблема приобретает еще большую сложность.

Что касается предыдущего выступления представителя Албано-Катарской Джамахирии имени Мохамеда Али, то, возможно, оно было местами несколько излишне заострено – чего не бывает в пылу полемики – но, по сути, с ним трудно не согласиться. Неадекватные методы Израиля в ответ на справедливые, по существу, выступления палестинского народа не раз уже были осуждены нашим высоким собранием (крики «Правильно!», «Аллах ахбар!», остальное неразборчиво) и никак не способствуют, а часто просто препятствуют, решению многих проблем, стоящих перед человечеством, в том числе, разумеется, и решению обсуждаемой проблемы.

Я хотел бы, чтобы перед голосованием уважаемые коллеги еще раз задумались: кому выгодно затягивание принятия решения по Декларации о недопустимости дискриминации по способу зачатия? Нам представляется, что эта Декларация является самым важным документом за последние полвека, который обсуждает Генеральная Ассамблея ООН. Нет никакого сомнения, что сегодняшнее голосование – историческое. Человечество всегда будет помнить, надеюсь с благодарностью, тех людей, кто от имени своих стран проголосует «за» будущее нашей планеты.

ФАКТ № 19

Является Леруик глухоманью или крупным населенным пунктом, которому пылкое воображение провинциала приписывает столичный блеск, атмосферу непреходящей праздничности и торгово-культурной суеты, зависит от того, откуда вы прибыли на Мейнленд – так называется самый большой из Шетлендских островов, на котором и расположен населенный пункт, чей статус мы обсуждаем. 26 июня 2015 года в 7 часов 33 минуты пополудни в его гавани бросил якорь транспорт Королевского военно-морского флота «Геркулес». Именно с этой минуты дискуссии по поводу статуса Леруика становятся неуместными, потому что это место впоследствии будет именоваться не деревня и не город, а Родина Человека Истины. Города строятся из песка и уходят в песок, потом археологи их раскапывают, дивятся былому величию и преклоняются перед всемогуществом времени, но лишь две точки на Земле воистину отмечены, по крайней мере, пока жив человек: кратер Нгоро-Нгоро – родина человека как вида и Леруик – Родина Человека Истины.

Итак, «Геркулес» причалил, и под покровом ночи и прикрытием двух фрегатов, что маячили на рейде, началась разгрузка. Через два дня транспортник отчалил, оставив специальный отряд строителей и аккуратно сложенную кучу строительного материала, которая на каботажных местных суденышках вместе со спецотрядом перекочевала на один из необитаемых островов. На острове, получившем впоследствии имя Колыбельный, был построен первый в мире, во всяком случае, так принято считать в странах английского языка, полупромышленный Истерон (от греческого *hystera* – матка) – детище Арчибальда Дивани, который лично возглавлял работы по производству опытной партии (пять экземпляров) человеческих особей из соматических клеток с абсолютно идентичным генотипом методом ИЦВС, а проще говоря, человеческих клонов.

Впрочем, оставим скучные подробности специалистам. Нас интересует не сам процесс познания, а к чему он приводит.

ДОКУМЕНТ № 42

Совершенно секретно

Г-ну Джонсону лично. Единственный экземпляр. Подтверждаю отсутствие электронных копий.

Г-н Джонсон! Нижеследующим сообщаю, что первый этап операции «Эдем» успешно завершен. 16 октября 2016 года в точном соответствии с программой были получены пять объектов, названных нами (в порядке появления) Джон, Джек, Джо-зеф, Джерри, Джеймс.

Д-р Арчибальд Дивани.

КОММЕНТАРИЙ № 52

Разумеется, «пятерым Дж.», как будут именовать первую опытную группу клонов, предстояло пройти через множество испытаний. Но на то Дивани и гений, чтобы предусмотреть если не все, то почти все.

Например, будучи, как и положено нормально развитому интеллектуально и духовно человеку, последовательным фрейдистом, он сконструировал прибор под названием «Великая Мать». Обратите внимание: не Идеальная, но Великая! Это означало, что искусственная мама в виде силиконовой груди, теплых, массирующих тела младенцев фиксаторов и улыбающейся головы издавала не вокализы абстрактных биологических матерей, но специально смоделированный по сохранившимся магнитофонным записям голос родной бабушки маленьких Дж.

Здесь вполне уместно сказать несколько слов о родословной великолепной пятерки.

Малыши были произведены на свет из соматических клеток некоего майора Томсона, о чем тот, разумеется, и не подозревал. Майор верой и правдой прослужил в спецотряде что-то около двадцати лет, участвовал во всех известных и во многих неизвестных операциях, всегда был инициативен, смел до дерзости, что послужило причиной того, что полковником он так и не стал...

Личная жизнь его не сложилась: видимо, слишком много порхал, семейного гнезда не свил. В жизни у него было три любви: мать, королева и служба. Такая была у майора присказка. Отца он не помнил, тот погиб, когда майора Томсона еще звали просто Билли. Но мать воспитала его в духе почитания идеалов старой доброй Англии. Основное правило, которое она привила ему: «Потерять можно все, кроме честного имени». Билли отвечал матери трогательной привязанностью, но до сантиментов не опускался. Самой большой реликвией для майора Томсона были записи голоса матери. В молодости она неплохо пела, и отец будущего майора, когда убывал выполнять особо важные задания, всегда брал с собой эти записи. Эту традицию майор продолжил: если ему было особенно трудно, он доставал плеер и слушал нестареющий голос матери.

Майор Томсон отличался не только отменными физическими и моральными качествами. Он обладал еще целым рядом несомненных достоинств, и все они как будто нарочно были предназначены для человека военного. Рассмотрим, например, память. Ее можно было назвать идеальной, если бы не особая избирательность, с которой она действовала. Так, майор мог рассказать поминутно обо всех боевых эпизодах, в которых участвовал. Но вот информация, с его точки зрения бесполезная, начисто исчезала, стиралась навечно: из стихов майор помнил только слова строевых песен, хотя в школе выучивал и

бодро декламировал все, что положено. Или еще: имена многочисленных женщин самых разнообразных расцветок, калибров и различной степени душевной тонкости, хоть убей, не держались в его голове. Возможно, виной тому была фраза, которую он однажды, еще во время учений на последнем курсе, услышал от своего кумира, генерала Трентона: «Запомните, салаги! Джентльмен в мундире, если он трижды переспал с одной девицей, обязан на ней жениться!» С тех пор майор никогда не встречался с одной и той же женщиной в постели трижды.

Таков был один из праотцев нового человечества.

Матери же у человечества на этот раз не было вовсе.

ДОКУМЕНТ № 55

Выписка из отчета старшего психолога проекта «Эдем»

...В целом можно констатировать, что на данном этапе эксперимент развивается успешно. Лонгитюдность проекта не позволяет утверждать однозначно отсутствие в дальнейшем осложнений, однако на данной стадии можно констатировать благоприятное течение операции «Эдем»...

...В связи с вышеизложенным рекомендую расширение эксперимента до максимально возможных границ.

Старший психолог проекта «Эдем» д-р П. Трамбон.

ФАКТ № 31

Арчибальд Дивани устал. Он не был еще слишком стар, особенно, если иметь в виду, что среднее время жизни в развитых странах к середине двадцать первого века, несмотря на возросшую смертность от терроризма и других форм насилия, достигло восьмидесяти пяти лет, а время активной жизни приближалось к семидесяти.

«Да, семьдесят семь, по нынешним меркам, не так уж и много, и все же Арчибальд устал. Слишком много было сделано, слишком много пережито. Но что было хуже всего – отсутствие желаний. В принципе, конечно, можно было считать Арчибальда абсолютно счастливым человеком. Действительно, он о многом мечтал и всё, о чем мечтал – свершил. Но с не меньшим правом его можно было считать самым несчастным человеком на свете. Недаром ведь кто-то из древних сказал: «Несчастный. Он получил все, что хотел!» А Арчибальд Дивани получил от жизни все, что мог себе представить. Потому Арчибальда Дивани можно было с одинаковым правом причислять и к людям абсолютно счастливым, и к абсолютно несчастным».

Так или примерно так думал о себе и о своей жизни создатель первого истерона. Привычка думать о себе в третьем лице

появилась у него давно. Это позволяло Дивани рассматривать себя не как особую, изолированную интеллектом точку во Вселенной, но как очередной объект исследования.

Он сидел в холле своей виллы, и глаза его были устремлены на экран телевизора. Шел репортаж о матче на первенство мира по регби. Играли Австралия и его родная Новая Зеландия. Обе команды состояли почти полностью из клонов. Только по два-три игрока в каждой были спермонами, но именно они солировали, держали нить игры, и Арчи поймал себя на мысли, что он гордится каждым удачным действием спермонов. Пожалуй, он болел не столько за черные цвета новозеландцев, сколько за спермонов.

...Когда-то, в те, теперь уже далекие, почти мифические времена, сэру Арчибальду нравилась эта игра. Иногда он сам пытался погонять мяч, похожий на дыню, но смотреть на игру ему нравилось все же больше. Регби – игра ревнивая, она не оставляет время на отвлеченные размышления, а Арчи уже в молодости любил поразмышлять, причем не тогда, когда позволяют обстоятельства, а вдруг, когда в голове, безо всякой видимой причины, слова, образы и формулы начинали устраивать хоровод узоров. Все они переплетались, как в калейдоскопе, переходили из одного в другой, переливались причудливым разноцветьем, а потом наступал момент, когда картина выкристаллизовывалась, замирала и наступало ощущение внутренней гармонии. Тогда Арчи мысленно обходил полученный кристалл снаружи, проникал в него, пробовал на запах, цвет и форму и по вкусу наступавшей усталости определял качество результата размышлений. Если усталость была сладка, то он знал, что запомнил результат навсегда. Настолько навсегда, насколько имеет право смертный говорить о вечном. Но если приходило тревожное утомление, то это был нехороший знак, знак изъяна. Тогда он погружался в глубокий сон и просыпался или забыв вчерашний кристаллический кошмар, или с ощущением, что место изъяна найдено, и тогда все повторялось сначала. Однако это было в прошлом. Теперь он уж и не помнил, когда последний раз испытывал наслаждение творчеством.

В старости Арчибальда Дивани пугала не физическая немощь, а постепенное выхолащивание мыслительной деятельности. Да, скальпель его критического анализа был по-прежнему остр, но вот способность созидать была безвозвратно утеряна. «Так вот какова старость, – подумал Дивани. – С каждым днем замечать все больше недостатков в себе, но не видеть путей избавления от них. Болезни, немощи, недомогания накапливаются, образуют коллекцию, и человек постепенно, день за днем, незаметно для себя превращается из хозяина этой коллекции в ее раба. Будущее становится все темней, темней, а потом и вовсе исчезает, теряются цели, смысл, исчезает интерес. Жизнь превращается в непрерывную череду ле-

чебных процедур. Они задают регулярность. Прием лекарств – как работа, результаты анализов – это аналог зарплаты или письма об увольнении, выделения же следует трактовать как заменитель оргазма...»

Матч по регби закончился. По телевизору показывали какое-то ток-шоу.

Арчибальд выключил телевизор. В комнате стало тихо. Едва слышно урчал кондиционер, уютно тикали настенные часы. Так прошло некоторое время. Арчибальд нажал на кнопку звонка. Почти сразу отворилась дверь и в комнату вошла миссис Гендерсон, которая уже многие годы вместе со своим супругом, отставным сержантом мистером Гендерсоном, вела дом сэра Арчибальда.

– Миссис Гендерсон, пригласите, пожалуйста, на завтра моего нотариуса. Попросите, чтобы он внес изменения в мое завещание. Вы записываете, миссис Гендерсон?

Через пять минут миссис Гендерсон осторожно спросила:

– Еще что-нибудь, сэр?

Дивани пожевал губами и, не поднимая век, продолжил:

– На послезавтра назначьте пресс-конференцию. И вот что. Гляньте, нет ли у нас цикуты.

– Простите, сэр, я не помню, чтобы мы заказывали такое вино.

Дивани зашелся тем тихим, ехидным смехом, который вызывал неприязнь у всех, кому доводилось его слышать. Миссис Гендерсон, привыкшая за годы службы к шуткам, с ее точки зрения, несмешным, и другим странностям сэра Арчибальда, терпеливо ждала, когда приступ веселья закончится.

– Н-да, – наконец успокоился Дивани, – пожалуй, что не заказывали. Понимаете, миссис Гендерсон, у нас, настоящих ученых, есть, скажем так, легенда, о том, что каждый, сделавший что-то стоящее в науке, удостоивается чести испить чашу цикуты. Но сделать это можно только раз. Чаша сия знаменует, знаете ли, безвозвратность, – Дивани говорил все тише, постепенно его речь стала походить на бормотание. – Сначала ноги, должно быть, от циколоток, нет, скорее, от колен, конечно, у меня же больны колени, а значит, там чувствительность нервной ткани выше, затем живот... надо прочувствовать каждый орган отдельно... интересно, дыхание и сердце – синхронно?.. если раньше сердце, то остальное уже не ощущается, но если дыхание, то сердце, должно быть, переходит на форсаж... и последним, как капитан на тонущем судне, мозг...

Миссис Гендерсон деликатно кашлянула.

– Это что-то вроде премии?

– Вроде премии? Да, пожалуй.

– Но вы ведь отказались от Нобелевской премии.

– Видите ли, миссис Гендерсон, это совершенно разные вещи, можно даже сказать, противоположные. Нобелевская премия, во всяком случае сейчас, это знак перехода человека из

мира абсолютных истин в мир пошлости, мир шоу-бизнеса. А чашей цикуты общество или сам человек как раз отделяет себя от мира суеты.

Дивани задумался, на лице его появилась улыбка.

– Знаете, поскольку цикуты в доме нет, принесите-ка мне вот что: рюмку хереса, немного сыров, оливки и какие-нибудь орешки.

– Но, сэр, врачи...

– Миссис Гендерсон, я прекрасно помню, что говорят врачи.

ДОКУМЕНТ № 102

Вчера в семь часов двадцать три минуты пополудни осиротела половина человечества. Умер сэр Арчибальд Дивани – человек, которого называли отцом клонов.

Смерть наступила во время пресс-конференции, которую сэр Арчибальд созвал, чтобы объявить о создании фонда Дивани, назначение которого – стимулировать развитие психологии, математики и межпланетных сообщений.

Кроме того, учреждена еще одна премия – за лучшие журналистские работы, освещающие события в области искусства. Правда, это направление оговорено весьма нелегкими условиями: претенденты не имеют права в своих статьях ни разу употребить слова «Оскар», «номинация», а также их синонимы. Доктор Дивани обосновал это, на первый взгляд экзотическое, требование тем, что подобного рода термины не имеют к искусству ровным счетом никакого отношения, а значит, по его мнению, являются признаком спекуляции и непрофессионализма.

Сэр Арчибальд лично зачитал документ об учреждении фонда, после чего ответил на вопросы в привычной для себя манере, скрестив руки на груди и закрыв глаза. Он, как всегда, отвечал на все вопросы. Но когда корреспондент еженедельника «Миры Бомбея» спросил, правда ли, что клонирование женских организмов привело к возникновению неких сложностей внутри сообщества клонов, доктор, казалось, надолго задумался. Оказалось – навсегда.

Смерть наступила практически мгновенно...

Удивительно все же, насколько цинично поступают с нами эти две неразлучные подруги – Жизнь и Смерть. Почему они решили совершить передачу души одного из самых таинственных людей, живших когда-либо на нашей планете, столь публично? В назидание? Впрочем, когда речь идет о докторе Дивани, нельзя быть уверенным абсолютно ни в чем. Даже в смерти. Мне до сих пор не хочется верить, что неизбежность одолела все же таинственного Отца Клонов. Неужели он ничего не припас напоследок для извечного врага человечества? Может быть, его публичная смерть – лишь очередной ход в не-

видимой для нас, но все еще длящейся партии со смертью? Ясно только одно: нам, простым смертным, ответ на этот вопрос получить не суждено.

Известно, что доктор Дивани чрезвычайно щепетильно относился к таинствам своей приватной жизни. Нет, он не избегал общения, но, скажем так, контролировал его. Никому не ведомо даже, были ли среди многочисленных его знакомых такие, которые имели право называться друзьями сэра Арчибальда.

Неизвестно также, любил ли он людей, ненавидел ли? Вот люди его и любили, и ненавидели. И теперь, хотя самого Дивани нет с нами (нет ли?), нам жить с творениями его разума, с продолжением его мечты.

Теодор Гильденкранц, «Копенгагенский информационный листок», http://www.kiber_kib.int

ДОКУМЕНТ № 114

ПОСЛЕДНЯЯ ЭКСТРАВАГАНТНОСТЬ СЭРА АРЧИБАЛЬДА?

Вчера в 19 часов 43 минуты при большом стечении народа скончался величайший ум эпохи доктор философии сэр Арчибальд Дивани.

Жизнь этого человека сама по себе является научной легендой. Когда-то, подобно Резерфорду, он почти без средств прибыл в Англию из одной из самых удаленных частей Соединенного Королевства – Новой Зеландии. Учился, а потом работал в Кембридже. Научные интересы сэра Арчибальда лежали в области наиболее спорных исследований, поскольку затрагивали такие категории, как мораль и нравственность. Он занимался практическим клонированием человеческого организма. Именно он решил проблему массового клонирования, разработав технологию истерона. Кроме того, им решены некоторые весьма важные задачи медицинской генетики. Эти решения избавили человечество от большинства казавшихся неизлечимыми болезней.

Что касается личной жизни сэра Арчибальда, то о ней практически ничего не известно. В частности, никому не известно, были ли у доктора Дивани увлечения. Вроде бы, он никогда не был официально женат, но достоверно и это нельзя утверждать. Так, среди его сокурсников по Кембриджу было распространено мнение, что юный Дивани равнодушен к женскому полу и пользуется определенным успехом у дам, но никто не может вспомнить ничего определенного. Самым богатым подробностями может служить рассказ д-ра Л., который в период учения был некоторое время компаньоном мистера Дивани.

Мистер Л. вспоминает, что однажды сэр Арчибальд появился в их пансионе с большим количеством свертков. Через неко-

торое время он вышел из своей комнаты, одетый более чем старомодно. На нем был фрак с белой орхидеей в петлице, соответствующие брюки и лакированные туфли. Наряд этот был вдвойне неожиданным потому, что в тот период жизни Дивани едва сводил концы с концами и даже прокат подобных одеяний далеко превосходил обычный месячный бюджет бедного студента. Мистер Л. спросил у компаньона, не собирается ли тот жениться и если – да, то не нужен ли ему свидетель. Однако Дивани лишь улыбнулся, прикоснулся к полям цилиндра и был таков. Вернулся он через несколько дней в своем обычном костюме и обычном рабочем настроении. Впоследствии Арчи никогда не вспоминал о своей отлучке. На все вопросы товарищей он лишь пожимал плечами...

Мистификации, смысл которых так и не был понят современниками, постоянные исчезновения, экстравагантные заявления самого неожиданного содержания – вот стиль жизни сэра Арчибальда. Можно ли, зная эти особенности его жизни, поверить в то, что сэр Арчибальд совершенно случайно накануне своей смерти (так и хочется взять в кавычки это слово, когда речь идет о первом человеке, который публично объявил смерть своим личным врагом) долго о чем-то беседовал со своим нотариусом – видимо, вносил поправки в свое Завещание, – после чего заявил на своей предсмертной пресс-конференции о запрете клонировать свой организм, успел сообщить о создании фонда Дивани, назначение которого – присуждать весьма экзотический набор премий, оговоренных еще более экзотическими условиями, и сразу после этого скончался? Не оставляет чувство, что мы стали свидетелями очередной, последней мистификации доктора Дивани.

Таким образом, не исключено, что мы еще встретимся с сэром Арчибальдом. Во всяком случае, с его клон-копией. Так что не будем спешить со словами прощания.

Фрол Медниев. http://igogo_oprichnik.ru

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАВЕЩАНИЯ СЭРА АРЧИБАЛЬДА ДИВАНИ, ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ

Находясь в полном уме и светлой памяти, я, Арчибальд Дивани, настоящим уведомляю, что пункт открытой части моего Завещания, запрещающий всякое клонирование моего организма, аннулируется.

Долгие годы, начиная с тридцатипятилетнего возраста, когда по финансовым и техническим возможностям мне стали доступны исследования собственного мозга, я снимал все возможные параметры его в наиболее доступной по тем временам форме. Эти данные и все другие материалы, необходимые для моей реинкарнации, содержатся в месте, указанном в третьей части настоящего Завещания.

Мне неизвестно, достаточно ли будет этих данных для полной или частичной реставрации памяти. Однако если все же этих данных будет достаточно, то в этом и только в этом случае следует провести клонирование моего организма. При этом в обязательном порядке должны быть соблюдены все нижеследующие условия.

Во-первых, я предвижу, что в ближайшие сто лет будет полностью расшифрован механизм памяти.

Во-вторых, я полагаю, что в те же сроки удастся решить проблему сканирования памяти (по крайней мере, некоторых ее сегментов) и обеспечивать долговременное ее хранение.

В-третьих, станет возможным проведение коррекции памяти, то есть частичная или полная пересадка памяти от одного носителя к другому.

В-четвертых, развитие средств межпланетных сообщений в течение ближайших ста лет позволит перейти к программам межзвездных сообщений.

Несмотря на возросшие скорости полета и успехи медицины, время в пути будет все еще существенно превышать время активной жизни человека. Так как значительная часть полета может проходить без вмешательства экипажа, то он должен быть сформирован из клонов и их воспитателей. Воспитатели во время путешествия по преимуществу будут находиться в анабиозе, программы клонирования запускаются в автоматическом режиме в нужный момент. Матрицы памяти пересаживаются в оптимальном возрасте, который должен быть определен в ходе экспериментов.

Если я нигде не ошибся и все мои перечисленные предположения окажутся верными, я прошу зачислить мою клон-копию в экипаж. Я согласен на этот полет, сознавая все опасности и тяготы подобного предприятия.

Если моя просьба будет выполнена, то основным капиталом фонда Дивани переходит в личное пользование моей клон-копии (или клон-копиям в равных долях) по возвращении его (их) из полета на Землю.

Я усматриваю в своем завещании-просьбе два основных мотива:

1. Когнитивный. За годы своей жизни я многое узнал первым на Земле. Но, желая быть максимально откровенным перед собой и другими, должен констатировать: жажда познания стала с годами лишь острее.

2. Эмоциональный. Земля и земляне мне понятны. И изрядно надоели. Может быть, поэтому я умираю. Но умираю я с любовью к ним. Поэтому я хочу вернуться на Землю, но не из могилы, а со звезд, не легендой, но живым человеком.

Сэр Арчибальд Дивани, доктор философии и кандидат в Маленькие Принцы.

Михаил Фельдман *ВОСЬМОЕ МАРТА*

Господь однажды схватил Адама,
Ребро наружу, и на верстак,
Господь воскликнул: «Да будет дама,
Да будет дама!» И стало так.

Но тут Лукавый сказал: «О! Боже!
От этих рёбер не жди добра.
Давай, о, Боже, пасьянс разложим –
Чего нам будет с того ребра?»

И Бог ответил: «Ты мутишь воду.
Кончай, Лукавый, фигню пороть!»
И Бог из нимба сваял колоду...
Поднял Лукавый, раздал Господь.

Как интересно открылась карта, открылась карта, и Бог упал:
Шестое чувство, седьмое небо, восьмое марта, девятый вал!!

По разным притчам, по разным слухам
Господь сердился часов до двух.
Потом побрился, собрался с духом –
В здоровом Боге – здоровый дух!

Свистели пташки, и на природу
Сошла нирвана и благодать.
Достал Всевышний свою колоду
И на Адама давай гадать...

Ой! Как тосклива альтернатива, и перспектива – сплошной конфуз:
Шестое пиво, седьмое пиво, восьмое пиво, бубновый туз!!

Скажи – чего мы? Скажи – куда мы?
А ничего мы... и никуда...
Поскольку ясно: Адам без дамы,
Адам без дамы – всего лишь «А».

И не читайте вы мне нотаций –
Всё оспоримо, и всё старо.
Из всех возможных ориентаций
Я выбираю своё ребро!!

Как интересно открылась карта, открылась карта, и Бог упал:
Шестое чувство, седьмое небо, восьмое марта, девятый вал!!

Михаил Бяльский, Владимир Ланцберг

НАЧАЛО «ДОРОЖИ»

*Из ответов на анкету к 30-летию саратовского КСП**

БАРДЫ – ДО ТОГО, КАК...

В.Л. В основном, пели туристы. Студенты все больше писали и пели эстраду. Правда, в стройотрядах ходила бардовская песня, но та же, что и у туристов. У них и обмен по Союзу был поживее – через маршруты и соревнования. В городе были сильные тур- и альпсекции. Прежде всего – в Универе и Политехе. Плюс лыжная секция Универа. Затем шли Пед, Мед, далее – заводские группы и команды. Одна из самых живых – «Радуга», турсекция СНИИМа, куда я попал на преддипломную практику (1970) и работу после Политеха (1971).

Наиболее мощные вузовские секции раз в году устраивали туристские вечера с песенным отделением. Помнятся вечера в Универе, Педине и Медине. И – ежегодный городской в Доме профсоюзов, кажется, на Советской или Сакко и Ванцетти. Пели, например, и мои песенки. Что пело наше школьное турье? Должна помнить Полина Пикман.

Мы с подружкой Дуняшей / на завалинке сидели. / Я играл на балалайке, / выводил такие трели! / Ах, / какой пленительный момент, / какой чудесный инструмент! / Тебя забыть я, / тебя забыть я не могу!

На заборе сидит кот – / ай, здрастя! – / поглощает кислород / ай, здрастя! – / Потому-то у народа / ай, здрастя! – / не хватает кислорода / ай, здрастя!

В 13-й школе пели Галича, еще году в 1964. «Гадов-физиков», например. Окуджаву.

Его, может, и пораньше. Это была прерогатива интеллей. В Универе, например.

Начинал появляться Высоцкий – в середине 60-х. «Лукоморья больше нет...» Этот – повсеместно, поскольку хохмач.

Саша Перлов. Из школы в Мирном переулке. Ходила его песенка про любовь:

Сколько на свете нехоженных троп, / сколько путей-дорог / я обойду / и достану тебе / лучший весенний цветок. Припев: Для тебя, для тебя, для тебя одной / я у моря попрошу ласковый прибой. / Я сто тысяч верст пройду, я пешком на Марс дойду / для тебя, для тебя, для тебя одной!

Второй куплет в панике опускаю. Знаком с автором не был. А песенка была в ходу в начале 1966 года.

Лена Стукалина (из той же школы, что и Саша) и девичий ансамбль «Ассоль».

Была даже телепередача, и я ее записывал. Жива ли пленка, не скажу.

* Вопросы подготовила Елена Азарова, саратовский КСП «Дорога».

Стройна девчонка и легка – / смахнет и ветерком – / шагнула прямо с корабля – / и по воде пешком... Припев: Я бегу, я спешу, – / слышен голос там. / Виден след на воде / Бегущей по волнам. Год 1966-67.

Потом она училась в Политехе на машфаке и пела в институтском эстрадном ансамбле, где я играл на басу.

Алексей Етеревский. Учился в Политехе на приборфаке старше меня на год. Пел о гладиаторах, об американских коммандос – всего песен пять, не больше. Трагически погиб зимой лет двадцать назад – замерз.

Мы гладиаторы – / меч короток. / Брат против брата – и / всё поровну... / Воздух со свистом меч разрезал, / крик раздается лютый: / «Аве, Цезарь, аве, Цезарь, / моритури те салютант!». 1967-68.

Таня Климова (ныне – Мазилкина). Мы учились в школе в параллельных классах. Писали: то она музыку, я – стихи, то наоборот, то все вместе. В школе проводились турслеты, и мы сочиняли туристские песни для конкурсов. Потом я – в Политех, она – в Педин, на иняз, но, пока она вскоре не вышла замуж, продолжали писать. «Гулливеры», «О тебе» и др. 1965-67.

Татьяна (Тамара? Евгения? не помню...) Вдовиченко. Училась в Педине, писала сама, а иногда вместе с Таней. 1967.

Саша Дубинин. Интересный автор, студент мединститута. Не вспомню ни одной песни. 1967-68.

В Политехе штатным исполнителем был Любавин. Я его не видел и не слышал, но выступал вместо него на городском вечере 1 апреля 1967 года, когда он заболел. Туристы попросили. Еще был один политехник-турист, не помню, как звали, – хорошо, «вкусно» пел Визбора. Валя Чернышова специализировалась на Новелле Матвеевой. Витя Золотухин (лет на 10 старше меня) обладал не очень мужественным голосом, тенором, но пел душевно, и его любили слушать. Шурик Лопатин, одногодок Шпилькова, но, кажется, физик, много пел Круппа, и неплохо. Кого пропустил, общественность должна восполнить.

Виктор Пóляк – это уже в клубные времена. Автор музыки, например, на стихи Д. Кедрина (*Есть у каждого бродяги / сундучок воспоминаний...*) Около 1975-76.

Потом появились Вера Евюшкина (под 1976), Ирина Мыльникова (ок. 1976), Серега Зайцев, Леня Шварцман, Лев Миньков (эти трое – около 1975), Петр Кошелев и Татьяна Ходакова (конец 1976 – начало 1977)... Поэты – Илья Воробьев, Рафаил Шустерович. Илья – до клуба, с 1970 года, Рафик – уже в клубные времена, альпинист Универа, из круга Мишеля Бяльского. Ну, в клубе творили многие, а «до того» – больше значительных персон не вспомню. Может, и были, но я о них ничего не знаю. Судя по тому, что вся туристская и студенческая песня тех лет была у меня на виду, вряд ли что серьезно упущено.

...Вспомнил второй куплет песни «*Для тебя одной*»: *Я выше солнца взлечу к небесам, / звездам тебя покажу / и даже Сатурну при встрече с тобой / я шляпу снимать прикажу.*

И вспомнил еще одну песенку, которая ходила, когда я уже поступил в институт, году в 1966-7. Зубкова жаловалась, что Перлов взял ее

стихи, переделал с женских на мужские и пел, не упоминая о соавторе. Музыка была блатная, а текст слов – не очень.

*Я родился осенью.
Стекля оконные плакали.
Я родился осенью
с теми за окнами каплями.*

*Может, еще поэтому
я осень люблю по-особому -
не ту, что воспета поэтами,
а ливнями исполосованную.*

*Ту, с тротуарами мокрыми,
с листвою, что тычется в ноги,
рыжую и <взволнованную>,
спутавшую все дороги.*

*Ту, с журавлиными стаями,
с тучами низко-низко,
ночами необитаемую,
огромную, гулкую, близкую.*

Я родился осенью...

Был еще автор на мехмате Универа – Толик Шпильков. Когда я закончил Политех, он был еще студентом. Помню, была у него такая песня: он взял запев из известной песни Грина «*Не ворчи, океан, не пугай!*» (кто только на эти стихи не писал!). Припев опустил, поскольку тот не вписывался в шпильковскую концепцию, зато появились еще два или три куплета, а может, четыре. И с этой песней он выступал в декабре 1971 в Смоленске.

Вот теперь, похоже, всё.

М. Б. ...Почти что шлягер начала 70-х со словами припева «*"Крытый рынок – Политехнический" – самый лучший в стране маршрут*». К сожалению, не вспомню автора, не был знаком, хоть и слышал однажды на некоем вечере туристской песни. Шлягер – судя по хождению в народе. В частности – по магнитофонной кассете, крутившейся «меж», настигшей однажды и меня... И в кассете той, пожалуй, – исторические корни моей причастности к СП в Саратове.

В. Л. Если не ошибаюсь, это были стихи студента-политехника (постарше меня) Бориса Клячко. Кто-то заботливо похлопотал о мелодии: сам Борис вроде бы не писал. Слышал я его еще на первых курсах.

М. Б. По той же первобытной бобине (и соответствующему резонансу в народе), место прима в той когорте – как по удельному весу произведений, так и некоторым отличительным их особенностям – следовало тогда отдать безымянно-безголосому барду с весьма своеобразной (впрочем, столь же притягивающей) дикцией. Отъявленному певцу горных стен, бакштагов и несбывшегося. Жаль только, не все слова различались сквозь шумы непервозданной перезаписи. Был там и «Я не знаю, что делать», и «Фрези Грант», и «Битт-Бой», и «Грачи», и «Три квартала», конечно. И – «Листопад, листопад, листопад...»

В общем, одного певца и назвать бы предтечей авторской песни в Саратове. Если бы только он сам однажды, в 1974-м, не преобразовал себя в КСП (ну, в СКМП; правда, вместе с «и примкнувшими к нему...»), и тем самым не смешал все карты. Так вот зарождение КСП «Дорога» в Саратове приобретает характер нечеткого множества: это либо апрель-июнь 1974-го (см. В. Л.), либо дата написания Владимиром Исакичем первой своей песни – февраль 1956-го (см. "Условный знак", с.130), либо собственно 22.06.48 (см. метрики).

КАК РОДИЛСЯ КЛУБ

В. Л. В 1971 году я впервые выехал за пределы области со своими песенками – на IV Грушинский, с туристами Политеха. Затем с университетскими – на смоленский, памяти Круппа, в декабре. С начала 1972-го пошли мои авторские концерты по Союзу, и первый – в Челябинске, где в 1971-м образовался клуб турпесни (КТП).

Понятия «самодеятельная песня», а тем более «авторская» еще в массе не существовало. Это чуть потом. Но по городам я насмотрелся на все это, а в Саратов привозил пленочки с записями, которые мы слушали в компании туристов СНИИМа и других знакомых.

Среди них были мои одношкольники, уже выпускники Универа Полина Пикман, Галка Хохлова... Начали появляться другие ребята. Слушали по квартирам и в комнатах общаги СНИИМа на Шехурдина. Захотелось клуба, «как у людей».

Пошли по инстанциям. Не помню, кто и куда ходил, но вроде в комсомол и, может, в профсоюзы. Отозвался горком ВЛКСМ, и в апреле 1974 года был утвержден устав клуба. Кажется, 28 апреля. Назваться КТП нам не разрешили, но разрешили – клубом молодежной песни. СКМП «Дорога».

Гимном взяли «Дорогу» же Берковского–Сухарева.

Президентом выбрали меня из представительских соображений: меня знали по Союзу.

ПЕРВЫЕ

В. Л. Разумеется, СНИИМовцы. Таня Шестакова (среднего роста) и Надя Данилина (два средних роста). Пели дуэтом. Илья Воробьев. Валера Бобылев, Таня Вакуленко. Юра Герасименко (может, чуть позже). Людя Шагалова. Людя Лебедянцева (Сахарова).

Но и не только СНИИМовцы. И Полина Пикман, и Галка Бараева. И Зина (Закия) Нугаева, которая возила гостей клуба на горбатом своем «Запорожце».

Вскоре влилась шумная толпа универовских альпинистов – Мишель Бяльский, Миша Песенсон, Гоша Родионов, Саша Костыряченко, Раф Шустерович...

Собирались сначала в ГК ВЛКСМ, но не пошло. Сложно и противно. Больше – в общаге СНИИМа и где попало, не помню. С 1975-го – в ДК «Россия», вход справа, в зальчике напротив кафе «Арфа». Там у нас был сейф, где хранились архивы, фонотека, магнитофон.

Собирались от раза в неделю и до максимума. По деловым группам – и 2-3 раза. Клубный день был один. Ну, и по лесам, кому нравилось, – на выходные. Все были, в основном, мои ровесники. Бобылев и Нугаева – постарше. Мишель и Ко – года на 3-4 младше. Впоследствии появились Зернаковы – это г.р. 1935-37.

М. Б. «Дорога» в пору зарождения (по одному из календарей, с июня 1974-го) являла собой, в основном, объединение трех «начал» (приведших групп, скажем).

Первая и основная – и по количеству (человек десять), и по участию-знакомству с делом – сам Ланцберг, его друзья-приятели по счастливым годам школы, Политеха, СНИИМа. Отчасти – приятели приятелей.

Плюс – группа девочек-студенток с филфака Универа: Оля Татаринцева, Валя Люлюкова (Киндеренко), Люда Сызганова (все тогда, осень 1974-го – с четвертого курса), Галя Ломакина (со второго). Любили петь – в том числе, и квартетом. Способствовало немало, конечно, проживание их в одной общежитии, гуманитарной СГУ, что, как известно, – на воспетых В.Л., трех кварталах на Вольской (и поныне). Выделяющимся «голосом» в группе была Татаринцева. В 1977-м она стала лауреатом среди исполнителей (второе место) X Грушинского. Правда, формально – уже от Новой Черниговки Саратовской области (по Грушинскому реестру), поскольку по завершению СГУ девочки уже покинули Саратов (Сызганова, в 1976-м – в Узбекистан; Люлюкова, вскоре – в Ташкент; Ломакина, в 1978-м – на Урал).

В. Л. Судьба Гали Ломакиной особенно показательна: она попала в Пермь и вышла замуж за Женю Матвеева, композитора АП и руководителя ныне весьма известного трио, выпустившего пластинку (именно винил, еще в «те» времена, и ставшего всяческим лауреатом). В трио она поет и играет на... аккордеоне!

М. Б. Помянутая В.Л. «шумная универская толпа» (по сути, мехмата, но по сути же, уже после – как раз в 1974-м завершили свой срок), действительно имела отношение к альпинизму (городская секция «Труд») – Саша Костыряченко (Кю), Миша Песенсон, Игорь Родионов и я.

Далее уже по цепочкам-«блатам», представители дружественных специальностей из Универа (действительно еще в ту пору, на три курса позже) – физики Раф Шустерович (одновременно с причащением его к «Труду»), Леня Шварцман, мехматчик Лев Миньков (тот же курс). (Кстати о регалиях – Лев Миньков, вместе с Наташей Махаличевой и Наташей Елшиной (см. В. Ланцберг, «Посв. Минькову»), в 1975-м стали лауреатами среди ансамблей (3-е место) VIII Грушинского – «Трио из Саратова», по фестивальному реестру.)

Отдельно из участников клуба упомяну Пашу Булычева – поскольку наши с ним пути были также особенно переплетены. Паша присоединился несколько позже (примерно 1975-й год). Мы с ним вместе работали в ВГПТИ (с 74-го). Интересовался он песней всегда, ходил на концерты постоянно. Сам же тоже творил – писал и стихи, и – большей частью, что мы видели-слышали – прозу «в малом жанре», очень забавные миниатюры в стиле (условно) Зощенко. И похо-

дил он на него не только жанром, но, несомненно, и уровнем выдаваемого. Писал Паша «на злобу дня» (скажем, «за жизнь» в родном коллективе), но и – просто, что «навеет». К примеру, его незабвенная миниатюрка «Свадьба» и ныне цитируема сопричастными. (...*Нам вам 100 рублей, живите дружно...*). Читки Павлом своих «опусов» всегда были одним из приятнейших событий в коллективе, в т. ч. и в «Дороге». Так Паша постепенно и стал ее органичной частью.

Еще – Гала и Жора Оксюты, всеми любимая чета фотографов. Лаборатория их была на территории саратовского Медина (хоть отношения у них с институтом были какие-то сложные). Они любили песню, были знакомы с Ланцбергом (через него и я познакомился с ними), были всегда недалеко от клуба, но в то же время и на некой дистанции. Постепенно они втягивались все ближе. Так что в 76-м мы уже вместе ездили на слеты, в частности, в Москву в сентябре на слет памяти Веры Матвеевой (при том, что Жора был уже тяжело болен, и едва мог ступать на ногу...).

От них осталась масса замечательных фотографий, всегда щедро раздариваемых клубу и всем причастным. Часть из них, как раз с того сентябрьского слета, можно найти в книге Нади Крупп «Плата за вдох» (М., 2003), вместе с самыми добрыми словами о Гале с Жорой.

Ну а далее уже, понятно, – разрастание клуба по менее детерминированным путям). Обычное количество («ядро?») крутилось вокруг 20-30 человек, возраст (вначале, 1974 год) – 20-26+.

На упомянутом концерте Кукина с «Оптимистами», в июне 1974-го, в филармонии я посмел подкатить к барду, с предложением «дополнительной встречи». Увы, к моему страху (за успех предприятия) вскоре возле метра обнаружили посторонние личности. Ведомые, похоже, аналогичными помыслениями. Конкуренты?!.. Постепенно различил в одном из них – Ланцберга. Видел его на одном из концертов туристской песни. Оказался он, в пикку загода сложившемуся образу романтика-супермена, вполне реальным человеком, еще и рыжим, невысоким и курчаво-картавившим, что окончательно снизило планку до доступности общения.

Ланцберг, обогащенный своим могучим уже, по тем временам, межрайонным опытом бардовского (в том числе, и неформального) общения, предпочел, видимо, изначально изничтожить почву для потенциального конфликта интересов. Отозвал меня в сторону, и ненавязчиво предложил, будучи едиными в цели, также объединить и усилия. Устроив общее мероприятие. Например, в общаге СНИИМа. Билет, несмотря на ажиотаж, гарантирован. С серьезным видом я задал контрольный вопрос: «А два?» Ланцберг посмотрел на меня долгим и не менее сосредоточенным взглядом. Когда я уже решил, что шансов нет, и милостей надо не ждать, а брать их – наша (собственная) задача, внезапно что-то произошло, и я услышал: «Ладно».

Тут я уже страшно пожалел, что продешевился (да и на самом деле – что ж делать с Кю-Мишкой-Гошей, с...) Набравшись остатков мужества, выдал: «А больше... можно?» – «Сколько?» Ну и тут уже, не ожидая сам от себя такой наглости (и, естественно, ничего хорошего в результате), изрек: «Шесть...»

Не знаю, какие мысли обуревали потенциального конкурента. Во взгляде прочитывалась смесь ужаса с изумлением, едва уловимо переходящего в некий род почтения... Спустя некую паузу я услышал: «Ладно. Приводи... не гарантирую... но будем стараться».

С того и началось. Нужно добавить только, что Берг (=Ланцберг) тогда же меня встречно ошарашил, присовокупив после непродолжительного обмена техформальностями: «Это еще ничё... И не такое организуем. Вернешься из своего альплагеря, приходи на Совет клуба... поговорим». Предпоследние два слова из уст почти метра ввергли меня своей торжественной (сколь и неожиданной) загадочностью во встречную бурю чувств. Но виду не подал: «Поговорим...»

Концерт, надо сказать, таки состоялся. Прошел весьма успешно. Включая первое, по словам маститого гостя, «открытое» исполнение только что написанной «Остается...» (*Ну, убежишь, ну, убежишь за горизонт...*). Чем и довел почтенную публику до состояния полной эйфории. Одновременно явившись первым концертным «мероприятием» клуба.

Билеты, надо добавить, были. Настоящие. Отпечатанные в недрах СНИИМа с помощью резиновой печатки. На коих гордо было выведено: «КТП. Концерт. Цена 1 руб.».

Ланцберг в белой именинной рубашке самолично вручал их строго отобранной публике. «Только никому не показывать, – инструктировал он шепотом каждого вновь отоваренного счастливца. Просьба, вообще-то, после концерта – уничтожить...» С понимающим видом даватель и получатель смотрели на билеты, потом друг на друга. И расходились по своим местам (на билетах, впрочем, не указанных). Два из них (билетов) сохранились до наших дней...

Ну, а там уже, как было сказано.

Добавка по части «места встречи». Поначалу, с 1974-го, несколько месяцев, еще до «России», «Мира» и проч., это была, несомненно, просто квартира Ланцбергов. Поначалу – на Шехурдина (?), еще совместно с родителями и его молодой семьей, хоть уже и с двумя малыми чадами; позже – уже в отдельной и сравнительно недалеко от прежней, после шумного переезда в нее с помощью клубной общественности. Посодействовавшей оному переезду («урони рояль на того судью, что живет...»), да так и не покинувшей/обошедшей уже ее (квартиру) своими помыслами, чаяниями и нередким присутствием.

Сходки на «нехорошей квартире» происходили устойчиво раз в неделю (если ничего не случалось) – общие, и дополнительно – по интересам/потребностям. Надо сказать, и после пригревания клуба «помещениями» (ДК, проч.) общественность не обходила вниманием/посещаемостью «явку», по многим поводам и без оных.

Тут нельзя не отдать должное родителям Володи, светлая им память, которые всегда терпимо, даже более чем радушно относились к многочисленным участникам нетихих заседаний (собраний, советов, обсуждений, репетиций, просто...). Несмотря на смешанное их отношение (переходящее в тревогу) к Володиным, мягко говоря, непрофессиональным, в плане полученной специальности, увлечениям, никак не способствующим карьере уже не полностью молодого спе-

циалиста. С нами же они всегда были исключительно приветливыми и душевными, в полной мере иллюстрировавшими стереотип заботливых еврейских родителей-радетелей дома (при всем их высоком положении, особенно отца Володи, где-то там, на служебной лестнице).

ДОЛЖНОСТИ В КЛУБЕ

В. Л. Вера Бандуркина занималась фонотекой. Наташа Зернакова заменила уехавшего в Ташкент Мишеля на посту мининдел. По связям с городами и клубами. Мишель был непревзойденно динамичен, Наташа – обстоятельна.

Фотовопросами много занимался Костыряченко. А так – не помню, чтобы кто-то охотно делал техническую работу.

Лебедянцева была главным художником. Потом к ней присоединились Юля Киндер, Женя Борочин...

Аппаратурой помогал заниматься Толик Юрлов. Увы, когда клуба не стало, он повесился. И еще одно тогда же случилось самоубийство – Леночка Новокрещенова, из консы. Клуб их, видимо, держал. Светлые ребята были! И, конечно, Володя Зернаков – фото и электроника. Остальные больше на подхвате, но, может, я что и забыл.

М. Б. Ну, президент – Берг. И конечно, невзирая на его скромное «из представительских соображений» (знали-то, конечно, знали, по всему Союзу) – не только поэтому. Ведь и впрямь – затеватель и исполнитель основной и всего все долгие годы жития его в Саратове, с 74-го и до Туапсе (не говоря о предыстории).

Вообще ж должности/титулы все в клубе, как «Президент», «мин. ин. дел», «мин. финансов», «мин. связи» и прочая (тока что не «МВД» или «мин. торговли») пошли с легкой руки Берга, почерпнувшего их в своей бурной развездной гастрольной жизни по городам и весям, по уже народившимся клубам в пору их детско-юношеского влечения, надо полагать, к высокому (и серьезному). «Ты, – сказал он мне в те поры, – будешь министром иностранных дел. Не возражаешь?» Конечно, сильно подивился я тогда. Но виду, как говорится, не подал. («Видимо, у них, в КТП, так надо...») Так и повелось.

При всех дальнейших упоминаниях-представлениях (в основном, Бергом же, ну там, на Грушинских и т. п., перед заезжими гостями) помогало отношение к предмету с чувством юмора. Хотя замечал, что не все относились к оному адекватно, с аналогичным же чувством. Надо признать, что встречались представители по клубам, в т.ч. местами и сами титулованные «министры», которые относились к сему с большой серьезностью, причем именно – к самому собственному «министерскому» званию. Не исключая, что отчасти этим серьезным титулованием самих себя обязано КСП некой дополнительной доле интереса ГБ к собственным персонам и к движению в целом.

Из более конкретного же – Саша Костыряченко – «министр техобеспечения», фото, магнитофонная запись (вообще техника), фонотека. Из больших конкретных дел Саши – самиздатские сборники самого Берга (фактически, его первое издание, пишущая машинка, 5 экз.), Га-

лича (песни, фотокопии), большая работа по обработке фотографий Арика Круппа – для архива и для намечаемого сборника Ланцберга с песнями Круппа и материалами о нем; многие прочие фотоработы (в т. ч., о раннем и «пред.» периодах клуба).

Саша сейчас по-прежнему в Саратове (точнее, живет, как и прежде, в Энгельсе).

Миша Песенсон. «Хочешь министром связи? [Ланцберг] Нам нужен хороший... ну, обзвонить всех, когда надо. И вообще... у тебя и телефон есть [примечание: редкость в Саратове середины 70-х]... и квартира [родителей]...». От «министра» Мишка скромно отказался, сославшись на семейные обстоятельства (что действительно имело место), и видимо, каким-то боком чуя, что правительственные звания, даже в КСП, надо все же отрабатывать... Но работу всю (по обзвонам и т. п., «когда надо») исправно выполнял. Надо сказать, смотреть на него на исходе дня после «проделанной работы», на этапе подготовки соответствующего мероприятия, было таки жалко. Миша убыл в Штаты в декабре 89-го, ныне живет-трудится в NASA, Пасадена, Калифорния.

Игорь Родионов – «министр оргдел». Всякая организация. По всему что ни попадя. Конечно, тоже перепадало. Не до званий уже было. Живет по-прежнему в Саратове.

Илья Воробьев – был «худсектором» (почему-то звание «минкультуры» его благополучно минуло).

О ДЕЛАХ КЛУБА

В. Л. Выделялись две творческие группы. Лидером одной был Лёня Шварцман. Кажется, там были Лев Миньков с Валей (Путилиной – Миньковой), Элла Лихт, Рафик Шустерович (кого-то приплел зря, кого-то упустил). Их прерогатива была – сочинительство крупной формы – композиций. Они собирали клубный актив (в среднем раз в полгода, по готовности продукта) и показывали ОДИН РАЗ!

Выступать отказывались. Ну, разве на Груше показать Егорову, Дихтеру и еще паре авторитетов.

Лидером другой группы был Илья Воробьев. Кажется, там была еще Таня Вакуленко... Не помню. Впрочем, народ пересекался. Илья был культуртрегером в области театра, и под его водительством создавались спектакли, но не помню, какие из них были доведены до конца. Помню серьезное увлечение пантомимой и попытку вставить ее в одну из постановок. Идеи были красивые.

Была еще группа «Песня» (с 1977 года), ушедшая из клуба на квартиры. Она считала себя рабочей лошадкой и занималась фонотеккой, архивами, теорией и историей жанра. Периодически выносили на публику тематические исследования, семинары и пр. Именно при этой группе работал Евущинский «Синий краб», который, когда Верке пришлось уехать из города, перекочевал к нам и Зернаковым домой. В группе были Вера Евущкина, Наташа Зернакова и Зернаков-старший, Махаличева, я – основной состав. Тяготели Зайцев, Новокрещенова, Юрлов... На нашем счету – композиции со слайдами по Устинову и Круппу, без слайдов – по Вере Матвеевой. Мы старались

много выступать, дураки. Группа кончилась по-идиотски: в нее попросилось сразу много народу, и мы всех приняли. И это болото нас зачавкало – не по злему умыслу, а по своему родовому свойству.

Зрели мысли выделиться снова, но тут пошли приключения с КГБ, а потом я уехал из Саратова. Это были 1978-79 гг.

Выступали, где только позволяли, – вплоть до Советской Армии и Всесоюзных сельских игр. В Доме престарелых. В воинской части в Татищево, где теперь ракеты «Тополь-М». Мы думали, что песня воспитывает, и цеплялись за любую возможность. В ДК и клубах, где базировались. «Россия», кажется, «Знамя труда».

Были очень веселые, остроумные капустники, дни рождений, новые года и восьмые марты: творческого народу хватало. Появлялись смешные стенгазеты.

Шварцман пародировал меня. Рафик придумал девиз к 8 Марта: «С ихним праздником вас, товарищи!»

КОНЦЕРТЫ, КОТОРЫЕ КЛУБ ОРГАНИЗОВЫВАЛ

В. Л. Еще не мы, еще до Клуба, но и наши ребята, в том числе. Туристы. Когда на волейбольные соревнования приезжал Володя Муравьев из Казани. Кажется, в ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЕ на Вольской. Году в 1972-м. Пел поддатый.

Потом залетел Вахнюк по корреспондентским делам. В сентябре 1973-го. Нашел меня. Я стукнул туристам, и они добыли зал в ДК «Мир» на 5-й Дачной.

Потом по линии филармонии прибыл Кукин с «Оптимистами» – ВИА такой. Уже был клуб. Мишель его заарканил, и мы сделали первый клубный концерт в июне 1974-го в общаге СНИИМа на Шехурдина. Короче, мы крестники Кукина.

Затем бывали Городницкий (в «Мире»), Краснопольский и еще парочка из Куйбышева, Муравьев, «Жаворонок» (анс. КСП МАИ), Никитины, Дольский, Камбурова, Устинов – Смирнов – Глыбин (последний из Воронежа, остальные – москвичи); киевляне Каденко, Юрко и Пестушко, группа «Ку-Ку» из Москвы...

М. Б. В дополнение к приведенному В. Л. списку: Муравьев (осень 74-го). Кстати, после его концерта – первый клубный «балдеж» (см. ниже). Совместно с оказавшимся тогда же в Саратове А. Тальковским. Происходил он как раз на квартире Миши Песенсона (точнее, его родителей) на Городской. Благо, квартира оказалась в тот раз, не помню в силу чего, в его самоличном распоряжении. Тогда-то Миша, и мы все с ним впервые ощутили, что же это – апофеоз КСП...

Еще – Егоров, тогда еще аккомпанировавший себе лишь на фоне (включая его домашний концерт, плавно перетекший в балдеж).

Домашний концерт Луферова (точнее, два), у Ланцберга дома. Моя навязчивая идея (впрочем, нашедшая отклик у клубной общественности). Луферов тогда шел по списку «неразъездных», чуть ли не антисоветчиков (вместе с друзьями Мирзаяном, Бережковым и др.) Сейчас только можно удивиться, за какие грехи... Но заочно многие из нас, включая меня, его очень любили.

После принятого на Совете решения (все ж не единогласным одобрением) – дальше уже было дело техники. Разыскать Луфа в Москве (довелось мне это тогда, увы, в больнице; что-то, впрочем, из не сильно серьезного), договориться о деталях. Многие у нас тогда встречали его как национального героя. Да и ему было отрадно, в ту пору он не был избалован приглашениями, даже на квартирные выступления.

Камбурова (тогда вместе с Л. Чижиком).

Краснопольский же и «парочка из Куйбышева» – это дуэт Т. Дмитриева-В. Захаров – недавние тогда лауреаты VII (74), а затем VIII и IX (75-76) Грушинских.

Из концертов нельзя не отметить концерт самого Ланцберга (~лето 76-го). Уже при всем приличном послужном списке заезжих маэстро этот концерт казался всем нам (да и самому Володе, не скрою) этапным. Понятно, исколесив европы-азии нерушимого, неслабо было бы показаться барду и в пенатах.. И вот – случилось. Настоящий концерт. Хоть не в самом большом зале, но все ж – в настоящем ДК («Россия»?). Многожданный, по-настоящему. Есть пророки (ну, иногда...) в своем отечестве!..

Из запомнившихся балдежей – Городницкий – его спич-исповедь. *«Вы, молодые, – не такие, как мы были. У нас все было проще. Мир – черно-белый. У вас – сложнее, цветной. Но это все же, наверно, и хорошо...»*

Еще из вечеров-«мероприятий» – встречи Нового года. Дни рождения. (День Парижской коммуны – как-то нет...) Хорошо было.

ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ, НЕГЛАСНЫЕ ЗАКОНЫ (НЕ УСТАВ), СЛОВЕЧКИ, ПРОЗВИЩА, ИНТЕРЕСНЫЕ СЛУЧАИ...

В. Л. Не знаю, обычай или традиция, скорее блажь, но за другими клубами такого не помню.

Было время, когда в «Дороге» наличествовало 7 (семь!) человек, у которых неплохо получались шаржи. Это Люда Лебедянцева, Юлия Киндер, Женя Борочин, я, а кто еще – не вспомню. И мы перерисовали почти всех себя, а также знакомых казспэшников из других клубов и городов («кукушек», Геру Киселева из КСП МАИ и пр.), а также десяток разновеликих бардов – от Окуджавы, Визбора, Матвеевой, Городницкого – до Краснопольского, Егорова, Дихтера...

Была целая папка с бардомордотекой (сейчас у меня в Москве), где образцы были расчерчены на клеточки. Перед очередным заездом на Грушинский мы тонировали альбомные листики ватмана акварелькой и по клеточкам наносили шаржи. Этими флажками обносили свой лагерь, а при отъезде раздаривали оригиналам и всем желающим.

Это был царский жест!

М. Б. Еще по части традиций-обычаев – неизменная вечеринка после концерта заезжей/их знаменитости/ей, естественно, с участием оной/ых. Обычно в домашних условиях, на чьей-то доступной на момент квартире. Что и величалось на клубном жаргоне (очевидно,

заимствованном из общеказспэшной практики) емким эпитетом – «балдеж».

Мероприятие это было многожданным, своего рода апофеозом на протяжении месяца-полутора (по естественным причинам) клубной жизни. На балдеж приглашались практически все члены клуба. Хотя иногда «в кулуарах» ставился вопрос о необходимости некоего «просева», в силу ли ограниченной емкости мероприятия, желания ли пользоваться балдежи как средство стимулирования клубной активности отдельных участников. Но надо отметить, обычно верх брала все же «демократическая», против «элитной», концепция.

По части прозвищ – ну, конечно, Берг – повелось практически сначала, с 74-го. Надо сказать, «парткличка» – но в общем-то, не для прямого обращения. А так, промеж себя, как бы любя-шутя-играючи. Соединяя в себе элементы, может быть, и подтрунивания, но более, видать, почтения-любви. Ну, скажем, как школьники промежду собой могут величать любимого ими учителя. Примерно, как «шеф», «старик» и «пахан» в одном лице. Только сильнее: «Берг»...

Еще – помянутый Кю – Саша Костыряченко. Но это еще с незапамятных, с 1-го курса мехмата, совсем другая история, – да так на всю жизнь...

Еще Гоша – Игорь Родионов. Собственно, то же имя, только особое прочтение. Но так уж повелось, с того же мехмата, да с гор, – не без влияния той же любимой нами в те годы анчаровской «Теории неверности»...

По части гласных-негласных уставов-неуставов. Особо ничего такого. Существовал официальный устав, но в принципе, мало кто им интересовался. В основном, для упорядочения контактов с инстанциями. Но запомнился как раз один «интересный случай».

Были в гостях у Берга, приватно. Еще на родительской квартире (~75-й). Исакыч, в состоянии повышенной степени возбужденности, конфиденциально (более чем обычно) сообщает мне: «Мишель, есть дело...» Готовлюсь ко всякому, в т. ч. и к худшему. «На, почитай... Твое мнение?» Читаю: «Секретное приложение к Уставу СКМП «Дорога». Не без ощущения некоего холодка продолжаю: «В целях повышения устойчивости и безопасности функционирования клуба в свете контроля со стороны КГБ и возможного доносительства... и т. п... Материалы антисоветской направленности (записи Галича, Кима и т.п.) хранятся не в общем архиве (в помещении клуба), а в отдельной специальной фоно-/библиотеке. Информация о спецчасти архива является секретной, не распространяемой свободно среди членов клуба, а доступной, как и сами материалы, только по особому разрешению ответственной группы... Старшим по группе является... его заместителями...» И в таком духе хороших несколько страниц.

Тут уже меня достаточно разобрало, и я счел уместным поделиться с Бергом смелой догадкой, что само это Приложение нас всех весьма скоро, без специального «возможного доносительства» определит «в сторону КГБ» и иже... И ждать этого придется ровно столько...

Больше я этого документа, надо отдать должное прозорливости автора, не видел. А все-таки жаль... Документ века...

ОТНОШЕНИЕ «СВОЕЙ» И ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ.

В. Л. Сложное. Они нас не понимали.

М. Б. «Своей» администрации – несколько громко сказано. Если иметь в виду «администрацию» клуба. При всех и впрямь имевших место отдельных титулах, клуб был, в принципе, чем-то единым, без разделения на «админ.» и «просто». Стало быть, можно говорить об отношениях просто клуба (который персонифицировал вовне, в основном, Ланцберг) и помянутой городской администрации.

«Сложное. Они нас не понимали» (В.Л.) – красиво сказано. По сути, конечно, антагонистическое. Что и отражало ситуацию, имевшую быть по всему Союзу (где клубы существовали), конкретней – циркуляры ГБ в состоявших при ней обл., гор. и т. п. комитетов партии. Какое-то время их отношение к нам было, до известной черты, вынужденно терпимо-разрешительное. Включая даже молчаливое согласие на существование под крышей того или иного ДК (правда, сроки одного почему-то всегда быстро заканчивались), проведение временами концертов приглашенных (или даже своих) бардов. При этом недреманное око «старшего брата» постоянно ощущалось рядом, чтоб не сказать – внутри клуба. Включая косвенные пересказы ребят, кого о чем и как растряхивали в ГБ о «ведущих активистах» клуба, на предмет разоблачения в плане отступизма, империализма, но в первую очередь все же – сионизма.

Конечно, действовало на нервы. Ланцберг время от времени указующе поводил носом/перстом: «Он!» (стукач, в смысле) Иногда впросительно: «А может, он?». Но так за недоказанностью, да и просто отсутствием правдоподобных предположений, все оно и оставалось лишь версиями, на грани помутнения разума. Когда каждый мог с успехом подозревать каждого. Высшее достижение эпохи развитой советской власти...

Из конкретностей того времени (75-76 гг.) – снятие двух (из четырех запланированных) концертов Лены Камбуровой. Концертов, правда, не по нашей линии организованных, а городской филармонией; у нас же Лена успела дать один дополнительный «клубный» концерт (в ДК, при аншлаге, как обычно). После интервью городской «молодежке» «Заря молодежи», где посмела без обиняков упомянуть среди любимых авторов Юлия Кима, да еще именно – Кима, а не какого-то «Ю. Михайлова». Хотя основной причиной немилости называли тогда исполнение ею на предыдущих двух концертах романса «Белеет парус одинокий...» – на стихи Лермонтова. Говорили, с недопустимым выражением поэт. И с не тем ударением...

Но из самого, пожалуй, явного и запавшего – инцидент со снятием столь долго вынашивавшегося, можно сказать – выпестованного за многие месяцы (порядка года) клубного спектакля «Зримая песня». Спектакль являл собой первую крупную работу клуба, как бы подводя некие итоги всей его деятельности, в то же время будучи попыткой сделать что-то на более серьезном и сложном уровне по сравнению с исполнением отдельных песен.

Спектакль был задуман по форме как литературно-песенная композиция, с элементами пантомимы, хореографии и др. По сути же – дек-

ларацией тех песен-стихов (читай – мыслей-взглядов), которые волновали нас тогда. Окуджава, Кукин, Дольский, Людвик Ашкенази (стихи), многое еще.

Помимо членов клуба, занятых непосредственно в игре на сцене, привлеченными оказались и профессионалы сочувствующие – друзья клуба. Режиссировал же спектакль Олег Белинский – очень хороший, молодой еще тогда режиссер из драмтеатра им. Карла Маркса, симпатизировавший клубу и вообще СП. И как-то на этой почве впрягшийся с нами в общую авантюру. Надеялся он на этой ниве создать свою театральную нетленку. (Через несколько лет, когда в Саратове и еще где-то на Волге у него в итоге не сильно пошло, Олег перебрался в Ташкент, режиссером в ТЮЗ.)

Вообще же, над спектаклем работал с энтузиазмом весь клуб, начиная от написания сценария (большая часть – Ланцберг, Воробьев), неоднократно переписываемого, и до многих-многих репетиций-прогонов. Скр. автор сего текста принял активное участие в важнейшей части работы – создании фонограммы к спектаклю, записи звуков «городского шума», дождя, трамвая и т.п. Делалось это, правда, в облегченных условиях – в звукомастерской театра К. Маркса, под непосредственным водительством О. Белинского...

Конец же печален. После всех прогонов, генеральных репетиций и сдач-принятий спектакля, и даже после расклеенной по городу афиши: «СКМП «Дорога», ЗРИМАЯ ПЕСНЯ», помню показанное мне Ланцбергом в душевном смятении письмо (ему его тоже кто-то одолжил на время, из хорошего отношения) из горькома партии, с каким-то грифом типа «для служебного пользования» и «по исполнению съесть». Текstdиректива гласил: «Городскому рекламному агентству: Заклеить афиши «СКМП «Дорога», ЗРИМАЯ ПЕСНЯ» повсеместно по месту их расклейки афишей: «Решения XXV съезда КПСС – выполним!»

Необходимое примечание: текст точен, без всяких наложений черного и прочего юмора; скопирован мною вручную на месте как образец непреходящей исторической ценности.

«Но вы смейтесь...»

Е.А. Примечание: Под «своей» имелаась в виду администрация ДК...

ЛЮБИМЕЙШИЕ ПЕСНИ КЛУБА – «ХИТЫ».

В. Л. Ой!

Скорее авторы – Устинов, Вера Матвеева, Крупп, Краснополянский...

М. Б. Действительно много, как говорит В.Л. И все же отмечу, конечно, неполно (порядок случайный):

«В городском саду», «Разговор у новогодней елки», «Лошади в океане», «За туманом», «Город», «Поезд», «Про Ленку Королева», «Про собачку Тябу», «Ночная дорога», «На далекой Амазонке», «На ясный огонь», «Под музыку Вивальди», «Я когда-то состарюсь...», «До свиданья, дорогие...», «А все кончается...», «Вспомните, ребята!», «Диалоги» (Визбора), «Сергея Санин», «Псков», «Мокрый вальс», «Грину» (Луферов), «Песня чудака» (он же), «Детская» (Егоров), «До-

жди», «Земляничные поляны», «Вот по-французски...», «Графиня» (Кимельфельд)...

Конечно, означенные гимны:

«Дорога» ("офиц."), «Пьеро» ("неоф.")

Из помянутых же В.Л. авторов:

«Набрел на домик я в лесу», «Синий краб», «Ах, эта церковь», «Конь – Золотая Грива», «Помнишь, как раньше...», «Не ищи меня, пожалуйста...», «Если бы я была твоей собакой», «Беды не тают», «Есть радость у огня», «Зеленый чай» (особенно – соло Татаринцевой), «Все дела свои» (Кирсанову), «Дорога, дорога», «Когда уезжают друзья», «Судьба глядит...», «Среда», «Был в июле снег», «Хочется жить...», «Что я натворил...», «Ровесников следы», «С дождями снег...», «Сто дорог»...

Из более специфичного:

«Мы уже расселись по машинам...» – незабвенное исполнение Наташи Махаличевой.

В. Л. Это текст Яна Сашина – пародия на М. Светлова. Он предполагал светловскую музыку («За зеленым забориком»), но Наталья пела какое-то танго. В паре с этой была прикольная песня про Лёлю.

М. Б. Еще пели Стеркина (Ланцберг, а особенно – Оля Татаринцева). И немало из Берга (и не потому, что по благу, вполне как «народное»): «Пора в дорогу», «Три квартала на Вольской», «Я оставлю тебе...», «Начать бы все заново», «Грушину», «Синева», «Разговор с ненормальным», «Художник», «Кривой сучок», «Песенка о голове», «Зеленый поезд», «Этюд на кухне», «Неуверенный монолог», «Этюд об осени», «Этюд в сумерки»... (Ой! – как говорит В.Л...)

ЭМБЛЕМА, ФЛАГ, ГИМН...

В. Л. Идея эмблемы была моя, гениальное воплощение – Люды Лебедянцевой. На эмблеме – Пьеро, который в песенке Егорова, на тоненьких ногах шатается по свету с узелком. Это был наш неофициальный гимн. Слева – солнце, его жар, может, протуберанцы...

Идея взять гимном «Дорогу» была моя, но пробить ее было трудно.

А Пьеро как-то легко стал главным, но для закрытых тусовок.

М. Б. Флаг – та же идея (Пьеро, дорога, солнце...). Идея (уже на фоне эмблемы) и исполнение – коллективные (но поскольку шитье, то больше – девочек).

Был еще второй, «неофициальный» флаг – к поездке на один из московских слетов КСП (где неофициальное ценилось не менее парадного) зародилось: «Деревня, тетка, глушь, Саратов».

Эмблема клуба была воплощена также на клубном значке – по эскизу Люды Лебедянцевой же. Значки мы изготавливали в Одессе («как и вся контрабанда, на Малой Арнаутской») – точнее, посредством родственных связей, на одном там «малом предприятии».

Как впоследствии выяснилось, на том же, на котором за несколько лет до того делались значки Одесского КСП «Дельфиния». А забегая вперед и отклоняясь от темы, добавим, что той же Малой Арнаутской еще через несколько лет прошел Ташкентский КСП «Апрель»...

«МЕЖДУГОРОДНЯЯ, АЛЛО!...»

В. Л. С кем дружили? КСП МАИ, Куйбышев (Паньшина), Киров, но не клуб, а лично Толик Порошин.

М. Б. КСП МАИ – начиная с легендарного (казалось нам уже тогда) ансамбля «Жаворонок» (многожды Грушинского лауреата (69-74 гг, за вычетом 71-го), за что и разжалованного уже к тому времени просто в «почетные» – ну, в общем, как сам Ланцберг).

Дима Дихтер (в грушинско-лауреатском составе – с 72-го), их руководитель и первый (из первых?) президент КСП МАИ, Саша Воронов, Витя Синявский, Володя Костарев. «Жаворонки» дали концерты из самых первых, организованных «Дорогой» в Саратове (зима 74-75). Надо сказать, за символический гонорар, даже по тем временам, почти бесплатно. «За идею», да из дружеско-братского отношения к клубу, то бишь тогда – к Ланцбергу. Концерты были фурорными событиями по всей культурной саратовской жизни – даже при том, что они были не самыми первыми у «Дороги». Первым приглашенным, в большом ДК (насколько помню, и не считая «самопального» Кукина), был Володя Муравьев из Казани, тоже на базе ксп-братства с Ланцбергом.

После уже, очень скоро, связи с КСП МАИ и впрямь вылились в дружеские отношения, и с клубом в целом, и со многими «отдельными представителями»: Наташа Воронова (жена Саши, да и все их многочисленное семейство – четверо детей, с пеленок, – постоянные участники всех слетов-фестивалей), Алик Горенштейн, Гера Киселев (все в разное время президенты КСП МАИ), Паша Босин, Лена Героева, Гала Крылова, Юра и Оля Козины (фонотека), многие другие. Отношения с ними, с клубом МАИ – поездки друг к другу в гости, обмены записями и т. п., совместные поездки на слеты (чего стоит только регулярное гостевание-шатрование толпы человек в 40-50 междугородной братии у Вороновых в их знаменитой гостеприимной квартире на Гурьянова, по несколько дней по несколько раз в год, по причине каждого слета – двух больших городских и, конечно, нескольких малых) – для меня и ныне образец того самого незамутненного «КСП в чистом виде», каким он представлялся в 70-е, являя для нас островок света, братства, надежды посреди общегосударственного маразма.

Толя Порошин – с ним мы преимущественно обменивались записями. «Товаром» с нашей стороны (как и для всех прочих возможных «деловых» партнеров) преимущественно была кассета Ланцберга, которую он незадолго до того благоразумно напел на домашний маг. Время от времени мы пополняли ее, по мере роста творческого багажа автора (в рамках одного пополнения Ланцберг препоручал мне всегда миссию исключительной важности – удержания перед ним микрофона на должном уровне, видимо, полагая, что именно так и происходит необходимое совершенствование технической поддержки в моем лице); иногда, по заявкам, посылались и записи состоявшихся у нас концертов. Конечно, при этом никто не подсчитывал дебет-кредит...

Толя являл собой классический пример «казэспэшника от туризма», доброго, простодушного, надежного друга. Часто он баловал нас замечательными большеформатными фото с фестивалей и др.

Уже в августе 74-го «по заданию» Берга произошло наше знакомство с представителями одесской «Дельфинии», по случаю ежегодного моего летопровождения в Одессе. Поначалу – с Игорем Лучинкиным (как раз – в районе служебного хода в Русский драмтеатр, где он тогда и трудился артистом театра). Игорь являл половину прославленного дуэта «Лучина-Береза» (вторую – Леша Куликов) – они заняли первое место среди дуэтов на VII Грушинском; среди других победителей Грушинского-74: Ланцберг (авторы), Муравьев (исполнители) и «Жаворонок» (ансамбли), так что крепить на этой ниве межгородские отношения, В.Л., конечно, сам бог велел...

Далее уже познакомились, и на долгие времена, с Мариком Мееровичем – бессменным президентом «Дельфинии», – и с его женой Ларисой Северной, кои обитали в уютной и многих же принявшей хате по Пионерской 5, V ст. Б. Фонтана. Из анекдотов того времени: «Что за газета такая – «Меерович Севера»?» (это у них почтовый ящик в парадном так подписан был).

Еще там же – Миша Кордонский, фонотетчик, технарь (через него, в основном, происходили обмены записями – фонотека «Дельфинии» была очень богатой, – и прочая переписка), социолог, педагог, «коммунар», известный по своей деятельности (в т. ч. и совместно с Ланцбергом) и ныне по СНГ.

В конце же апреля 1975-го состоялся исторический выезд делегации СКМП «Дорога» в столицу братского Узбекистана, по случаю открытия там Ташкентского КСП «Апрель». В другой формулировке – открытие как раз и отмечалось визитом-концертом В. Ланцберга, а также дружеским «круглым столом». Состав делегации – помянутый В. Ланцберг, М. Песенсон, М. Бяльский (последние двое, впрочем, плавно переводили цели поездки из творческого ксп-обмена в Чимганскую первомайскую альпиниаду).

Выступления Володи прошли на высоком идейно-художественном уровне, вполне соответствуя праздничности момента продвижение общего дела в качественно новый регион форпоста социализма на Востоке, а заодно и солнцу, свету и теплу, как и прочим традициям местного гостеприимства.

После – обсуждение «за круглым столом»; Володя дал, как сейчас бы сказали, пресс-конференцию на тему «Проникновенье наше по планете».

Объединенная общей сияющей идеей, вся наша оперативная межрегиональная группа уже грезилась о ташкентском нью-грушинском. И надо сказать, по тем идеалистическим временам не совсем во тьмоте; через пару лет, 1.05.77, эти грезы неизъяснимо претворились I Чимганским фестивалем; правда, пока без Ланцберга – по болезни он уступил заготовленное ему место председателя жюри Сереже Никитину (зато где-то там на подмостках бегали-колотили сцену Песенсон – М. Бяльский), но на последующих Чимганских Ланцберг принимал должность неизменного председателя. Небескритично, но и не без гордости вслушиваясь в группу товарищей, открывающих «Чимган»: *«Шепчутся деревья...»* – под развешивающимся над сценой одноименным кумачом-девизом фестиваля: *«Слушай – и скажи мне, верно ль я*

пою!...» Торжественное закрытие фестиваля сопровождалось обычно не менее торжественным присоединением метра к группе товарищей, и авторским запевом: *Вроде бы недавно рядом мы сидели / И из одного с тобой хлебали котелка...*

Где-то по дороге – письмо автора в Оргкомитет «Чимгана» / КСП «Апрель» – «Как нам обустроить «Чимган» (это когда проблемы, как и во всем, накопились) – хранящееся и поныне на должном месте в Музее славы ВИЛ...

Но это все – через два года и далее. А пока – дружественные обменные информацией, мнениями, записями, самими авторами (по взаимной наводке) – из первых выступавших в Ташкенте, помимо Ланцберга, – те же Кукин, Краснопольский, Никитины, Городницкий, Луферов... Надо признаться, не без использования в известной мере фактора родственности в связях: президента «Апреля» Игоря Бяльского угораздило оказаться по совместительству еще и моим братом...

Группа «Ку-ку» (Москва; она же, в чуть более расширенном составе – куст «Ку-ку»). Миша и Ира Столяры, Женя Кустовский (ныне – известный музыковед) и др.

В. Л. Точнее, группа «Ку-Ку» куста «СКО», в составе Жени Кустовского, Миши Геллера, Андрея Позмогова (впоследствии знаменитого звукорежиссера бардовских дисков), Марины Чепцовой, Миши Столяра и Иры тогда еще Кондратьевой. А хулиган, крамольник и охальник Кустовский сейчас один из лучших регентов православной церкви. Вот так-то!

М. Б. Познакомились с ними на IX Грушинском (76). Ребята так самоотверженно пели Ланцберга, и в таком диапазоне (от «Зеленого поезда» до «Этюда в сумерки»), и так классически, что невозможно было не проникнуться их пением, не познакомиться, а затем и подружиться. Дружба эта перешла вскоре в тесные отношения между клубами (а далее – и их дружба с маёвцами, так что образовался даже некий 'тройственный союз' – «Дорога»-МАИ-«Ку-ку»). За 76-й год мы еще успели несколько раз съездить друг другу в гости. В т. ч. мы в Москву на слет памяти Веры Матвеевой (Фирсановка, 26.09.76), они к нам в Саратов – попеть...

РАЗНОЕ

Е. А. *Работала ли в каком-нибудь виде гитарная школа при Клубе?*

В. Л. Вроде что-то было, но не очень регулярно. В памяти не отложилось.

М. Б. Была попытка, на раннем этапе, еще у Ланцберга дома. Для широкой публики, «для членов профсоюза» (то бишь, клуба), и вел ее «сам». На волне энтузиазма устремилась в нее и впрямь тьма народу – кто ж не мечтал держать гитару в руках... Но сравнительно быстро (через несколько недель/занятий) идея, увы, исчерпалась, – видимо, за нехваткой времени на все и другими приоритетами. Хотя, может, еще проще предположить – из ненавязчивого замечания, брошенного на одном «школьном» уроке-заседании какому-то случайному наблюда-

телю устало-натруженным педагогом: «Ребята-то они все хорошие. Только вот некоторым медведь на ухо наступил...»

Е. А. КСП и дети – велась ли работа с детьми, какая?

В. Л. Вера Евущкина сделала у себя дома тусовку «Синий краб». Они учились играть и петь, много рисовали. Иногда ходили в лес. Из четверых наиболее постоянных и активных назову имена троих – Вовка Зернаков, Люся Шорина, Эдик Тупиков (не Тупиков). Ему досталась моя гитара, когда я уезжал в Туапсе.

Е. А. Опишите тремя прилагательными атмосферу рядового клубного дня.

В. Л. Много всего сразу: тусовка состояла из разных групп. Но, в основном, обмен книжками и пленками, песни по кругу (куча авторов, то у одного, то у другого – новенькое). Приходили новые люди, и многие из них имели что предъявить. Были и графоманы, как без них! Слушали их. Одним новички были интересны любые (Зернаковой, мне...), другим – не очень, третьим – выборочно, если совпадали менталитет и интересы. Иногда делали что-то тематическое, показывали. День на день не приходился. Общеклубные дни были, в основном, тусовочные и этим мне не нравились.

К клубу прибывались ущербные – их не гнали. Было много евреев и сколько-то немцев (Юля Киндер) – а куда им было деваться! По этому поводу меня пытались потом ушучить в ГБ.

Некоторые специализировались на сплетнях – это был их инструмент самоутверждения. Всё, как во многих других клубах, но всё мощнее: мало кто мог соперничать с «Дорогой» в творческом плане.

М. Б. Добавил бы к В.Л. причастиями – завлекающая, сулящая, охмеляющая.

Е. А. Кем была для Клуба Галя Бараева?

В. Л. Один из лучших голосов. То появлялась, то пропадала, но о ее сложностях ты знаешь. Сложно было выпускать ее на сцену из-за странной манеры менять бой аккомпанемента как попало. Но как человек – один из самых.

М. Б. Помимо проникновенного голоса и растворения в исполняемой песне, – действительно замечательный человек. Каких помнят всю жизнь. Царствие ей – там...

Е. А. А мы действительно старейший в мире КСП?

В. Л. Отнюдь! Были Челябинск, Москва (клуб и кусты, хотя официально с 1974 года), Питер – «Восток» и «Меридиан», одесская «Дельфиния» и еще десятки.

М. Б. Нет. Старейшего не бывает.

октябрь-ноябрь 2004

Светлана Менделева
В РИТМЕ ПРИБОЯ

* * *

Я хочу быть рядом с тобой.
И на этом магните
Наши дети и наши свободы.
Я хочу быть рядом с тобой.
На терпения нити,
Как баранки, нанизаны годы.
Я хочу быть рядом с тобой.
Но мучительны тихие
Наши уступки,
И иллюзий скорлупки
На берег выносит прибой...
Я хочу быть рядом с тобой.

Я хочу быть рядом с тобой.
Время смотрит несыто,
Обещая большие невзгоды.
Я хочу быть рядом с тобой.
Эта нежность добыта
Трудом, как руда из породы.
Я хочу быть рядом с тобой.
Кто легко позавидует –
Скоро осудит.
Хэппи-энда не будет,
Вам сказочник скажет любой.
Я хочу быть рядом с тобой.

«Я хочу быть рядом с тобой» –
Отзовётся однажды.
Только память останется дрожью.
Я хочу быть рядом с тобой.
Между дружбой и жаждой –
Непросто решить, что дороже.
Я хочу быть рядом с тобой.
На любом полушарии,
Там, где печали короче,
Делай всё, что захочешь,
С нелепой своею судьбой!
Я хочу быть рядом с тобой.

* * *

Кривое зеркало удачи
На даче, где в плену покоя
Простые вещи под рукою,
И время движется иначе.
Чуть дальше мы от суматохи,
Чуть ближе к ситцевой перине.
И дни, застывшие в малине,
Не растворяются в потоке.

Кривое зеркало июля,
И мёд замедленных движений,
И блики вместо отражений
На потном профиле кастрюли.
И вечер, начатый с прохлады
И комариного оркестра...
И что случится – неизвестно.
И вдаль заглядывать не надо.

Кривое зеркало разлуки
Чуть обольстительней и слаще
Зной остужает в летней чаще,
Где листья нам целуют руки.
Где мы, бездумны и бездомны,
Теряем времени границы.
И так легко друг другу снится
Под небом близким и бездонным.

Покрыто пылью на буфете
Кривое зеркало удачи,
На подмосковной старой даче
Мои черты стирает ветер.
И, загнанное в рамки рамы,
Кривое зеркало печали
Прощает то, что не прощали
Другие виды амальгамы.

06.2004

ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ

Потерпи меня, мой милый.
Это, знаю, тяжело.
Что – осталось, что – остыло,
Что сквозь пальцы утекло.

Всё печальные раздумья,
Всё счастливые слова.
Я бездомна, как колдунья,
Я бессонна, как сова.

Греет мало зимний город,
Как ни странно, дорогой.
Обнимала бы другого, –
Если б я была другой.
Эту вечную причуду
Не прощу себе сама.
Я бессмертна, как простуда,
И безумна, как зима.

Января ладони грубы,
И объятья холодны.
Но его дыханьем губы
До весны обожжены.
Снова жарко мне. И жалко,
Что отхлынут холода.
Я печальна, как русалка.
И прозрачна, как вода.

Потерпи меня немного,
Не пускай меня одну.
За два шага до порога
В снежном ветре утону.
Я всю жизнь иду прилежно
У тебя на поводу.
Я бесстрашна, как надежда
На счастливую звезду.

2004

* * *

Качают нас холодные зимы деньки,
Горячие течения бурлят на дне.
Швыряет мой кораблик век коротенький.
А я другого не хочу, не надо мне.

Мелодия тиха в ночи, как вздох ничей,
Но мотыльком сгорает ночь в её огне,
И засыпает время на её плече.
А я другой и не хочу, не надо мне.

Начало века лихо подливает нам
Адреналина в вены, и вины – вдвойне.
У каждого под кожей – своя война.
Не победить, похоже, мне в моей войне...

Земля моя качается, как палуба.
И нету мне ни истины, ни пристани.
Когда нас перестанет время баловать,
Мы станем неизбежно оптимистами.

Чем дальше, тем счастливей мы – склеротики.
Короче память грустная, и дни длинней.
Швыряет мой кораблик век коротенький,
А я другого не хочу, не надо мне.

11.2004

ЗАСЫПАЯ

В ночном эфире – шорохи и вздохи.
И ветер завывает колыбельной,
И маленькие пальмы на Востоке
Скрипят не хуже мачты корабельной.
На иглах звёзд колышется воздушный
Колющий плед небесный надо всеми.
И чувствуешь щекою, как подушку,
Шершавое стареющее время.
И кажется огромною воронкой
В безумие летящее столетье,
И каркают фольклорные вороны
За форточкой, скрипящей на рассвете...

Но дрёма придвигается несмело,
Реалии бледнеют, холодея.
И делится на душу и на тело
Единственное, чем я здесь владею.

12.2004

Борис Борухов

МЕЖДУ ФИЛМОМ И ПЛИТРИМОМ

1

Стихотворение Уильяма Шекспира «Феникс и Голубь» не принадлежит к числу наиболее известных произведений великого английского драматурга, но литературоведы называют его одним из самых загадочных шекспировских текстов. Оно представляет собой реквием, в котором оплакивается безвременная смерть неких мужчины и женщины, покинувших этот мир, не оставив потомства, однако их настоящих имен поэт не называет. В реквиеме Шекспира они зашифрованы под аллегорическими «птичьими» именами – Голубь и Феникс.

Ученые неоднократно пытались установить прототипы этой анонимной пары. На роль Феникс, например, предлагалась английская королева Елизавета I, а на роль Голубя – граф Эссекс, казненный ею за организацию заговора. Было предпринято и немало попыток прояснить смысл этого трудного для понимания текста. Ни по одному из этих вопросов прийти к единому мнению шекспироведам так и не удалось, но единственное, в чем были согласны все, – это дата публикации стихотворения. Традиционно считалось, что впервые оно (вместе со стихами нескольких других авторов) было напечатано в 1601 году в приложении к вышедшему в Лондоне поэтическому сборнику поэта Роберта Честера «Love's Martyr»¹. Однако примерно двадцать лет назад общепринятая дата публикации стихотворения была неожиданно поставлена под сомнение.

В статье, опубликованной в середине 80-х годов, московский шекспировед Илья Гилилов выдвинул гипотезу, согласно которой честеровский сборник представляет собой мистификацию, и дата «1601» на титульном листе этого сборника – фальшивая. В действительности книга Честера была опубликована намного позже, в 1612 или даже в 1613 году. Что же касается героев по имени Феникс и Голубь, о которых скорбит в своем реквиеме Шекспир, то они, по мнению Гилилова, не королева Елизавета и не граф Эссекс, а пятый граф Ратленд и его жена Елизавета. Оба они умерли в 1612 году, причем, как и персонажи стихотворения Шекспира, бездетными. Их же оплакивают и шесть других участников сборника. Другой пары, которая бы так соответствовала содержанию опубликованных в книге Честера текстов, в Англии в те времена, считает Гилилов, не было.

До поры до времени о гипотезе Гилилова знали только в узких академических кругах, но в 1997 году ученый изложил эту теорию в

¹ Английские существительные рода не имеют, поэтому название сборника можно перевести двояко: «Мученик любви» или «Мученица любви».

первой главе своей монографии². Книга стала бестселлером, была переведена на иностранные языки, и гипотеза московского шекспироведа получила широкую известность.

2

По вполне понятным причинам со столь радикальной передатировкой честеровского сборника и опубликованного в нем стихотворения Шекспира согласились далеко не все. Ведь на титульном листе сборника стоит все-таки цифра «1601», а не «1612-1613». Если Гилилов прав, и сборник Честера действительно вышел в 1612 или 1613 году, тогда Шекспир и в самом деле мог оплакивать умерших в 1612 году графа и графиню, но если правы сторонники традиционной датировки и книга Честера была опубликована в 1601 году, тогда гипотеза автора «Игры» сразу становится беспочвенной. Не мог же Шекспир написать реквием по живым людям, которым предстояло прожить еще долгих одиннадцать лет. Однако у Гилилова был заготовлен серьезный, как он считает, контраргумент. Никаких объективных подтверждений даты «1601», по его мнению, не существует. Если бы сборник Честера действительно вышел в 1601 году, его бы обязательно кто-нибудь из ближайших современников прочел и упомянул. Однако сборник, по его мнению, прошел совершенно незамеченным, словно его никогда не существовало. Ни «малейшего упоминания о книге [Честера] в современных ей документах, дневниках, письмах», утверждает Гилилов, не существует.

Надо сказать, что сама по себе такая аргументация очень далека от того, чтобы быть убедительной. Если мы начнем подозревать все книги, которых никто никогда не упоминал, в том, что они являются мистификацией, нам придется полностью переписать всю историю мировой литературы. Даже в наши дни многие печатные издания не удостоиваются ни одной рецензии в средствах массовой информации. Возможно, они и упоминаются в чьих-то частных письмах или дневниках, но дойдут ли эти документы до наших потомков, неизвестно. Означает ли это, что даты издания на титульных листах всех этих книг – фальшивые? Тем не менее, ряд ученых (включая и некоторых англоязычных) с аргументами Ильи Гилилова согласились.

За прошедшие годы автор внес в свою теорию несколько незначительных уточнений, однако суть его концепции не изменилась. Он по-прежнему утверждает, что честеровский сборник вышел в 1612-1613 гг., а его традиционная датировка – 1601 – ничем не подтверждается. Более того, если в русских изданиях книги он писал: «Подтверждения [даты «1601»] нет!», то в американском это утверждение даже еще более усилено. «Подтверждения, – восклицает автор, – нет совсем!» Восклицательные знаки, стоящие в конце этого предложения во всех изданиях «Игры об Уильяме Шекспире», свидетельству-

² См.: И. Гилилов. Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса. М., «Артист, режиссер, театр», 1997, сс. 13-97.

ют о том, что московский шекспировед был и остается абсолютно уверенным в своей правоте. Иными словами, он совершенно искренне считает, что документов, подтверждающих традиционную дату публикации книги Честера и опровергающих его собственную пердатировку, не существует. Не удивительно, что поверили в это и его многочисленные последователи. На любые возражения оппонентов Гилилов и его сторонники неизменно отвечают, что дата «1601» ровным счетом ничем не подтверждается и все якобы указывает на то, что сборник вышел после смерти графа и графини Ратленд. Однако жизнь, как известно, чревата сюрпризами, и не так давно автору этих строк удалось найти документ, который указывает совсем на другое. Документ отыскался на родине Макбета.

3

Имя шотландского поэта XVII века Уильяма Драммонда (1585-1649) русскоязычному читателю известно мало, однако на родине поэта его сочинения ценятся, изучаются и переиздаются. Кроме того, Драммонд вошел в историю английской литературы как собеседник Бена Джонсона. В 1618-1619 гг. выдающийся английский драматург совершил пеший поход в Шотландию, где посетил в том числе и Уильяма Драммонда. Провинциальный поэт жадно набросился на лондонского гостя с расспросами, и тот охотно поведал ему главные новости столичной литературной жизни, а также сообщил много других любопытных сведений. Однако подробности бесед двух литераторов XVII века до нас бы, скорее всего, не дошли, если бы Драммонд, на наше счастье, их не записал. Эти записи являются бесценным документом эпохи, в котором содержится интереснейшая информация как о Бене Джонсоне, так и о других писателях того времени. Но в Шотландии хранятся и другие документы, оставшиеся от Драммонда. Оказывается, поэт записывал не только свои разговоры со словоохотливым Джонсоном. Столь же аккуратно он заносил в дневник и названия прочитанных им книг. Списки этих книг сохранились за несколько лет, и они показывают, что круг чтения шотландского поэта был очень широк. Но самый ранний по времени список озаглавлен «Книги, прочитанные мной в 1606 году». Именно этот список и преподнес мне неожиданный сюрприз.

Впервые я прочитал о нем в январе 2005 года, когда мне понадобилось навести справки в одной давнишней монографии Бернарда Ньюдигейта. Излагая биографию Драммонда, Ньюдигейт рассказывал, помимо всего прочего, и о том, что в перечне книг, прочитанных Драммондом в 1606 году, есть несколько произведений Шекспира, английский перевод «Метаморфоз» Овидия, поэма «Неистовый Роланд» и многое другое.³ Все это было, несомненно, интересно, но вряд ли заставило бы меня вздрогнуть, если бы в этом списке я не увидел названия книги... Роберта Честера.

³ См.: B. Newdigate, *Michael Drayton and his circle* (Oxford, 1941), 174.

Признаюсь, в первый момент я не поверил своим глазам. Ведь, по словам Ильи Гилилова, исследователи не смогли найти ни единого свидетельства о том, что современники знали о существовании честеровского сборника. Правда, Гилилов намекает на «некоторые факты, требующие дальнейших исследований», которые «позволяют предположить, что в 1605-1606 годах основная часть поэмы Честера... была в виде рукописи или списка известна его друзьям», но что это за таинственные «факты» и кто эти загадочные «друзья», умалчивает. Однако есть такие факты или их нет, в любом случае речь идет только о рукописи или списке. Что же касается сборника Честера, то его, по словам Гилилова, в XVII веке не читал никто. Между тем, Ньюдигейт сообщал о том, что Драммонд в 1606 году прочел честеровский сборник, как о чем-то само собой разумеющемся. Но в таком случае, подумал я, может быть, это какая-то ошибка? Может быть, никакого списка с упоминанием книги Честера не существует в природе? Однако дальнейшая проверка этой информации показала, что никакой ошибки нет. Более того, оказалось, что Ньюдигейт даже не был первым, кто об этом сообщил. Еще в 1857 году Дэвид Лэйнг опубликовал большую часть архива Драммонда в трудах Общества Антикваров Шотландии и среди них – тот самый список 1606 года. Полностью. Все 42 названия.⁴ Именно у Лэйнга Ньюдигейт свою информацию и позаимствовал; в его книге есть соответствующая ссылка. А кроме того, и это, пожалуй, самое важное, список книг, прочитанных Драммондом в 1606 году, сохранился до наших дней...

Когда я делал запрос в Национальную Библиотеку Шотландии, где хранится архив Драммонда, полной уверенности в существовании этого невероятного списка у меня не было. Дело в том, что Ньюдигейт, судя по всему, сам этот список в руках не держал, ибо рассказывал о нем, ссылаясь на работу другого исследователя. Таким образом, последним из ученых, кто видел список 1606 года своими глазами, был, по-видимому, Лэйнг. Но ведь с тех пор прошло почти полтора столетия. За прошедшие годы список мог сгореть, исчезнуть, оказаться в частной коллекции и т. д. Мы знаем о целом ряде документов, которые когда-то держали в руках выдающиеся шекспироведы прошлого, но с тех пор об этих документах никто больше никогда не слышал. К счастью, мои опасения оказались напрасными. Как сообщил мне в своем ответе главный куратор отдела рукописей библиотеки мистер Браун, список книг, прочитанных Драммондом в 1606 году, по-прежнему существует и находится в манускрипте № 2059 на странице 362.

И вот цветная фотокопия страницы 362 лежит у меня на столе. Бумага немного пожелтела, а буквы выцвели, но в целом документ прекрасно сохранился. Вверху ясно виден заголовок: «Bookes red by me anno 1606» [Книги, прочитанные мной в 1606 году]. Как и писал Ньюдигейт, в списке есть несколько книг Шекспира – «Ромео и Джульета», «Напрасные усилия любви», «Изнасилование Лукреции»,

⁴ См.: *Archaeologia Scotica: transactions of the Society of Antiquaries of Scotland*, Vol. 4 (1857), 73.

«Сон в летнюю ночь». Но самое главное содержится в двадцать второй строке этого списка, где между совсем еще тогда свежей литературной новинкой, сатирой Майкла Дрейтона «Филин» (1604) и известным псевдошекспировским сборником «Страстный пилигрим» (1599) рукой Драммонда четко и разборчиво написано: «Loves Martir». Второй книги с таким названием в 1606 году не было, ошибиться тут просто невозможно. Разумеется, это «Love's Martyr» Роберта Честера. Тот самый честеровский сборник, достоверных упоминаний о котором, по словам Гилилова, «в литературе эпохи, дневниках, письмах, документах современников» никто якобы обнаружить не мог.⁵

Таким образом, Бернард Ньюдигейт не ошибся. Драммонд действительно читал сборник Честера, и, более того, об этом уже сообщалось в научной литературе. Причем если труды общества антикваров, в которых список 1606 года был опубликован впервые, вышли малым тиражом и труднодоступны, то книга самого Ньюдигейта, которая навела меня на след, – работа очень известная, и специалисты ссылаются на нее довольно часто. К тому же, в 1961 году она была переиздана. Не исключено, что запись Драммонда упоминается и в других научных трудах, которые еще не попались мне на глаза. Почему же, может спросить читатель, давно обнародованный факт наличия книги Честера в списке Драммонда остался неизвестным Илье Гилилову, который посвятил изучению честеровского сборника не одно десятилетие? Не знаю. Возможно, это объясняется тем, что список Драммонда был опубликован в изданиях, которые ни к честеровскому сборнику, ни к Шекспиру прямого отношения не имеют, а, возможно, были какие-то другие причины. Но, как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. Теперь несколько раз опубликованный список Драммонда снова «нашелся» и хочется надеяться, что на этот раз он больше не «потеряется».

4

Следует отметить, что Уильям Драммонд отнюдь не единственный из читателей XVII столетия, кто держал книгу Честера в руках. «В XVII веке, – утверждает Гилилов, – насколько известно, никто о честеровском сборнике не вспоминал...». Это неверно. Во-первых, как пишет сам же автор «Игры», «в 1640 году Джон Бенсон издает поэтические произведения Шекспира, куда включает и поэму о Голубе и Феникс из честеровского сборника». Логично предположить, что Бенсон читал и сам сборник, в котором это стихотворение было впервые опубликовано. А кроме того, Гилилову, по-видимому, осталось неизвестным, что книга Честера находилась в личной библиотеке

⁵ Кстати, в оригинале сборник называется «Loves Martyr» и, таким образом, написание Драммонда отличается от честеровского. Однако читателя это смущать не должно. Орфография XVII века была неустойчивой и варьировавшейся, а буквы «v-u» и «y-i» считались взаимозаменяемыми.

женщины по имени Франсес Уолфрестон (1607-1677). Ее экземпляр сборника уцелел (хотя и сильно пострадал) и хранится ныне в Уэльской Национальной Библиотеке. Таким образом, в XVII веке, помимо Драммонда, у книги было еще как минимум два читателя. Однако когда именно Бенсон и Уолфрестон познакомились с честеровским сборником, нам неизвестно, а вот список Драммонда, к счастью, точно датирован. И это делает его для нас воистину бесценным. Ибо этот документ позволяет нам точно сказать, когда же все-таки честеровский сборник был опубликован. В чью же пользу решает вопрос список Драммонда? Какая из двух датировок – традиционная или предложенная Гилиловым – должна быть признана правильной? Я думаю, двух мнений здесь быть не может. Разумеется, традиционная.

Поскольку Драммонд прочитал книгу Честера в 1606 году, значит, позже этой даты она выйти в свет никак не могла. Но если так, она не могла быть опубликована даже в 1607 году, не говоря уже о 1612 или 1613. Иными словами, датировка сборника, предложенная московским шекспироведом, совершенно нереальна. Она столь же невозможна, как и дата «1739» или, скажем, «1957». Но это еще не все. Благодаря списку Драммонда мы можем точно определить не только время, когда честеровский сборник появиться не мог, но и действительное время его выхода в свет. Правда, взятый сам по себе, перечень Драммонда этого сделать, конечно, не в состоянии. Ведь в нем не написано черным по белому: «Я, Уильям Драммонд, собственными глазами видел, как сборник Честера печатался в типографии и поступил в продажу в таком-то году». Однако если использовать запись Драммонда в сочетании с другими известными нам фактами, то истинная дата публикации сборника загадкой быть перестает.

Так как книга Честера была прочитана Драммондом в 1606 году, то, теоретически, она могла выйти либо в том же 1606 году, либо в любом другом, ему предшествующем. Однако в сборнике есть внутренние признаки, позволяющие значительно сузить возможные временные рамки публикации. Во-первых, книга посвящена одному из придворных королевы Елизаветы I, уэльскому поэту и меценату сэру Джону Солсбери, а известно, что «сэром», то есть «рыцарем», Солсбери стал в 1601 году. Таким образом, сборник вышел не только до 1606 года, но и не ранее 1601. Во-вторых, сэра Джона Солсбери называют в сборнике «эсквайром-телохранителем ее величества королевы», а эту придворную должность он занимал только до 1603 года. Следовательно, сборник вышел в свет между 1601 и 1603 годами. И, наконец, в сборнике есть характерная подпись Бена Джонсона, позволяющая утверждать, что книга не могла быть опубликована позже 1602 года. Итак, у нас остаются две возможные даты – «1601» и «1602». Какую из них выбрать? Вообще говоря, дата «1602» ничем не хуже даты «1601», поэтому в принципе можно было бы, наверное, выбрать и ее. Но поскольку на титульном листе книги стоит все-таки цифра «1601», то элементарный здравый смысл требует признать, что сборник был издан именно в этом, 1601 году, и, стало быть, дата на его титульном листе не «фальшивая», а самая что ни на есть подлинная.

5

Итак, оставшийся неизвестным Гилилову перечень книг, прочитанных Драммондом в 1606 году, в совокупности с другими перечисленными выше особенностями книги Честера позволяет не только забраковать предложенные московским шекспироведом гипотетические даты «1612» и «1613» как невозможные, но и подтвердить, что дата «1601» на титульном листе первого издания книги Честера⁶ ни мистификацией, ни розыгрышем, ни обманом не является. В 1601 году сборник вышел из печати, а через пять лет Драммонд его прочел. Что может быть естественнее? По случайному совпадению, я тоже впервые прочел книгу Гилилова через пять лет после ее выхода, то есть в 2002 году. Разве это не доказывает, что «Игра об Уильяме Шекспире» вышла, скорее, в 1997 году, чем в 2012 или 2013? Однако список Драммонда не только опровергает датировку Гилилова, но и неизбежно заставляет поставить под вопрос сделанные им на ее основе выводы.

Поскольку честеровский сборник, как мы теперь точно знаем, был издан не в 1612 или 1613 годах, а гораздо раньше, значит, он был напечатан не после смерти графа Ратленда и его жены, а еще при их жизни. Но в таком случае ни Шекспир, ни другие авторы сборника Честера оплакивать умерших Ратлендов никак не могли. Это, правда, не дает нам ответа на вопрос, кому же все-таки Шекспир посвятил свой загадочный реквием и кого имеют в виду шесть его соседей по сборнику. Единодушия на этот счет среди ученых нет. Некоторые полагают, что никаких реальных прототипов у Феникс и Голубя не было вообще, и Шекспир просто написал философское стихотворение об идеальной любви. Другие по-прежнему убеждены, что такие прототипы существовали. Кто прав, покажет время. Но если, в конце концов, все-таки выяснится, что автор «Гамлета» и другие участники честеровского проекта действительно имели в виду каких-то реальных людей, умерших в 1601 году или раньше, то уже теперь можно со всей определенностью сказать, что ни Ратленд, ни его супруга, покинувшие этот мир гораздо позже, в 1612 году, этими людьми-прототипами быть не могут.

В 1973 году шекспировед А. Роуз объявил, что он разгадал давно волновавшую человечество загадку Смуглой Леди шекспировских сонетов. Ученый установил, что таинственной возлюбленной Шекспира была не кто иная, как поэтесса Эмилия Леньер. Это открытие он сделал, читая рукописный дневник шекспировского современника Симона Формана, который, как обнаружил Роуз, назвал Эмилию brown (коричневая), то есть смуглокожая. Газета «Таймс» сообщила об открытии Роуза на первой полосе, и весть об этом быстро облетела весь мир. Вскоре вышло подготовленное Роузом издание шекспировских сонетов под громким заголовком: «Шекспировские сонеты: проблемы решены». Однако проблемы сонетов оставались решенными недолго. В том же году другой шекспировед перечитал соответст-

⁶ В 1611 году честеровский сборник был переиздан еще раз.

вующее место из дневника Формана и обнаружил, что автор открытия плохо умел читать почерк современников Шекспира. В действительности в дневнике было написано не «brown», а «brave». В английском языке шекспировских времен это означало «красивая».

В отличие от «смуглой» сенсации Роуза, «птичья» гипотеза Ильи Гилюлова продержалась на плаву несколько дольше, но теперь и ее тоже можно списать в архив как неподтвердившуюся. Мне жаль разочаровывать многочисленных поклонников «Игры об Уильяме Шекспире», но два маленьких слова «Loues Martir», начертанные в 1606 году рукой Драммонда между «Филином» и «Страстным пилигримом», совершенно однозначно свидетельствуют о том, что честеровский сборник вышел в свет в 1601 году, а, стало быть, граф и графиня Ратленд к таинственным шекспировским птицам никакого отношения не имеют.

I have read
 Drammond's
 Loues Martir
 of a Pilgrimage
 of a metamorphosis of a knight
 of a knight of knight

Фрагмент списка книг, прочитанных У. Драммондом в 1606 году и содержащий (третья строка сверху) название книги Роберта Честера «Loues Martir». Публикуется впервые с любезного разрешения Общества Антикваров Шотландии.

I am grateful to the Society of Antiquaries of Scotland for permission to reproduce MS 2059 f. 362 (the Hawthornden Manuscripts).

Мария Фаликман

В СОСНАХ

БАЛТИЙСКОЕ-1. L'INSOUCIANCE

Предзакатной позолоты дожидаясь терпеливо,
я дела свои бросала в одночасье,
уходила и терялась где-то в соснах у залива,
где стыдливо ветер душу рвал на части.

На песке чертила буквы, буквы те волна стирала
и руки моей касалась: не горю ли?
Не горюю ли? А после повара из ресторана
приходили прямо к морю мыть кастрюли.

И кастрюли золотились, и стоящий по колено
в водах моря человек склонялся ниже,
и кипа его чернела, и взира́л проникновенно
бог его, и все нашептывал: «Взгляни же!» –

и лизали берег волны, а вдали белела лодка:
кто бы к ней приделал парус – вышло б мило.
Век глядел бы, но кастрюли плыли прочь, и он неловко
собирал их, чтобы вновь волной не смыло.

Уходило в сосны солнце. Повара, как адмиралы,
шли вразвалочку песка полоской голой,
и какое-то устройство песни старые играло,
и назвать его тянуло радиолой.

А когда полоска пляжа ближе к сумеркам пустела,
и когда залив мелел, и руки стыли,
я, как все, шагала в номер, где орнаменты по стенам,
населять собою стены те пустые.

Вот такое было время. И еще, бог даст, случится.
А чего ж ему не дать бы, Всеблагому?
Если вспомнит и не спутает, то мне приснится птица –
странно думать, что кому-нибудь другому

станут сниться облака, и твой рукав в соленых брызгах,
клекот чаек, ослепительно несносных...
Я и дальше бы мечтала. Но когда ты слишком близко,
я теряюсь. Как тогда. У моря. В соснах.

* * *

Когда сменялось столетие,
Баху было пятнадцать.
Цветаевой – восемь.
Мне было двадцать четыре.

Иоганн Себастьян учился в латинской школе,
Музицировал на скрипке и клавесине.
Марина – тогда еще Муся –
Записывала стихи в клеенчатую тетрадку,
Не стыдясь называть ее «Вечерним альбомом».
Я сочиняла скучнейший научный труд,
Который прочли от силы три человека,
По вечерам ходила слушать сонаты
Для скрипки и клавесина.
Кусая губы, читала «Поэму конца»,
Не смея вдохнуть – «Поэму воздуха»
В каком-то академическом издании,
Где подсчитали количество строк и слогов
В каждой строфе. А подумать: какая разница?
Главное – все были живы.

И когда я об этом вспомнила утром,
Ты, прислонившись щекою к моей щеке,
Недоуменно спросил: «Отчего ты плачешь?»
И впрямь – отчего?

ИЗ «ШОРОХОВ»

Отойдешь от дороги на шаг-другой,
чтобы выгнуться там, словно кот, дугой,
чтоб никто другой не мешал.
Воробей или мышь прошуршит в траве,
ускользнет – и не сыщешь потом в Москве,
не поймешь, кто в траве шуршал.

* * *

Выходя сегодня в город, я не думала задерживаться в нем.
Воскресенье – день прокуренных дворов и вызывающих реклам.
Я свернула в переулок, посуливший, что не раз еще свернем
в эту изморось ноябрьскую, в туманный ослепительный бедлам.

И по улице посольской, освещенной, словно лайнер, я без слов
проходила мимо будок, где ушастые сержанты пили чай,

мимо каменных насупившихся львов и разрисованных орлов, вдоль усадеб, где не Львовы, так Орловы ночевали невзначай,

то любезностями сыпали, то дождь пережидали проливной. Я робела, представляя, сколько хитростей простили эти львы. И кружило надо мною воскресенье – время боли головной, отчего-то не спускаясь, сторонясь моей склоненной головы.

И ни ангел не хранил ее тогда, ни анальгин, ни талисман, но не стоило тревожиться, что память этот вечер исказит. За оградой зоопарка тишина и восхитительный туман. Мостовая под ногами подмерзает и предательски скользит.

ДЕКАБРЬ

Мы шли переделкинским долгим проселком вослед за луною. Внезапно стемнело, и лампы в окрестных домах засветились, и сосны чернели, а елки поодаль стояли стеною – до Нового года своею ненужностью чуть тяготились.

Луна исчезала и вновь появлялась. Мы очень смеялись и прятали варежки – мол, не замерзнем. Блуждали в потемках, замерзнув, вернулись туда, где теплее. Вахтеры сменялись, и мы проскользнули под их разговоры в свою комнатенку.

Звучал за стеной монолог вдохновенный, да вдруг оборвался. Притихли и мы, потрясенно следя за светящимся диском. И вечер тянулся и все не кончался, и чай согревался в заслуженной кружке, оттертой до блеска песком прибалтийским.

Там сосны иные шумели за дюнами тише и строже, мы были моложе всего на полгода и были смешные, но это «моложе» теперь пробирало морозом по коже. Мороз ни к утру не утих, ни к полудню. Мы шли и отныне

следы оставляли на белом покрове, и был он податлив. Стояли одни среди старых стволов, их полуденной меди, под медленным снегом, смотрели на птицу из племени дятлов, а дятел стучал по сосне терпеливо и нас не заметил.

Да что нас бояться? Подумаешь тоже, два тощих создания, луной переделкинской, сонными соснами сбитые с толку насколько, что даже невольно забыли сказать до свиданья приюту недолгому и занесенному снегом проселку.

Давид Маркиш

ИСТОРИЯ С ТЕОТРАФИЕЙ или НЕИСПОВЕДИМЫЙ ПУТЬ СМОТИСТА

В школе его звали «Миша Хороший». Прозвище приклеилось, и повзрослевший Михаил Кицис, телевизионный продюсер, остался для друзей-товарищей Мишей Хорошим.

Чёрно-белое школьное время протекало за Полярным кругом, у чёрта на рогах – в Кандалакше. Точно так же, как Волга впадает в Каспийское море, Кандалакша расположена на Кольском полуострове; этот факт практически не вызывает сомнений. Северной этой Кандалакши топорщится в жёлтых льдах сельцо Куево-Кукуево, а уже за ним, за его околицей, расположен край света. На Краю проживают лопари, подверженные дивной болезни под названием мороченье: то ли они, лопари, морочат голову окружающим, то ли окружающий угрюмый мир морочит им мозги – неизвестно. Известно, однако, что ещё в начале двадцатых годов прошлого века учёный-парапсихолог Барченко, руководитель Института чародейства и волшебства при спецотделе ЧК, проводил исследования в тех ледовитых краях. По категорическому поручению начальника спецотдела Глеба Бокия он искал причины, возбуждающие всеобщее обмороченье и затмение ума. Эти тайные причины, которые Барченко призван был сделать явными, хитрый Бокий намеревался использовать в борьбе с контрреволюцией и скрытыми врагами советской власти. Кстати сказать, тот же Глеб Бокий послал великого авантюриста Якова Блюмкина на Тибет искать Шамбалу.

Ко времени появления в гарнизоне Кандалакши военврача Бориса Кициса – отца Миши Хорошего – воспоминания об экспедиции Барченко успели испариться из памяти местных старожилов не коренной национальности. Коренные же лопари, явившиеся объектом научного интереса исследователя, вообще его как бы не заметили и проигнорировали под влиянием непрекращающегося никогда алкогольного счастья. Счастье это, следует отметить, не рассеялось до сих пор и благополучно продолжается с приходом демократии в заполярные просторы.

Многим показалось бы, на первый не внимательный взгляд, что Кандалакша – гиблое местечко, где при свете северного сияния торгуют мороженым из прошлогоднего снега. И что «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов» эта российская земля не родит ни при каких обстоятельствах. И что даже сам Михайло Васильевич

* Многие израильские писатели, пишущие на русском языке, в свое время тоже были молодыми и жили в России. Об этом времени – заметки Давида Маркиша, который представляет бывшего «молодого автора» из легендарной группы «СМОГ».

Ломоносов, северный помор, окончательно спился бы тут с круга и очоценел.

Но именно здесь, на засыпанных обломками битой стеклянной тары хулиганских дворах Кандалакши пересеклись дорожки Миши Хорошего и Вени Ерофеева. Того самого Венички.

В отличие от Миши Хорошего, появившегося на свет во Львове, автор знаменитой поэмы «Москва–Петушки» родился в окрестностях Кандалакши. И если под пером Ерофеева захоластные подмосковные Петушки обрели бессмертие, «малую родину» писатель обошёл своей любовью: Кандалакша так и осталась не прославленной мастером. Это, однако, не говорит напрямую об активной нелюбви Ерофеева к своему заполярному гнезду. Напротив, кандалакшинская тема часто возникала в застольных дружеских разговорах Миши и Вени в Москве, где они оба со временем оказались. Мишу Хорошего привело в Белокаменную поэтическое беспокойство характера, Венья же, награждённый по окончании школы золотой медалью круглого отличника, приехал в столицу поступать в Университет.

Мише Кицису в Москве повезло: его не арестовали и не посадили в тюрьму. А могли: он стал ходить на поэтические чтения к памятнику Маяковского, «на Маяковку», где читали и говорили все желающие, в том числе и из непрозрачной толпы. Разумеется, советской власти (*Софье Власьевне*, как тогда острили) эти чтения совсем не нравились: в нецензурированных стихах можно было без труда обнаружить анти-советские настроения, а в толпе зевак-говорунов вроде бы ненароком появлялись такие неисправимые враги режима, как Владимир Буковский, а с ним и другие будущие сидельцы-демпвиженцы. Одним словом, кагэбэшников на Маяковке толпилось куда больше, чем поэтов, и это было гарантией грядущих посадок.

Странное дело: пересажали не всех, и это доказывает нам, что не следует преувеличивать всезнание и успехи ГБ (*Галины Борисовны*, в камуфляжном звучании того времени); даже несгибаемые большевики иногда допускали промахи. Смогисты или Смоги (неформальная московская поэтическая группа «Самые Молодые Гении») и вольнолюбивый «Феникс», которым поровну был предан своей голубоглазой поэтической душой Миша Хороший, вообще не были разгромлены, хотя всем участникам можно было бы без хлопот припаять по семёрке, учитывая вызывающую групповщину. Богемных Смогов, как видно, спас и уберёг разгульный образ жизни, не оставлявший времени для антигосударственных поступков. И это доказывает всем нам несомненную пользу пьянства на Руси: с пьяного какой спрос, если он лыка не вяжет!

С тех не столь давних, но вполне оморочных времён Смогов сохранилось не много – можно перечесать по пальцам одной руки. А смогистские стихи – и тех, кто ушёл, и тех, кто задержался – уже принадлежат Вечности, скрупулёзно подбирающей слова поэтов в свою копилку. Так да здравствует Вечность – этот солнечный луч, в котором танцуют пылинки в шляпах с плюмажами и в ботфортах с серебряными шпорами!

Михаил Кицис
ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

ВЕНЕДИКТУ ЕРОФЕЕВУ

*К первой публикации на русском языке
поэмы «Москва-Петушки» в журнале АМИ*

Хребет лениво выгнул мост,
Чертя кривую роковую
И брызнул воспаленный мозг
На ледяную мостовую.

Больна пророчеством строка,
Надежно шило в горло впилося.
Свою гибель предрекать
Способность все же сохранилась.

Она лишь избранным дана,
На дне лежащая идея.
Им суждено всю жизнь до дна
Хлебать отраву, не хмелея.

Нужны угодники в аду –
И суетятся пустомели,
Когда в горячечном бреду
Их вяжут в собственной постели.

Они живут в стихии льда,
Им подмосковные морозы
Сердца сковали навсегда
Надежно до анабиоза.

О, им совсем немного лет,
Но как же дружно вожделеют,
Завидев черный пистолет,
Высоцкий, Галич, Ерофеев.

Один бесхитростный сюжет
Одна развязка увенчает –
Все тот же черный пистолет
Всегда без промаха стреляет.

ПУТЕШЕСТВИЕ**или МАЯКОВКЕ – С ЗАПОЛЯРНЫМ ПРИВЕТОМ**

Мы все вас покидаем, бабы,
Как Русь, сулящую морозы...
И пусть горят в снегах берёзы
Мы все вас покидаем, бабы.

Леонид Губанов, «Полина»

Здравствуй, дальняя дорога,
Золотые стремяна!
Погляди мне вслед с порога –
Будет долгая война.

Слезы скоро высыхают,
Сердце долго не болит...
Вспоминай меня, родная,
Если буду я убит.

Полковой оркестр играет,
Птицы черные кричат.
Вспоминай меня, родная,
Ровно девять дней подряд.

На десятый день кручину
Молодым вином гаси
И веселого мужчину
К себе в гости пригласи.

Пусть он будет адъютантом,
Генералом, атташе,
Если милый с аксельбантом,
Проживешь и в шалаше.

Оглянуться не успеешь –
Где Губанов удалой?
Постареешь, растолстеешь,
А я снова молодой!

17 декабря 1987

Дмитрий Сухарев

«Я БЫЛА ВАМ ХОРОШИМ ПОВАРИЩЕМ»

Обстоятельства преждевременной кончины поэта Татьяны Бек оказались чрезвычайными. Брань и угрозы с той стороны, откуда она их никак не ожидала; ничтожество симпатии со стороны другой, откуда должны были хлынуть слова и действия поддержки. Усилием ли воли пришлось пресечь жизнь, ставшую вдруг невыносимой, или жизнь прекратилась сама – какая теперь разница?

Насильственный характер смерти очевиден, как очевидна и причинная связь этого события с общественным климатом. Неудивительно, что слово «порча» внятно прозвучало на панихиде и за поминальным столом, пошло кругами по Москве, проникло в Интернет.

Порча не возникает ниоткуда. Про то, что она – легко объяснимый продукт социальной несправедливости, поразившей заодно со всей Россией профессиональное сообщество литераторов, сказала сама Татьяна Александровна. Дело было года два назад, мы с Татьяной вели под Москвой семинар молодых поэтов, и туда приехал со съемочной группой режиссер Юрий Буров делать документальный фильм о поэте Т. Бек. (Фильм вскоре прошел на канале «Культура», к похоронам показ повторили.) Перед камерой Татьяна вдруг завела речь о литературных премиях – о том, во что выливается их присуждение. Слова вошли в фильм. Произнесенные с тихой улыбкой, они кажутся теперь предупреждением. Совсем как у Ахматовой: «Но я предупреждаю вас, / Что я живу в последний раз».

Я спросил логично: «А что, Таня, раньше было, что ли, справедливой? Вспомните, кто только ни становился лауреатом при советской власти». Она ответила примерно так: «Во-первых, тогда от премии не зависело, хватит ли мне денег купить пальто взамен дырявого. А главное, при советской власти премии присуждались теми, от кого мы и не ждали справедливости, а сейчас решения принимаются своими, профессионалами, людьми нашего круга». Для нее это была большая тема.

Пожалуй, Т. Бек вообще имела склонность к преувеличениям, что свойственно людям сверхчувствительной организации. К примеру, называя себя в стихах «уродом», она явно хватала через край. «Ну, может, сама она так и думала, – справедливо заметила в недавнем письме поэт Марина Бородинская, – и, конечно, поклонники Барби так подумали бы, но вообще-то она была очень красивая. Что-то цветаевское в ней было, и вместе ахматовское. И, между прочим, мужчины Таней очень даже интересовались!»

Тем не менее, стихи Татьяны Бек свидетельствуют, что мысль о собственном изгойстве ранила ее постоянно. Но вот ее комментарий к поэзии Арсения Тарковского:

«Тарковский в стихах, как никто другой, умел воспеть красоту не-красоты. В поэзии его – много от прозы Достоевского, на чем, по-моему, критики никогда не останавливались.

Похожий на Раскольников а виду,
Как скрипку, я держу свою обиду, –

кто из поэтов так писал о креативном (и опасном) заряде изгойства, о силе слабости, о мощи немощи? Есть тут и такая тонкость: поэт переводит обиду в творческую, а не разрушительно-мстительную энергию – обида у него материализуется в скрипку, а не в топор». («До свидания, алфавит», с. 62-63).

Обычное дело: когда напрямую говорить о себе неловко, говорим как бы о ком-то другом. Тарковский-то как раз, в отличие от Татьяны, своей внешностью уязвлен не был, да и сама она за два абзаца до цитированного пассажа писала о Тарковском как о человеке «такой ренессансной красоты», что ее, Татьяны, мать «ложила за кустами в высокую траву, чтобы из любви к искусству любоваться смуглым черноглазым картежником». Так что слова о креативных потенциях обиды, вне всякого сомнения, есть автокомментарий к собственной лирике. Тут нет вопросов. А вот что Татьяна имела в виду, говоря об *опасном заряде изгойства* (своего изгойства!), этого, боюсь, мы уже не узнаем. Или ответ лежит на поверхности и явлен Таниной готовностью немедленно свести счеты с жизнью, если та вдруг обернется предательством друзей и телефонным террором кувшинных рыл?

(Держись, держись в атмосфере бесчестия, и вдруг обнаружишь, что запас прочности иссяк. Тогда катастрофа.)

И все-таки не об «опасном заряде изгойства», а о креативной энергии Татьяны Бек, одного из достойнейших русских литераторов последних десятилетий, завещано нам говорить и писать.

Но это потом.

Сейчас – минута молчания.

Вы, кого я любила без памяти,
Исподлобья зрачками касаясь,
О любви моей даже не знаете,
Ибо я ее прятала. Каюсь.

В этом мире – морозном и тающем
И цветущем под ливнями лета,
Я была вам хорошим товарищем.
Вы, надеюсь, заметили это?

Вспоминайте с улыбкой, не с мукою
Возражавшую вам горячо
И повсюду ходившую с сумкою,
Перекинутой через плечо.

Зинаида Палванова

ТВОЙ ДОМ

Здесь решается это, выше ли –
к ранней смерти ты шла напрямик.
Ты кричала, а мы не слышали.
Лишь теперь услышали крик.
За прозрачайшими стихами
дышит нынче тайна в судьбе.
Разговоры не затихают.
Как не больно стало тебе!
Лба не ранят зимние розы...
Твой всегдашний дом был из слов:
окна, двери, стены – из прозы,
потолок – из стихов.
В этом доме одна осталась.
Гулко сделалось в нём без отца.
Здесь примерила честную старость,
вырастая из пальтеца.
Дружбы власть, любви диктатура,
молодых мемуаров том...

Дом твой – русская литература,
старый дом, сквозняковый дом...
На полу – таблетки и ложка,
и закрытая книжка лежит...
Откровенно кровит обложка:
«До свидания, алфавит».

февраль 2005

Тамара Жирмунская

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

В прошлом году, приехав в Москву на конгресс Достоевского, я навестила Татьяну Бек у нее дома. Потом, когда случится непоправимое, в желтой прессе промелькнет ярлык: «Дом самоубийц». Не буду опровергать, ибо недостаточно знакома с предметом. О своем доме Таня писала еще в первой книге «Скворешники»:

Я из этого шумного дома,
Где весь день голоса не смолкают,
Где отчаянных глаз не смыкают
И смеются усталые люди,
И не могут друг друга понять...

В тот памятный день по декабрьскому снежку я подходила, радостно предвкушая встречу, к хорошо знакомому красно-кирпичному *писательскому* дому на «Аэропорте», когда-то легко доступному, а ныне отгороженному от уличной стихии металлической калиткой с хитроумным кодом. Сколько ни набирала продиктованные по телефону цифры, калитка не впускала. Что делать? Надо ждать кого-нибудь с ключом. К счастью, дождалась довольно скоро. Дверь подъезда открыла с помощью домофона сама Таня. И уже стояла на пороге квартиры, такая приветливо говорливая, домашняя, в байковом халате. После перелома голеностопа была в гипсовом сапожке, но держалась весело, гостеприимно. Лихо прыгала на одной ноге по коридору, звала в комнату, усаживала за стол. На столе не деликатесы, а книги, бумаги, рукописи, всё больше, конечно, чужие. Интернет выручает, но у всех ли авторов «Независимой газеты» (Таня вела в Ex Libris'e колонку), у всех ли студентов Литинститута он есть? Сильно сомневаюсь. А газетный работник, руководитель творческого семинара должен прочесть тонны писанины. Литераторы как жили, так и живут в книжно-бумажном царстве. Как это у Цветаевой: «Вас положат – на обеденный, / А меня – на письменный...»

О чем говорили? Обо всем на свете. Но сначала – о продиктованной воровским временем, излишней, может быть, забаррикадованности жилья (Таню дважды грабили!). К своей свежей травме она относилась мудро: ничего страшного – просто упала, съехав с ледяной горки возле бывшей «Молочной»; в писательской поликлинике, где лечилась десятки лет, сделали рентген, ногу быстро и хорошо обработали (правда, за деньги), перелом – без смещения, гипс всего на четыре недели... Настроение у Тани было повышенно оптимистическое. Никогда она не ела столько фруктов! Никогда не видела столько человеческого тепла! Люди идут и идут – друзья, ученики, родственники. Впору составить расписание визитов... Рассказывала о недавней поездке в Америку: взяла большое интервью у Соломона Волкова, собеседника великих современников, парадоксального и вместе с тем убедительного мыслителя. Наконец-то его книги выходят и в России...

– Как там Межиров? – спрашиваю я.

– В последний раз мы не встречались, – отвечает Таня. – Он был далеко, в Портленде, но в один из прошлых приездов проводили с ним за беседой в кафе долгие часы. Сплетники даже предположили, что у нас роман (смеется). Поразительный человек, неиссякаемый!

«Нашей юности кумир» – намеренно неточно цитирую я ее стихотворение «Русский пасынок в Нью-Йорке...». У нее-то сказано определенно: «Юности моей кумир». Но под этими словами могли бы подписаться и я, и наш общий друг Митя Сухарев, и еще многие поэты и не поэты. Вот уж у кого стихи без сучка без задоринки – у Александра Петровича! И какая волшебная, чисто межировская интонация...

От А. П. естественно переходим к Владимиру Корнилову. Таня дружила с Володей и его женой Ларой много лет. О нем, человеке, ставшем для нас мерилom гражданской совести, тоже есть Танины стихи: «Он, избравший судьбу однолюба, / Не умел оставаться в ряду, / Ибо совесть, как мощная лупа, / Укрупняет чужую беду... // ...То я дурочкой, то богомолкой, / А Корнилов идет по шоссе / В этой кожанке, с этой кошелкой, / Абсолютно инакий, чем все...» Знаю ли я, спрашивает она, что вышел его двухтомник? Что на днях презентация в ЦДЛ? Она бы с огромной радостью выступила, но из-за ноги не сможет... И на Достоевского не пойдет. Пожалуйста, просит Таня, объясни, что со мной случилось, потом позвони, расскажи, как всё было...

Вспоминали Германию, Мюнхен, где я сейчас живу и где Таня гостила два года назад. Международный дом творчества: роскошная вилла «Waldberta» на берегу озера, где московская гостья жила, как чайка, одиноко и возвышенно во всех смыслах слова. И при этом была уверена, что путевку ей дали не за ее собственные заслуги перед литературой, а за заслуги отца, писателя Александра Бека, в связи с его столетием.

Собираясь в Москву, я взяла для Тани подарок. Черный веер из Гранады. Как она обрадовалась! «Ты всегда мне даришь самое нужное! У меня есть подходящая к нему юбка».

Теперь суверенно думаю: не вкладывала ли она в свои слова не понятый мной тогда смысл?..

Боясь ее утомить, стала через час-полтора откланиваться. Пророботала как будто от Таниного имени ахматовское (из интервью с С. Волковым): «Спасибо, что не задержались». Она мило усмехнулась. Откуда-то извлекла и надписала мне своё только что вышедшее избранное: «Сага с помарками». «Тамаре – сестре, подруге...»

Я знала ее тридцать лет. Она, по ее словам, запомнила мои стихи еще школьницей, в начале шестидесятых. Десятью годами позже я вела поэтический семинар, где среди провинциальных васильков выделялась девушка-москвичка, похожая на... «Черную зимнюю почку» – нелицеприятно, с явным перехлестом в негативную сторону, определила она сама себя двадцатилетнюю. Я так не думала! Если уж перебирать для сравнения виды растительности, которой богата ее условно городская поэзия, то на память приходит «кустарник турецкий», пылающий «ярко-розово-желтым огнем». Лицо Тани быстро менялось: вспыхивало и блекло, расцветало от любовного внимания или в ответ на людское безразличие сжимало все свои лепестки...

Читаю и перечитываю «Сагу» без конца. И сами собой открываются строки, которые раньше не задевали так больно:

Я не пойду дорогою окольной,
Не стану прятать знание в стогу.
Я мысль о смерти сделаю настольной,
Как лампу, без которой не могу.

Или:

Когда умру, скажи: «Она ушла на зов,
А не сошла на нет...
Оплакивать не надо...».

Или:

Я почую грядущую смерть
Как отраду, а не как угрозу.

Или, наконец:

Но какое внезапное небо
Открывается мне поутру!
Жизнь мучительна. Гибель нелепа.
...Я сегодня опять не умру.

«Опять не умру» – значит, такое могло случиться и раньше...

Все настоящие поэты думают о смерти, репетируют смерть и даже так: без *памяти смертной* становится плоской и пресной жизнь, пробуксовывает на месте. Но наличие и даже избыток подобных стихов не снимают ответственности с тех, кто вольно или невольно подтолкнул их автора к гибели.

О тайне смерти Татьяны Бек, самого внятного, самого строгого к форме и к себе современного поэта, еще рано говорить. А вот сказать о тайне ее поэзии – можно. В Интернете поэт-ровесник, отнюдь не профан, выразив приличествующую утрате скорбь, не постеснялся сказать о «маленькой рюмочке», из которой якобы пила поэтесса. Очевидно, так у него трансформировалось известное выражение Альфреда Мюссе: «Мой стакан не велик, но я пью из своего стакана». Решительно с ним не согласна!

Таня Бек начинала как младшешестидесятница, добрая реалистка, глядящая не только вовнутрь своей души, но и вокруг, и за линию горизонта. Это бинокулярное поэтическое зрение никогда не покидало ее. С годами внутренний зондаж стал глубже, стих сделался предельно искренен и бесстрашно точен. Мир стянулся в глубь ее многогранной личности, ничего не потеряв в объеме. Фантастическим образом она претворила в себе опыт поэтов XX века: и акмеистов, которых великолепно знала, и обэриутов, и мэтров военного поколения, и, возможно, своих лучших учеников, уже из XXI века!

У ее поэзии есть редчайшее свойство. Она не приедается.

А что недооценили при жизни? Не ценят по-настоящему и сейчас? Вещь банальная. Она была ко всему готова:

И деревья стоят при параде
Увяданию наперекор.
И негоже просить о награде,
Потому что и так – перебор.

Екатерина Березовская
ВДОЖОНКУ

* * *

Два с половиной года
Вы были моей попутчицей.
Из веток, ручьев и окон
глядел Ваш печальный лик...
Но верно твердят, что в жизни мы
почти ничему не учимся –
хоть мир столько раз исхожен
и вовсе не так велик.

1.

*...Оставленный равен империи,
Рухнувшей и отпетой.*

Т. Б.

В городе нашем то вьюга, то мгла.
Где-то дорога неровно легла,
Кочку, другую пересекла
И под откос ушла...

Там, где крутила нещадней мгла,
Добрая женщина тихо жила.
Небо, и весны, и колокола
В синих глазах несла.

Только однажды – так, не со зла,
К ней прицепилось словечко «была».
К ней привязалось – такие дела...
Не *будет*, не *есть* – была.

Горькие шуточки с языком...
Хватит! – Откройте, поговорим!..
...Словно охваченный столбняком
Голых, как провода, руин,
Город-термитник – последний Рим –
Окаменел без рифм.
Сохнут чернила под сквозняком.
Лампа шатается под потолком.
Будто корабль налетел на риф.
Жарко глазам и горло горит –

Но всё ото всех тайком.

2.

...И хоть верь, хоть не верь – скончалась.

Последнюю каплю – схватила залпом.

Что-то не досказала – просто некому было сказать.

Значит, и в наше остывшее время можно уйти внезапно –

Чтобы никто не опомнился и не успел связать.

И, приблизившись к окоему, почти поддавшись хромому тремору

Пальцев и голоса – вдруг отпряну, собственный страх спугну.

– Что ты, опомнись! – Нет, рановато мне, нет, не время

Чахнуть, неметь, столбенеть и ночами глухо выть на луну!

Тихо прощусь, уложу поуютней в памяти Вас,

чародейку, певунью, затворницу –

И поеду к другим, тем, которым пока не нужно кричать вослед.

Ибо – если однажды, по недалекости, глупости сущей и это кончится –

Что же тогда нам, брошенным, останется на земле?

3.

Когда поэт умирает, мы открываем его книги,

И стихи становятся сразу стихами, а не просто его дневником.

Когда поэт умирает, мы сначала долго не верим,

Потому что просто не может быть, чтобы его не было на земле.

Когда поэт умирает,

Мы понимаем: что-то должны были делать совсем по-другому,

Потому что он, оказывается, действительно *был*.

4. POST DEPRESSION

...Но, Господи, снова рэгтайм в переходе метро,

Монетки блестят в бархатистом бордовом футляре,

И звуки настоя и крепости не растеряли,

И сам виртуоз-самоучка напорист и строг.

И нынче опять не стемнеет часов до шести...

Взлетел воробей на раскрытую настежь фрамугу,

Пока мы про истину что-то долдоним друг другу,

Не смея войти

К тем, кого мы могли бы спасти.

Под утро вскочу – и умоюсь ни свет ни заря...

И март на подходе, еще ни на миг не растрочен.

Устрою сквозняк – и пускай это что-нибудь значит!..

Бренчат и поют подоконники. Значит – не зря?..

февраль 2005

ПЛАМЯТИ ПАТРИАРХИ БЕК

27.02.05

27.02.05

Тригорий Крүжков

ОПЛЕВАНИЕ

*Дали свечку с наколотой на нее квадратной бумажкой
и все время пока шло отпевание тонкая свечка горела
словно дали мне в руки жизнь мою и сказали*

смотри на огонь
Я смотрел на огонь – и по трамвайной привычке читал
что написано на бумажке
и рассеянно думал не проеду ли

какая там следующая остановка
муки покой очищение от грехов Наконец-то
отпевание кончилось служка в черном проворно собрал
все огарки
но бумажный квадратик я ему не отдал – утаил Из какого
он учебника вырезан или сивиллиной книги не знаю

Время, необходимое (отрезано)
может быть (отрезано)

и снова с красной строки

Время, необходимое (отрезано)
определяется (отрезано)

и дальше начало формулы

t_1 = (и снова отрезано)

две отметины воска по краю
и посередине круглая дырочка
как глазок в женскую баню

10.02.2005

Марина Бородинская
ПЕСЕНКА АНАКРЕОТИЧЕСКАЯ

Эй, собирайтесь на пир,
Милые подруги!
Пусть бряцанье наших лир
Зазвучит в округе.

Приготовлены венки,
Перекрыты кубки,
В кухне стонут чугуны
И трещат ступки.

Танцевать приглашены
Лучшие флейтисты:
Спины их обнажены,
Локоны душисты,

Их пунцовые уста
Дивно молчаливы...
Занимайте же места –
Краток миг счастливый!

Пусть обносит мальчик нас
Пенистым по кругу,
И хвалу мы не скупясь
Пропоем друг другу,

И утонет, как змея,
В чаше величальной
Этот ужас бытия
Экзистенциальный.

Ирина Скуридина

«БЕСКОРЫСТНОГО ПОИСКА ПУТЬ – ЭТО КЛЯБЬ, А НЕ ЧИСТОПИСАНИЕ»

«Мы вас перечитаем», – сказала Татьяна Бек в радио-интервью вскоре после смерти Василя Быкова¹. Думаю, это самое простое и лучшее, что можно сделать в память об ушедшем писателе. Рискую сорвать сроки публикации в феврале-марте этого года, я поняла, что не смогу писать, не перечитав, обложила ее книгами и статьями и зачиталась с новым горьковато-острым ощущением невозможности передать свой восторг автору.

Интервью – жанр самодостаточный и редко нуждается в подробном вступлении. Я же позволю себе отступить от правила.

Наша беседа² состоялась 7 июня 2002 года, в Таниной квартире на Красноармейской. Она немедленно откликнулась на мой проект аудио-воспоминаний о Юрии Ковале, зная по собственному богатому опыту, что даже человек легко пишущий, порой по-другому и О ДРУГОМ говорит в диктофон, если собеседник вызывает его доверие. Говорила она в свойственной ей «быстрой» манере, живо и весело, хотя, по собственному выражению, сумбурно: незаконченные предложения, недосказанные мысли, вольная или невольная инверсия. Она часто смеялась, несмотря на то, что большая часть нашей беседы была о грустном: об обидах, непонимании, недооценке... Мереу откровенности в этом разговоре Татьяна выбрала сама и сразу. Я же, не вполне ясно представляя границы будущего проекта, отдалась «на волю волн» и чувствовала себя в этой беседе не живописцем, кисть которого «создает портреты писателей-современников», как писала о своих почти сорока беседах-новеллах Татьяна Бек³, а скорее собкором малотиражки с фотоаппаратом «Смена» на груди.

Я не была ей, пользуясь Таниным выражением, даже «читателем-ровней»⁴, восхищаясь ее талантом, невероятным кругозором, работоспособностью, преданностью литературе. С каждой новой книгой или статьей – все больше. Один мой знакомый режиссер-документалист поделился со мной рецептом удачной беседы в кадре – задавать глупые вопросы вместо умных, чтобы избежать скучных ответов. В интервью, сделанных Татьяной Бек, простое и доброе отношение раскрепощало собеседника, а вопросы были умными, абсолютно живы-

¹ <http://www.nmnby.org/links/bykau.html>

² Беседу Татьяны Бек с Ириной Скуридиной читайте в этом же номере журнала (примечание редактора).

³ Татьяна Бек. «До свидания, алфавит». Б.С.Г.-ПРЕСС, 2003.

⁴ Татьяна Бек. Музыка, разьевшая бетон. «Арион», 2000, №3;
<http://magazines.russ.ru/arion/2000/3/>

ми, неожиданными и провоцирующими интересным ответ, в них и сейчас прочитываются интонации ее голоса.

В книге, подаренной мне в тот день⁵, два стихотворения она отметила особо в связи с темой разговора: в одном из них – посвящение Ковалю, фрагмент другого:

Не приемля всеми жилами
Новый паводок и слог,
Напишу – большими вилами
На водице – некролог.

эхом прокатился по Интернету в недавние печальные февральские дни... А в тот летний вечер два года назад меня ошеломила его концовка:

«Прощайте!»,
...Тем не менее,
Кланяюсь тебе, Земля,
Тихо уходя под пение
(С неба) Юры Коваля.

Беседа наша изначально предназначалась для публикации, но, готовя материал, я исключила из него не только пару мест с Таниным комментарием «не для печати», но и несколько заключительных страниц, затрагивающих «privasy» здравствующих ныне людей. По просьбе редколлегии и в соответствии с традициями журнала несколько фамилий в тексте заменены латинскими буквами. Однако я оставила в ее речи странные словечки, оговорки и мелкие речевые огрехи – друзьям, знавшим ее оригинальную манеру разговора, это поможет «озвучить» текст и создаст эффект присутствия. Так же семью годами раньше сделала Таня, работая над моим интервью с Ковалем⁶. И было это в декабре 1988 года...

На традиционной декабрьской встрече сокурсников Коваля по Пединституту уже после его смерти, но всё еще в его мастерской на Серебрянической набережной⁷ я сидела за столом рядом с Дмитрием Антоновичем Сухаревым. В какой-то момент, выпадая из общей беседы, Д. А. сказал мне: «Думаю сейчас о публикации к дню рождения Коваля». А я – ему: «У меня есть большое неопубликованное интервью с Ковалем». «Покупаю», – немедленно пошутил Д. А. «Продаю» – поддержала шутку я. Так я попала в редакцию журнала «Вопросы литературы», членом редколлегии которого была Татьяна Бек. Я часто слышала о Тане от Юрия Коваля задолго до знакомства с

⁵ Татьяна Бек. Узор из трещин. М. ИК Аналитика. 2002.

⁶ Юрий Коваль, Ирина Скуридина. «Я всегда выпадал из общей струи», «Вопросы литературы», 1998, № 6; <http://magazines.russ.ru/voplit/1998/6/kov.html>

⁷ В настоящее время здание со всеми потрохами (мастерскими художников и частными квартирами) выкуплено какой-то богатой фирмой.

нею. Впечатление из рассказов складывалось очень дружеское и однозначно положительное. Вскоре я послала ей по электронной почте чуть выправленный и лишь слегка сокращенный текст, предполагая одним из вариантов реакции – полное ее отсутствие, как уже случилось незадолго до этого с «Огоньком». Но через несколько дней я получила свой распечатанный и, к моему удивлению, несокращенный текст: сорок страниц были педантично вычитаны и аккуратно выправлены, словно поработал с ними опытейший корректор. Ни одна опечатка, недостающая или лишняя запятая, неточный перенос, отсутствие точек над буквой «ё» («Так Недопесков нету больше – всё!») не укрылись от ее умного взгляда.

Даже в сухом жанре внутриредакционной записки, направляя мое интервью главному редактору, телеграфно краткое описание предстоящей мне работы она завершала лиричными размышлениями в скобках: «Если Вы “за”, мы беседу доработаем для нас: чуть сократить, оставить чуть непричесанный, разговорный тон, но убрать его издержки... сделать, где нужно, примечания и уточнения... написать (И. Скуридиной) толковое предисловие с историей вопроса, с объяснением жанра и обстоятельств, с наброском портрета Ковалю... (Интересно, что из этого интервью, где так отчетливо звучит его индивидуальная интонация, видно, насколько Коваль – при всей его одаренности, и известности, и даже избалованности популярностью – был неуверен в себе, даже закомплексован, откуда и идет некая, отчасти инфантильная, склонность к “хвостовству”. То есть виден непростой и не очень счастливый писательский характер)».

И уже после одобрительной резолюции главного редактора – очень точные и подробные рекомендации мне, заканчивающиеся словами:

«Замечательно. Есть интонация, виден человек: нежный и (странно) ясно, по-детски в себе не уверенный.

Все эти “ну”, “вот” оставить (оговорив во врезе) как элемент стиля, но – где вхолостую – все же сократить: утомляет.

Предисловие – 3-4 страницы. Примечаний чем больше, тем лучше».

Эх, жаль, что читателю не суждено видеть внутренние рецензии, по крайней мере, принадлежащие перу Татьяны Бек.

Мы очень долго и тщательно вместе работали над этим текстом, при этом Татьяна практически не касалась слов Ковалю и минимально правила мои, лишь иногда просила слегка развернуть некоторые вопросы. В очевидных случаях не боялась жестких замечаний типа: «Ваш вопрос должен быть менее бормочущим», «Ира, пуповиной (если реализовать метафору) связаны мать и дитя, а не «братья». Помню, как я горделиво делилась в письме к Юрию Осичу своей опечаткой «дед вспомнил о своем дедстве» в его переводах молдавских друзей-писателей... «Смешная опечатка», написала Татьяна на полях, читая в верстке: «...беседа происходила на кузне моей квартиры» и заметив переключку с фамилией героя... Она просила обязательно проверить важные факты, незнакомые ей фамилии художников, издательские данные, названия иностранных премий. При всей своей язы-

ковой «правильности» Татьяна согласилась, оговорив в примечании, не «закавычивать» прямую речь в ответах Ковалья, чтобы не утяжелять текст. Казалось, что за ее столом одновременно работало несколько серьезных профессионалов.

...Пожалуй, самыми важными в июне 2002 были слова Тани, сказанные ею в конце беседы: все эти двадцать пять лет со дня знакомства Юрий Коваль был «интеллектуально и душевно, может быть, главный камертон моей жизни»... После трех часов замечательно интересного разговора в Татьяне в какой-то момент словно выключили невидимый тумблер – она вдруг почувствовала смертельную усталость, искренне извинилась, на этом мы и расстались тогда. А материал, напечатанный вчерне, лег на время в стол...

«...Жанр беседы – он для меня особый и вовсе не служебно-журналистский», – пишет Татьяна Бек в «Похвальном слове беседе»⁸ и тут же легко делится профессиональными секретами: «Заинтересовать, потянуть за нужную нить, слушать и будоражить вопросами, и, где надо, промолчать, и включиться, и повернуть, и...»... Однажды журналист, потрясенный откровенностью Ковалья, весело пересказывавшего только что написанное, спросил: «А вы всегда рассказываете то, о чем пишете?». На что Коваль не задумываясь ответил: «Я пишу не сюжет, а рассказ»... Масштаб личности писателя и интервьюера – вот что я добавила бы к описанным Татьяной творческим составляющим успеха задуманной беседы.

Высшее счастье в мире – дружеская беседа.
Смерть меня ужасает тем, что в разлуке – друзья.
Но и земля сырая станет нам общим кругом,
И посему от жизни смерть отделить нельзя.

Этим четверостишием афганского поэта Халили⁹, переведенного Татьяной Бек на рубеже веков, мне хотелось бы закончить.

Это ведь не очень пессимистическая нота... Так, Таня?¹⁰

⁸ Татьяна Бек. «До свидания, алфавит». Б.С.Г.-ПРЕСС. 2003.

⁹ Стихи Афганских Поэтов. Журнал «Иностранная литература» 2000, № 1; <http://magazines.russ.ru/authors/p/poetov/>

¹⁰ Татьяна Бек. «Юрий Коваль. Живопись, скульптура, эмаль». «Знамя» 2003, №8; <http://magazines.russ.ru/znania/2003/8/bek-pr.html>

Татьяна Бек

*«Я И СЕЙЧАС СЧИТАЮ,
ЧТО ОН БЫЛ ГЕНИЙ»*

Беседа с Ириной Скуридиной

Я начну издалека. Мы с Юрой очень подружились в конце 1978 года, 79-й, в 80-м мы остались друзьями после таких более острых, возбужденных отношений, но немножко друг от друга устали. И позже совершенно отошли друг от друга – у него Наташа появилась как раз, у меня тоже... я всюду уезжала подолгу в Грузию. Короче, мы надолго как-то разбежались, а встретились потом уже совершенно в другом раскладе... В начале 90-х, когда начались новые времена, в «Общей газете» (такая замечательная была газета – на днях закрылась) решили устроить целую полосу, посвященную Ковалю. И вот так же как вы, они опросили разных людей, которые не знали о монологе другого, и потом устроили такой коллаж: о нем говорит, скажем, Битов, о нем говорит какой-то художник, и его собственный монолог, где... а мы с вами говорили, Юра иногда любил мыслить списками: «люди, которые на меня оказали огромное влияние в жизни». И там у него был список человек на двадцать от первых учителей. Из писателей там у него были, скажем, Битов, Ахмадулина, Тарковский... [меня не было], я для себя это отметила, потому что я знаю, что я даже количественно гораздо больше дала... У него были такие звезды. Но я абсолютно... я умею прощать. Иногда не умею, а Юре, конечно, все просталось. И я с улыбкой это прочла. Но самое пикантное было в том, что на этой полосе был и мой монолог. Я там страницы на три написала абсолютно восторженно о Юре, что такое Юра для нас, и в моей жизни, и какой он талант... с огромной любовью, даже говорили журналисты, что лучше всех... И я видела, что на лице у него было (мы встретились в ЦДЛ) мучительное какое-то состояние. И вот тогда я почувствовала: Юре было так стыдно, он был так смущен... Он даже сначала наврал, в нем же много было детского вранья, мол, ты знаешь, это просто они там мне половину списка вычеркнули.

Очень может быть, кстати сказать.

Не думаю.

Ну да. Хорошо. Ладно.

И вот после этого у нас так потихоньку, потихоньку возобновились отношения, но на совершенно уже другом этапе. Если в начале, когда мне было, скажем, тридцать, а ему сорок, – это очень большая разница. И вообще, я была начинающий поэт, а он уже был такой для нас мэтр. Я просто смотрела снизу вверх, и в рот, и искренне, кстати... но при этом я и сейчас считаю, что он был гений... Как-то мы

купили путевки в Малеевку, и там я писала свое, он писал «Лодку» и переводил Брассанса, французского знаменитого шансонье, и я ему помогала.

Это, мне кажется, был безумно интересный период и очень творческий.

Да-да, это отдельный рассказ. Это у него был безумно творческий период – он при мне писал «Самую легкую лодку в мире». Там есть и мои прототипы, о которых я ему рассказала. Есть у него очень смешной персонаж Петюшка Собаковский – это от меня, я кончила за шесть лет до этого университет, у нас был абсолютно сумасшедший такой еврей из Харькова Петя Собаковский, который в общезнании подрался с негром. Абсолютно оба пьяные выясняли, кто... то ли кто хуже, то ли кто более преследуется: негры или евреи, и потом был разбор на комсомольском активе и этого Петю мы отстаивали, его чудом не выгнали из комсомола. И Ковалю это так и насмешило, и расстроило, что он назвал одного героя Петюшка Собаковский. Потом Клара Курбе, это тоже, я не буду называть сейчас, известная журналистка, очень манерная женщина... моя знакомая. Я рассказывала, а он с нее списал. А потом у него там все время обыгрывается борьба хорошего с плохим, борьба ветра с морем, в общем такой идет пунктир, и он мне говорит как-то: «Тань, какая может быть еще борьба?» А я подумала и сказала: «Борьба борьбы с борьбой». И ему так это понравилось, что он просто мне жал руку, и он это вставил, и это, я считаю, не устарело. Наоборот, с каждым годом это всё больше характеризует нашу местную жизнь. Потом он переводил Брассанса. Он играл на гитаре его мелодии и я думаю, что он очень многому научился от Брассанса... Я очень рада и это замечательно, что его включили в антологию авторской песни, потому что эта сфера его работы недооценена и надо потом вообще выпустить кассету даже, настолько гениальные... и настолько он на многих повлиял: и на Кима, и на Горюничкина, и на Ряшенцева с его мюзиклами... Он настолько на меня сильно влиял, он мне столько дал за этот месяц в Малеевке, что моя книжка «Снегирь», которая вышла в 80-м году, должна была бы быть посвящена ему. И если она у меня войдет в избранное, то я, может быть, как-то это обозначу: памяти Юрия Ковалю... Интересно, сейчас в процессе разговора всплывают какие-то детали. Во-первых, там ряд стихотворений – просто портреты.

При тросточке, над бездной,
Шел человек чудесный
С ужасной бородой, (он тогда с бородой ходил)
С улыбкой неуместной
И тайною бедой.

Он объяснял нам чинно:
Кручина не причина
Отчаиваться, раз
Есть курослеп и чина,
Ольха, береза, вяз.

С улыбкой виноватой,
В рубашке полосатой,
Он – баламут и мот,
Но вовсе не бездельник -
Сказал, что проживет
Без счастья и без денег,
Поскольку есть репейник
И ласточкин полет...

Я знаю, что не врет.

Он обожал это стихотворение.

Замечательное.

И потом там есть еще цикл стихотворений, который называется «Дневник начала зимы», где тоже про него, про то, как мы гуляем... Вот за этот месяц, что мне дал Коваль, ну кроме каких-то человеческих впечатлений: он меня научил различать птиц. Снегирь, клест, щур, поползень, сойка, – я стала орнитологом, я их различаю, я их следы различаю, я их окраску различаю, голоса. Так. Звездное небо... У меня даже сохранился, он мне подарил, атлас звездного неба. Тут я хочу не то что себя похвалить, хочу объяснить – он мне еще так много дал, потому что его это переполняло, он как-то сочетал любовь к природе абсолютно стихийную и почти естественнонаучную, и было довольно мало людей, которые это с таким интересом слушали и воспринимали. То есть я оказалась очень благодарным, видимо, учеником для него.

И обучаемым.

Обучаемая, да... И я умела вот так кивать: «Ой как интересно! Водолей! Волосы Вероники! Большая Медведица!». Он это все описывал мне, когда мы гуляли вечером, и даже рассказывал историю этих названий, этих созвездий... Затем, все вот эти зимние животные: крот, норка, хорек, ласка... «Ласка» – он так умел обсасывать, как леденцы, эти названия. Причем сейчас я думаю, что, может быть, он половину даже артистически разыгрывал, не так уж он знал эти следы и эти норки. Но поскольку я такой слушатель, он мне говорил: «Неужели ты не понимаешь, что это вот сейчас пробежала норка, а за ней гналась ласка, они обе гнались, там, за кротом». Он разыгрывал целые сказки... И теперь я думаю, что уже прошло-то больше двадцати лет, и Юра уже умер семь лет, а у меня до сих пор в стихах, даже современных, – отголоски. Вот, например, стихотворение, одно из самых последних... Холодно? (Об открытой форточке, под которой мы сидели.) Давайте я закрою...

Да, интересно...

Да, мне интересно самой, я сама не знала, что я это помню... я не хочу брать эти личные перепалки, потому что они у всех одинаковые, интересней вот эти творческие...

Да, популяризатор он был замечательный.

Вот я и говорю, как будто в одном лице он был и Брем, и Пришвин, и Бианки, и что-то гениальное свое. Мы ходили куда-то на речку и изучали движение этой речки. Он знал циклы жизни этих животных, у кого какой средний возраст. Я даже думаю до сих пор: он как мой учитель. Например, [одно из стихотворений]: у меня депрессия, я ничего не хочу и иногда я отключаюсь, хочется где-то отлежаться:

...точно в школьном углу
в наказание за норы.
А еще я завидую зимнему полю,
где животные могут о т д е л ь н и ч а т ь в норах.

Вот это чисто от Коваля. Я только сейчас в разговоре с вами поняла, что это то самое зимнее поле между Домом творчества Малеевка и деревней Вертушино... Мы сходили там в сельпо, купили какие-то тужурки, там продавались ватники, валенки, – он любил всё это со смаком стилизовать. И мы выходили в зимнее поле и он мне показывал эти норы. Это же оттуда, а больше я никогда ни с кем не гуляла по зимним... Представляете, насколько это сильно осталось в подсознании. Или вот такое стихотворение, год назад:

...как не любящий птиц орнитолог,
ты зачем на меня поглядел?

Я говорю это уже совсем другому мужчине и по другому поводу, но в подсознании у меня тоже Коваль. Это был любящий птиц орнитолог. Он был в одном лице и орнитолог, и сам певчий какой-то дрозд, да?.. Так что в Малеевке это был такой месяц, который стоит нескольких лет общения с другими людьми... Про что мы еще говорили? Ну давайте я еще расскажу...

Мы говорили о том, что он любил эти списочки, но при этом, иногда он, может быть, кого-то упускал. Скорее всего все-таки не по конъюнктурным соображениям. У меня есть и пример. Мы попали однажды в ЦДЛ в день юбилея детского поэта Н. Он снял большой зал: огромное количество народа и всё по ранжиру.

Он вообще очень ранжированный человек.

Увидев нас, он подошел, поздоровался с обоими и пригласил на свой банкет одного Коваля, при этом он меня знал, я к тому времени сделала с ним интервью на разворот газеты «Жили-были», но это даже не важно. Ко мне приглашение не относилось, я стояла рядом, испытывала неловкость за приглашающего и думала, как бы из этой ситуации выбраться. Юрий Осич же оскорбился, принципиально пошел в другой зал и устроил там свой параллельный праздник... То есть у него было вот это чувство «исторической справедливости».

Ну вот видите, а со мной совершенно противоположное... Я начала с того, что я на Коваля вообще как-то не могла обижаться, за «списочек» я не обиделась, за нашу последнюю встречу не обиделась, когда я прождала его целый час зимой на улице... Так вот, мы долгие годы не общались, а потом уже как-то он меня увидел вдруг такой

повзрослевшей, может быть, даже отчасти постаревшей, но такой очень сильной женщиной, и творчески уже какой-то взрослой, и мы даже немножко поменялись ролями.

Я бы сказала, что поначалу вы были моложе и смотрели снизу вверх, а потом вы вдруг немного стали старше его.

Да-да, по крайней мере, в профессиональном смысле – да.

И в человеческом, я бы сказала, плане...

А он, к сожалению или к счастью...

Задержался чуть-чуть.

Он задержался, или... а, может быть, это была его форма роста. Но, вы знаете, ведь всё в жизни связано, и хорошее, и плохое. Может быть, за счет этого он сохранил свою детскость и свежесть. Но в социальном каком-то смысле он даже немножко вспять пошел. Мне было больно, когда я его видела в ЦДЛ. Я уже туда ходила как взрослый такой профессионал, а он все сидел с какими-то дикими пьяницами, и они как-то не очень приятно даже там наклюкивались... Это как раз плевать, не мне судить, я сама много наклюкивалась в жизни, но было видно, что какие-то они немножко бездельники, помните, вот эта вся его компания? Как-то мне бы его хотелось видеть в более сильном коллективе. Пусть это будут не знаменитые люди, но творчески сильные. А там какое-то было немножко переливание из пустого в порожнее. Это я все тоже видела.

Ну, наверное, ему было нужно в какую-то клоаку чуть-чуть иногда закатываться.

Да, может быть, ему там было легче.

Скорей всего да, при его таком обостренном...

Самолюбии.

...самовосприимчивости, я бы даже сказала... Может, ему такой фон был нужен.

Да. Нет, я его принимаю полностью таким, как есть... Ну и дальше уже он как-то стремился очень к общению. Ему было очень важно перескочить из детского прозаика во взрослого, в полноценного взрослого. У него, как ни странно, был какой-то комплекс. В детской литературе он был признанный мастер, мэтр, там ему смотрели в рот, преклонялись, он даже какой-то семинар вел в последние годы, у него были ученики. А вот он не мог стать ну как Битов, Маканин какой-нибудь там... взрослым прозаиком.

Тань, а как вы думаете, что это было? Комплекс неполноценности или нормальное качество любого нормального писателя? Почему для него не было очевидно, насколько хороша его взрослая проза?

Ой, ну Ир, вы знаете, многие талантливые люди... у них какая-то шизофрения. С одной стороны, у них даже мания величия и они временами могут сказать другу типа «Старик, я гений», а при этом все время они сомневаются. Это даже нельзя анализировать. Он же в ин-

тервью с вами как раз рассказывает, помните, что, когда сам Домбровский его так похвалил и отнес в «Новый мир» и там понравилось, но вот сказали, что нет, недотягивает, недолёт... Да вы что, именно у вас. «Я понял, что я никогда не пойду во взрослую прозу, там плохо, там несправедливо, там высокомерно, там обижают». Хотя вы знаете... вот, например, я... Наверное, он был прав, что я очень сильная. Меня столько обижали в поэзии! Мне просто говорили: «Ты писательская дочка», эти пьяные мэтры... Мне Давид Самойлов сказал в двадцать лет: «Ты никогда не будешь как Ахматова или Цветаева, а иначе быть не стоит, поэтому бросай писать стихи». У меня в одно ухо влетело, а в другое вылетело. Я сейчас пишу мемуары, и недавно написала: «Все равно я ему благодарна за штудии – мы ходили в его семинар. Но попался бы он сейчас феминисткам каким-то, они бы ему оторвали вообще все места и сказали бы: «А почему ты себе позволил быть Самойловым после Пушкина и Пастернака?» Понимаете, это еще мужской такой вот шовинизм... И много чего мне говорили. Но я знала свое и шла своей... А у Юры... он очень зависел... Это как у Пушкина: «хулу и похвалу приемли равнодушно». Он и хулу и похвалу равнодушно принимал. От хвалы он перевозбуждался, от хулы он куда-то опускался.

Причем я бы сказала, это бывало по-разному, правда. Когда он был силен духом, он был на высоте той мысли, что это все – ерунда и преходящее, но когда ему не хватало энергии жизненной...

А у него видимо были такие перепады...

...тут он становился настолько раним безумно и чувствителен и к хуле, и к похвале. Действительно.

Да. Ну это как раз мне тоже очень знакомо, потому что у меня у самой такое синусоидальное психическое устройство, что когда я на пике, мне кажется, что я лучше всех во всех отношениях, а потом через два дня у меня может быть абсолютно нулевая самооценка, и у нас с Юрой... я очень его понимаю... Короче, он поэтому мне принес эту свою прозу «Суер-Выер». А я просто ему сказала: «Как тебе не стыдно, что ты сомневаешься. Это высочайший уровень».

А скажите, в чем были его сомнения? Я застала период, когда он читал эти главы. Он их писал и читал, и это все рождалось на моих глазах. И, конечно, восторг был полный, приятие было полнейшим.

От кого?

От слушателей.

А кто эти были слушатели?

Это были все, кто угодно. Он читал всем.

Нет, ну там были профессиональные писатели? Или он больше читал все-таки художникам...

Пожалуй, больше все-таки разным другим людям, не писателям.

Ну, не то что это какой-нибудь Битов или Искандер?

Нет-нет, при мне такого не происходило. Возможно, он читал кому-то из них отдельно.

Не уверена. Он читал, ну там журналистам... ну, мы знаем его круг. Он мне сказал, что чуть ли не «я тебе первой из литераторов даю полностью». И он настолько сомневался!

Мне интересно, что он при этом говорил? Читки шли «на ура» и они стали стилем его жизни в это время, особенно первых глав.

А вы как раз тогда... это какие годы?

Я думаю, что это, наверное, 88-й, 89-й, примерно так.

Ну это как раз, когда мы абсолютно потеряли друг друга, поэтому я тогда его образ жизни не знаю, его круг. И он, видимо, тогда как-то отошел от круга литераторов... А тут он хотел вернуться в большую литературу. Детская – это у него отдельно было. Ну, он сомневался, он говорил, что, во-первых, это очень долго писал, чуть ли не тридцать лет, и «я как-то не уверен». Он, потом, знаете, почему еще не очень был уверен. Он при всей его начитанности был человеком очень неровно начитанным. Он был очень образован в разных сферах, и иногда неожиданно – в музыке, в живописи, а в литературе у него какими-то урывками, а вот, например, современную прозу он не очень хорошо знал. Всякие направления... Может быть, он в этом как-то был не уверен.

То есть он сомневался – хотел войти, а не очень знал, ВО ЧТО он входит.

Да, во что он входит – там же тоже какие-то образования.

Потому что он, конечно, был ориентирован на классику...

А в XX веке – на продолжение классики. Какой-нибудь Бунин, Пришвин.

И, в частности, про «Суера-Вьера» – он же очень себя привязывал к традициям гоголевским и свифтовским. Раблезианство тоже было его любимой темой.

Ну, это я всегда говорила о нем... Как-то по телевизору Шаталов его книжку показывал, и как раз тогда он меня пригласил на передачу и мы о Ковале говорили. А до этого показывал книжку Гоголя, очень красивое новое издание. И он говорит: «А тебе не кажется, что Коваль вышел из Гоголя?» Я говорю: «Безусловно, и сам этого не скрывал». А потом я это по телефону говорю Наташе, а она мне: «Ну, конечно, у него даже был свой глагол – поноздrevствовать, я ему часто говорила: «Кончай ноздревствовать»». Да, от фамилии Ноздрева. И когда она это сказала, я даже перечитала главу о Ноздреве, у нас в школе всегда говорят, что это отрицательный герой, Ноздрев – пьяница, картежник, врун. А это же светлейший герой, он оптимист, он всех любит, он просто хвалится...

Он фонтан жизни.

Это такой сгусток энергии, фонтанирующий.

Причем он хочет всех приобщить к тому, чем сам занят, чем он увлечен.

Он людей хочет как-то подружить, поэтому он немножко врет, чтобы как бы рекламу сделать своим... И, действительно, я поняла, что в Юре очень много от Ноздрева. Ну не в самом Юре, а в образе автора, в его интонации, очень много ноздревского, в лучшем смысле слова. И, видимо, у него была робость, правильно вы сказали, что он куда-то входил и не совсем знал, куда. И он меня выбрал, кроме общей любви и симпатии, еще и как человека, который внутри этого литературного процесса, это ему было очень важно... А то вдруг окажется, как бывает, – он полез с чем-то, что давно уже прошли. Как один человек говорит в таких случаях, мне очень нравится: «Когда ты шел туда, мы уже шли обратно».

Интересно, как бы он отнесся к слову «тусовка», теперь модному. Ужасное слово.

Я думаю, он бы не любил это слово, он вообще не любил такие слова, какие-то захватанные, которые все употребляют, он любил слова или старые, или странные, или которые он сам как-то повернул новой гранью.

С каким-то свежим смыслом.

Да, свежие слова, а такой жаргон – это, в принципе, захватанные словечки.

Вот я и думаю, что он по-человечески, наверное, был, действительно, очень ранимым и он боялся в те времена, а сейчас я могу себе представить, как он боялся бы этой «взрослой» литературной тусовки. Вокруг детской литературы собрались люди, которые все-таки были более щепетильны, что ли...

Ой, Ирочка, там были жуткие акулы и крокодилы...

Разные, да. Это понятно. Но все-таки: детские библиотеки, встречи с детьми... Это все было как-то чище, проще.

Да. Там были сами дети, потом там учителя – это очень светлые люди, бескорыстные... А тот же X, или Y, они более даже хваткие, чем взрослые писатели. А Z?! Как раз в детской литературе писатели часто жуткие такие «хваты».

Наверное, у каждого будет своя версия, почему он с трудом себя вписывал вот в эти «взрослые» тусовки. Не был до конца уверен в себе. По-моему, ему хотелось быть звездой...

А звездой он мог быть только... вот у него была своя такая тепленькая, уже обжитая, обдышанная ниша. Он мог жить только в каком-то небольшом очень теплом пространстве, где его принимали таким, как есть. Он человек был очень ранимый, очень самолюбивый. Ему нужна была атмосфера какого-то обожания, но при этом обожания непошлого...

Дмитрий БАЙДАК родился в 1966 году в Перми. После десятилетки отслужил в армии и поступил в местный университет, на юрфак. Откуда ушел через год. Провел полгода на историческом факультете. Работал на разных работах. Репатриировался в 1993 году. Стихи пишет с 1989 года. Публиковался в коллективном сборнике ОДЕКАЛ (Общество детей капитана Лебядкина, в коем состоит по настоящее время в качестве зарубежного брата) и, уже после отъезда в Израиль, – в альманахе ОДЕКАЛА «Штоф». Автор книги стихов «Ветер полнолуния» (1999). Живет в Ришон-Леционе.

Татьяна БЕК (1949, Москва – 2005, Москва). Поэт, литературовед. Окончила МГУ. Автор нескольких сборников стихов (первый, «Скворешники», вышел в 1974 году) и многочисленных статей о современной русской поэзии. Составитель и комментатор книги «Антология акмеизма» (1997). Работала в журнале «Вопросы литературы» и др. В течение многих лет вела поэтический семинар в Литинституте.

В «ИЖ» опубликована ее беседа с Дмитрием Сухаревым (№ 11) и эссе «Центральный защитник» (№ 14-15).

Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯ родилась в 1986 году в Белгороде. Студентка Московского Педагогического Госуниверситета. В 2002 году в Суздале, будучи еще школьницей, занималась в мастер-классе, который вела для юных поэтов Татьяна Бек.

Илья БЕРКОВИЧ родился 1960 году в Ленинграде. Репатриировался в 1990 году. Автор книги «Стихотворения» (1990). Живет в Кирьят-Арбе. В «ИЖ» опубликованы его рассказы (№ 5) и повесть «Свобода» (№ 14-15).

Марина БОРОДИЦКАЯ родилась и живет в Москве. Окончила МГПИИЯ им. Тореца. Перевела стихи Алана Гарнера, Редьярда Киплинга, Дороти Паркер, Джеймса Стивенса, Джеффри Чосера и многих других английских и американских поэтов. Автор многочисленных детских книжек – оригинальных и переводных, а также сборников стихов «Я раздеваю солдата» (1994), «Одинокое катание» (1999), «Год лошади» (2002). Стихи и переводы М. Б. включены в антологии «Строфы века» и «Строфы века – 2». В «ИЖ» (№ 13) опубликована подборка ее стихов «Умение укладывать чемодан».

Михаил БЯЛЬСКИЙ родился в 1952 году в Черновцах. Окончил мехмат Саратовского университета (1974). В 1977 году переехал в Ташкент. Репатриировался в 1990 году. Живет в Иерусалиме. Преполагает математику в Иерусалимском университете. Один из организаторов Чимганских фестивалей авторской песни и творческого объединения «Иерусалимская антология». В литературной периодике публикуется впервые.

Борис БОРУХОВ родился в 1957 году в Саратове. Кандидат филологических наук. Автор статей по поэтике, стилистике, эстетике, философии. Переводил стихи Рильке, Гессе, Валери. Репатриировался в 1995 году. Перевел с иврита Давида Гроссмана, Амоса Кенана, Арье Марка и других израильских писателей. В переводах **Б. Б.** в Москве в 2004 году вышла книга избранных произведений Хануха Левина «Сотворение мира за счет ограничения пространства, занимаемого богом». Живет в Иерусалиме. Работает в области компьютерной техники. В «ИЖ» опубликованы его эссе и переводы из Хануха Левина «Аппендицит без наркоза» (№ 11); переводы из Эдгара Керета и Авнера Ротенберга (№ 12), Еудит Гендель (№ 4-15).

Ури Цви ГРИНБЕРГ (1896, Белый Камень, Австро-Венгрия, ныне Львовская обл., Украина – 1981, Тель-Авив), выдающийся израильский поэт и публицист. Писал на идише и на иврите. Репатриировался в 1924 году. Один из страстных глашатаев идей ревизионистского движения в сионизме, депутат Кнессета первого созыва от партии «Херут», участник движения за неделимую Эрец-Исраэль. Разрабатывал свободную форму стиха, основанную на библейских текстах и средневековой ашкеназской поэзии на иврите. Лауреат премии им. Бялика (1947, 1957) и Государственной премии Израиля (1957).

В «ИЖ» стихи поэта опубликованы в №№ 13, 16.

Дом наследия У. Ц. Гринберга, расположенный в Иерусалиме (ул. Яффо, 34), ежегодно проводит поэтические фестивали памяти поэта; здесь регулярно проходят семинары Мастерской поэтического перевода и заседания литературного клуба «ИЖ».

Тамара ЖИРМУНСКАЯ родилась в Москве. Окончила Литинститут им. Горького. Автор девяти книг стихов и прозы. За книгу «Короткая пробежка» (М. «Грааль», 2001) получила премию СП Москвы «Венец». В настоящее время живет в Мюнхене.

В «ИЖ» № 12 опубликовано ее рецензия на книгу стихов Дмитрия Сухарева «Холмы».

Михаил КНИЖНИК родился в 1961 году в Запорожье. Жил в Ташкенте. Печатался в журналах «Знамя», «Дружба народов» и др. Автор сборника стихов «Готовальня» (1991). Репатриировался в 1995 году. Живет в поселении Цур-Адасса.

Аркадий Ф. КОГАН родился в 1952 году в Харькове. Репатриировался в 1995 году. По образованию – математик. Занимается преподаванием математики и психологией. Живет в Безр-Шеве.

В «ИЖ» опубликованы его рассказы «В степях под Херсоном» (№ 7) и «Ослы и люди» (№ 9).

Галина КЛИМОВА живет в Москве, автор нескольких сборников стихов, составитель антологии «Московская муза. XVII-XXI», ведущая одноименного цикла литературно-музыкальных вечеров.

Хава Браха КОРЗАКОВА родилась в Ленинграде в 1969 году, училась в Ленинградском университете на кафедре классической филологии. Репатриировалась в 1991 году. Преподает в Университете им. Бар-Илана. Живет в Кирьят-Арбе. Автор поэтических книг «Камни оникса» (1993, иврит), «Анабайно» (1994, русский язык), «На краю Луны» (1996, иврит; премия Министерства образования), «Полосатая рубашка» (1998, иврит; премия премьер-министра), «Закрытое море» (2002, иврит). В «ИЖ» № 1 опубликована статья **Х. К.** «Загадка 20-го псалма».

Григорий КРУЖКОВ родился в 1945 году в Москве. Окончил физфак Томского ун-та (1971) и аспирантуру Колумбийского ун-та (2001). Доктор философии (1998). Работал в журнале «Огонек» (1992-94), преподавал в Колумбийском университете (США; 1996-1998). Преподает в РГГУ. Автор нескольких книг лирики и книг для детей, сборника эссе и многочисленных сборников переводов. Перевел стихи французских (П. Ронсар, А. Шенье, Т. Готье, А. Рембо и др.), английских (У. Шекспир, Д. Донн, У. Вордсворт, Китс, Р. Киплинг, У. Б. Йейтс, Р. Фрост и др.) и ирландских поэтов. Почетный диплом Всемирного совета по детской книге (1996). Живет в Москве.

Владимир ЛАНЦБЕРГ родился в 1948 году в Саратове. Окончил Политехнический институт (1971), работал инженером-механиком. Основатель Саратовского КСП «Дорога» (1974). Лауреат многих фестивалей авторской песни (в т. ч. четырежды – Грушинского). В 1979 году переехал в Туапсе, затем – в расположенный неподалеку поселок Тюменский, затем в Москву. Много лет работал в области неформального образования. Создатель детских коммунарских клубов, руководитель конкурсов-мастерских «Второй Канал Грушинского фестиваля» и других. По собственному определению – «профессиональный философедист». Автор сборника стихов и песен «Условный знак» (1996), а также ряда работ в области педагогики и социальной психологии. С 2003 года проживает в Нюрнберге (Германия).

Арон ЛИПОВЕЦКИЙ родился в 1954 году в Оренбурге. Жил в Свердловске. Математик-прикладник (Ph.D., 1983). Репатриировался в 1992 году. Стихи печатались в журналах «Арион», «Вестник Европы», «22», «Урал», «МИКС» и др., включены в «Антологию русского верлибра» (сост. К. Джангиров, М., 1991). Автор книги стихов «Отчеркнутое ногтем» (Иерусалим, 2003). Дипломант поэтического фестиваля памяти У. Ц. Гринберга (2004). Живет в Ришон-ле-Ционе.

Мария МАКАРОВА родилась в 1980 году в Москве. В 9 лет проиллюстрировала книжку матери – Лены Макаровой «Вначале было детство». Репатриировалась с родителями в 1990 году. В Израиле продолжала рисовать. Переехав из Иерусалима в Телль-Авив, стала популярной личностью в квартале Флорентин,

где написала массу вывесок магазинов и кафе и занималась рисованием с проблемными детьми. Последние годы делает декорации для кино и телевидения и путешествует по странам Азии.

Федор МАКАРОВ родился в Москве в 1975 году. Репатриировался с родителями в 1990 году. Перевел на иврит произведения Н. Заболоцкого, Д. Хармса, С. Курилова, Д. Рубиной и др. Поступил на философский факультет Иерусалимского университета; окончил, однако, театральную школу, после чего отдался клоунаде. С 2002 года играет в труппе полунинского «Снежного шоу», последние полгода – на Бродвее. Пишет музыку, танцует, рисует, переводит... Живет в Иерусалиме.

Светлана МЕНДЕЛЕВА родилась в 1961 году в Москве. Окончила Московский Нефтяной Институт (МИНХ и ГП). Репатриировалась с семьей в 1991 году. Автор книги стихов «Дорога домой» (2004). Выпустила 4 диска песен в авторском исполнении: «Там лучше, где мы есть» (2000), «Дорога домой» (2002), «На дереве моём...» (2003) и «Кофе с молоком» (2004). Живёт в Петах-Тикве.

Дан ОРЬЯН родился в 1966 году в Иерусалиме. Окончил Еврейский университет (Иерусалим, 1991) и курсы Дипломатической академии России (Москва, 1994). По возвращении из России, где Д. О. находился несколько лет в качестве атташе по вопросам культуры, работает в МИДе. Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликован его рассказ «Соревнования, конкурсы...» (№ 7).

Виктория РАЙХЕР родилась в 1974 году в Москве. Репатриировалась в 1990 году. Окончила Иерусалимский университет и университет «Лесли» (Бостон). Занимается психологией. Публиковалась в литературной периодике, в сборниках «Русские инородные сказки» (тт. 1, 2), «ПрозаК» и др. Живет в Текоа.

Эдуард РОЗЕНШТЕЙН родился в Киеве в 1973 году. Репатриировался в 1997 году. Живет, учится и работает в Иерусалиме. Публикуется впервые.

Ирина СКУРИДИНА (Волкова) родилась в 1962 году в Москве. Выпускница филфака МГУ (1987), несколько лет работала литературным секретарем Юрия Коваля. Печаталась с 1986 года в разных газетах и журналах нескольких стран, а также в словарях «Русские писатели. XIX век» («Просвещение», 1990, 1996) и «Русские писатели 20 века» («Большая Российская энциклопедия», 2000). Живет в Москве.

Дмитрий СУХАРЕВ (САХАРОВ) родился в 1930 году в Ташкенте. С детских лет живет в Москве. Автор нескольких поэтических сборников. Составитель «Антологии авторской песни» (2002). Лауреат премии им. Андрея Синявского (2000), россий-

ской Государственной премии им. Булата Окуджавы (2001), премии Союза писателей Москвы «Венец» (2005).

В «ИЖ» опубликованы его эссе «Последний день Юрия Визбора», «Формула сплава», «Переделкинские посиделки» (№№ 3, 11, 13), подборка стихов «Слова, запасенные впрок» (№ 7), беседа с Татьяной Бек «Другой имеет право быть другим» (№ 11), проза «Венок сонетов» (№14-15).

В 2001 году в «Библиотеке Иерусалимского журнала» вышла книга новых стихов и песен **Д. С. «Холмы»**.

Алекс ТАРН (Тарновицкий) родился в 1955 году в Арсеньеве (Приморский край). С детства жил в Ленинграде. Репатриировался в 1989 году. Автор книги стихов «Антиблок» (1991). Живет в поселении Бейт-Арье в Самарии. Техник по счетным машинам.

В «ИЖ» опубликованы эссе **А. Т.** «Сумерки идеологий» (№ 14-15) и роман «Протоколы сионских мудрецов» (№ 16).

Рахель ТОРПУСМАН родилась в 1970 году в Подмосковье. Репатриировалась в 1988 году. Окончила Иерусалимский университет по специальности «Лингвистика и античная филология». Издала книгу переводов Катулла (2001). В 2003 году в ее переводе вышла книга Яакова Хисдая «Смутное время: Израиль после 1973 года».

Лауреат поэтических фестивалей памяти У. Ц. Гринберга (2003, 2004). Стихи поэта в переводе **Р. Т.** опубликованы в «ИЖ» (№№ 13, 16). Живет в Кирьят-Арбе.

Михаил ФЕЛЬДМАН родился в 1964 году в Москве. Там же закончил МАДИ. В 1991 году репатриировался в Израиль. Лауреат израильских конкурсов авторской песни. В 2003 году выпустил книгу «Со среды на пятницу», куда вошли песни, стихи и палиндромы. Произведения **М. Ф.** включены в «Антологию авторской песни» («У-Фактория», 2002). Живет в Безр-Шеве.

В «ИЖ» № 6 опубликована подборка текстов его песен «По мысли режиссера».

Мария ФАЛИКМАН родилась в 1976 году в Новомосковске (Тульская область). Окончила факультет психологии Московского Университета. Автор книги стихов «Mezzo Forte» (2001). Живет и работает в Москве.

В «ИЖ» № 7 опубликована подборка ее стихов «Не сейчас».

Мири ЯНИКОВА родилась в 1958 году в Москве. Окончила МИИТ по специальности «Прикладная математика». Репатриировалась в 1985 году. Работала программистом, вебдизайнером, переводчиком, журналистом, издателем... Печаталась в израильской периодике, выпустила книгу переводов поэтессы Рахели. Живет в Петах-Тикве.

СОДЕРЖАНИЕ

УЛИЦА СТРАНЫ ВОЖДЕЛЕННОЙ

УРИ ЦВИ ГРИНБЕРГ. Ужас пророчества. *Стихи.*

Перевели с иврита Рахель Торпусман, Мири Яникова 3

УРИ ЦВИ ГРИНБЕРГ. Манифест. *Перевел с идиша Велвл Чернин* 7

УРИ ЦВИ ГРИНБЕРГ. Из прозы 1918 года.

Перевел с идиша Велвл Чернин 9

АРОН ЛИПОВЕЦКИЙ. Кружение ветра. *Стихи* 13

ШХЕМСКИЕ ВОРОТА

АЛЕКС ТАРН. Иона. *Роман* 15

ДОРОГА НА ХЕВРОН

ХАВА КОРЗАКОВА. Песни Мирры. *Стихи* 136

ИЛЬЯ БЕРКОВИЧ. Народ книги. *Рассказ* 143

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

ЭДУАРД РОЗЕНШТЕЙН. Там, по радио, между станциями. *Стихи* 156

ВИКТОРИЯ РАЙХЕР. От сумы, от тюрьмы... *Рассказ* 163

МИХАИЛ КНИЖНИК. Самая малость. *Стихи* 173

ДАН ОРЬЯН. Волшебная палочка Тома. *Рассказ.*

Перевела с иврита Светлана Шенбрунн 175

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

ДМИТРИЙ БАЙДАК. Из книги «Земля тверда». *Стихи* 181

УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

МАРИЯ МАКАРОВА. Линейка 185

ФЕДОР МАКАРОВ. Из дневника 191

СИОНСКИЕ ВОРОТА

АРКАДИЙ КОГАН. Клоны и спермоны.

Отрывки из романа-дайджеста 200

ПАРК САКЕР

МИХАИЛ ФЕЛЬДМАН. Восьмое марта. *Текст песни* 215

МИХАИЛ БЯЛЬСКИЙ, ВЛАДИМИР ЛАНЦБЕРГ. Начало «Дороги» 216

СВЕТЛАНА МЕНДЕЛЕВА. В ритме прибоя. *Тексты песен* 235

ПОДЗОРНАЯ ГОРА

БОРИС БОРУХОВ. Между филином и пилигримом 239

РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

МАРИЯ ФАЛИКМАН. Сосны. *Стихи* 247

ДАВИД МАРКИШ. История с географией 250

МИХАИЛ КИЦИС. Два стихотворения 252

ХОЛМ ПАМЯТИ

ДМИРИЙ СУХАРЕВ. «Я была вам хорошим товарищем» 254

ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА. Твой дом 256

ТАМАРА ЖИРМУНСКАЯ. Последняя встреча 257

ЕКАТЕРИНА БЕРЕЗОВСКАЯ. Вдогонку 260

ГАЛИНА КЛИМОВА. Памяти Татьяны Бек 262

ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ. Отпевание 263

МАРИНА БОРОДИЦКАЯ. Песенка анакреонтическая 264

ИРИНА СКУРИДИНА. «Бескорыстного поиска путь...» 265

ТАТЬЯНА БЕК. «Я и сейчас считаю, что он был гений» 269

ИМЕНА

Авторы и персонажи 277

Подписку на журнал можно оформить,
прислав свои почтовые координаты и чек на имя

Jerusalem Anthologia

по адресу:

Jerusalem Literary Review,

P. O. Box 32297, Jerusalem 91322

Стоимость годовой подписки (4 номера):

В Израиле – 128 шекелей, включая пересылку
В странах Западной Европы и Северной Америки –
\$64 США, включая пересылку

Стоимость одного журнала:

В Израиле – 40 шекелей, включая пересылку.
В странах Западной Европы и Северной Америки –
\$18 США, включая пересылку

«Иерусалимская Антология» благодарит

Татьяну Азиз-Лившиц (Иерусалим), Бориса Александрова (Москва),
Михаэля Бар-Шалева (Иерусалим), Александра Блинштейна
(Чикаго), Хила Бродского (Чикаго), Лину Виленскую (Кфар-Адумим),
Инну Винярскую (Текоа), Татьяну Гольдмахер (Чикаго), Андрея
Грицмана (Нью-Джерси), Игоря Грызлова (Москва), Игоря Губермана
(Иерусалим), Вита Гуткина (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер
(Бостон), Александра Дова (Петах-Тиква), Владимира Друка
(Нью-Йорк), Лорину Дымову (Иерусалим), Василия Емельянова
(Иерусалим), Марка Камцана (Петах-Тиква), Григория Кановича
(Бат-Ям), Дмитрия Кимельфельда (Иерусалим), Ефима Котляра
(Чикаго), Аркадия Красильщикова (Холон), Вадима Левина
(Марбург), Якова Лаха (Безр-Шева), Якова Лившица (Иерусалим),
Виктора Луферова (Москва), Бориса Мафцира (Иерусалим), Марину
Меламед (Иерусалим), Светлану и Александра Менделевых
(Петах-Тиква), Йосефа Менделевича (Иерусалим), Давида Маркиша
(Ор-Еуда), Ренату Муху (Безр-Шева), Генриха Небольсина
(Иерусалим), Бориса Привина (Иерусалим), Алекса Резникова
(Иерусалим), Зезва Султановича (Иерусалим), Дмитрия Сухарева
(Москва), Семена Сушанского (Иерусалим), Игоря Цесарского
(Чикаго), Михаила Фельдмана (Безр-Шева), Михаила Финкеля
(Петах-Тиква), Ехизля Фишзона (Нокдим), Владимира Фромера
(Иерусалим), Павла Хмару (Москва), Наума Шаца (Иерусалим),
Михаила Щербакова (Москва), Клару Эльберт (Иерусалим),
Асара Эппеля (Москва)
за поддержку журнала.

***Любые советы, предложения, а также пожертвования
будут приняты с благодарностью***

Наш счет – 215502 в отделении 585 (Гило), банк Апоалим
Our Account – 215502, Branch 585 (Gilo), Bank Apolalim

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»



В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»

в 1999 – 2004 годах вышли книги:

Дина РУБИНА. «Высокая вода венецианцев»

Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ. «Стена в пустыне»

Юлий КИМ. «Путешествие к маяку»

Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА. «Иерусалимские картинки» (1, 2)

Наум БАСОВСКИЙ. «Полнозвучие», «Об осени духа и слова»

Илья БОКШТЕЙН. «Быть я любимым хотел», «Говорит звезда с луной»,
«Авангардист на крышу вышел»

Дмитрий СУХАРЕВ. «Холмы»

Игорь ГУБЕРМАН. «Книга странствий», «Гарики предпоследние»,
«Гарики из Атлантиды»

«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»

(27 израильских художников в специальном цветном выпуске «ИЖ»)

Григорий КАНОВИЧ. «Лики во тьме»

Марк ВЕЙЦМАН. «Третья попытка»

Самуил ШВАРЦБАНД. «Схолии»

Марина МЕЛАМЕД. «Перекресток желаний»

Зинаида ПАЛВАНОВА. «Счастье без прикрас»

Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ. «Времена речи»

Александр КРЕСТИНСКИЙ. «Дорога на Яффо»

Алекс РЕЗНИКОВ. «Иерусалим: улицы в лицах» (книга вторая),
«Иерусалимский след» (книга вторая)

«ИЕРУСАЛИМСКИЙ АЛЬБОМ» (первый выпуск)

*Диск с новыми песнями Александра ДОВА (Медведевко), Юлия КИМА,
Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА, Марины МЕЛАМЕД и Михаила ФЕЛЬДМАНА*

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

Стихи Йоны ВОЛАХ в переводе Ольги РОГАЧЁВОЙ, новая книга стихов
Владимира ДРУКА, новая книга Феликса КРИВИНА, новая книга стихов
Владимира ФРЕНКЕЛЯ, новая книга стихов Сусанны ЧЕРНОБРОВОЙ

JERUSALEM ANTHOLOGIA – www.antho.net

Музей современных израильских художников

Смотрите коллекции работ Александра Адонина, Анатолия Баратынского,
Леонида Балаклава, Лиоры Барштейн, Николая Беззубова, Эллы Биншток,

Леи Зарембо, Гарика Зильбермана, Бориса Караванова, Бориса
Карафелова, Бориса Кинкулькина, Вениамина Клецеля, Григория Козлета,

Эммануила Липкинда, Ителлы Мастбаум, Михаила Моргенштерна, Бориса
Лекаря, Иосифа Островского, Зелия Смехова, Сергея Теряева, Юлии

Сегаль, Якова Фельдмана, Давида Ханана, Юлии Шульман,

Сусанны Чернобровой, Михаила Яхилевича

и других мастеров искусства

CONTENTS

DESIRED LAND STREET

URI ZWI GREENBERG. Horror of prophecy

Translated from Hebrew by Rachel Torpusman and Mini Yanikova

URI ZWI GREENBERG. Proclamation

Translated from Yiddish by Velvl Chernin

URI ZWI GREENBERG. From the prose of 1918

Translated from Yiddish by Velvl Chernin

ARON LIPOVETSKY. Whirl blast

SHKHEM GATE

ALEX TARN. Jonah. Novel

HEBRON ROAD

CHAVA KORZAKOVA. Songs of Mirrah. Poems

ILIYA BERKOVICH. People of the Book. Short story

LION GATE

EDWARD ROZENSTEIN. From one radio station to another... Poems

VICTORIA RAICHER. No fence against the flail... Short story

MICHAEL KNIZHNIK. A trifle. Poems

DAN ORYAN. Tom's magic wand. Short story

Translated from Hebrew by Svetlana Schoenbrunn

JAFFA GATE

DMITRY BAYDAK. From the book "The firm land". Poems

ZION GATE

ARKADY KOGAN. Clones and spermones

Chapters from a digest novel

BETZALEL STREET

MARIA MAKAROVA. The ruler

FEDOR MAKAROV. Notes from the daybook

SAKER GARDEN

MICHAEL FELDMAN. The eighth of March. Lyrics

MICHAEL BYALSKY, VLADIMIR LANTSBERG. The beginning of "The Road"

SVETLANA MENDELEVA. In the rhythm of surf. Lyrics

MOUNT SCOPUS

BORIS BORUKHOV. Between an eagle-owl and a pilgrim

RUSSIAN COMPOUND

MARIA FALIKMAN. Pines. Poems

DAVID MARKISH. Some story about geography

MICHAEL KITSIS. Two poems

MEMORY HILL

DMITRY SUKHAREV. "I was a good friend to you all..."

ZINAIDA PALVANOV. Your home

TAMARA ZHIRMUNSKAYA. The last meeting

EKATERINA BEREZOVSKAYA. Calling after you

GALINA KLIMOVA. In memory of Tatiana Bek

GREGORY KRUSHKOV. Burial service

MARINA BORODITSKAYA. Anacreontic song

IRINA SKURIDINA. "On the road of disinterested search..."

TATIANA BEK. I still consider that he was a genius

NAMES

Authors and characters

JERUSALEM LITERARY REVIEW, # 19, 2005

MODERN ISRAELI LITERATURE IN RUSSIAN

Internet version: www.antho.net/jr

Israel Union of Writers in Russian
Jerusalem Anthologia Association

Editorial Board: **Igor Byalsky** (Editor-in-Chief),
Velvi Chernin, **Elena Ignatova**, **Yuly Kim**, **Zinaida Palvanova**,
Dina Rubina, **Svetlana Schoenbrunn**, **Roman Timenchik**

Executive Secretary: **Leonid Levinson**

Graphic Designer: **Susanna Chernobrova**

Web Designer: **Karina Pasternak**

Assistants Editors and Correctors: **Binah Smekhova**, **Lyuba Leibzon**

Administrative and technical support: **Olga Aksyutina**, **Boris Bronshtein**,
Daniel Burshtein, **Michael Byalsky**, **Victor Gopman**, **Gregory Gordin**,
Svetlana Moiber

SCOPUS Publishing House

Print: **TSUR OT**

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2005. All rights reserved
Copyrights for publications belong to the Authors

ISSN 1565-1347

Address: P. O. Box 32297, Jerusalem 91322, Israel

E-mail: review@antho.net

Phone: 972-2-6720025; 972-2-6434005; 972-2-6451288; Fax: 972-2-6716184

Jerusalem Review Representatives:

in Moscow: **Igor Gryzlov** – 7-095-5507747; igorgri@dol.ru
Victor Indenbaum – 7-095- 9157178; sifria@mail.ru

in Novosibirsk: **Vladimir Bolotin** – 7-3832-329944; bolotin55@mail.ru

in New York: **Andrey Gritsman** – 1-201-2250090; agritsman@msn.com
Rita Balmina – rita_balmin@yahoo.com

in Chicago: **Alexander Blinsein** – 1-847-6761134; masis1@home.com
Yefim Kotlyar – 1-847-5819304; YefimK@aol.com

In Boston: **Tanya Goldmakher** – 1-508-8819355; tgoldmakher@hotmail.com

in Paris: **Vladimir Smekhov** – 331-46029978; vladimir.smekhov@free.fr

in Toronto: **Ilia Lipes** – lipes@idirect.com

תוכן העניינים:

רחוב ארץ חפץ

אורי צבי גרינברג. במורא הנבואה – שירים
מעברית – רחל טורפוסמן ומירי יאניקובה
אורי צבי גרינברג. מנשר. מיידיש – וולוול תשרנין
אורי צבי גרינברג. מתוך פרוזה משנת 1918. מיידיש – וולוול צ'רנין
אהרון ליפובצקי. סחרור הרוח – שירים

שער שכס

אלכס טארן. יונה – רומן

דרך חברון

חוה קורזקובה. שירי מירה
אליהו ברקוביץ'. עם הספר – סיפור

שער האריות

אדוארד רוזנשטיין. שם, ברדיו, בין התחנות – שירים
וויקטוריה רייכר. מקיבוץ הנדבות, מבית סוהר – סיפור
מיכאל קניזניק. הפחות ביותר – שירים
דן אורין. מקל הקסמים של תום. מעברית – סבטלנה שנברון

שער יפו

דמיטרי ביידק. מתוך הספר "האדמה קשה" – שירים

שער ציון

ארקדי קוגן. משובטים ומזורעים – פרקים מתוך רומן

רחוב בצלאל

מריה מקרובה. סרגל
פיודור מקרוב. מתוך היומן

גן סאקר

מיכאל פלדמן. השמיני במרץ – מילות השיר
מיכאל ביאלסקי, וולדימיר לנצברג. תחילתה של "הדרך"
סבטלנה מנדלייבה. בקצב הגלים – מילות השירים

הר הצופים

בוריס בורוכוב. בין אוח לצליין

מגרש הרוסים

מריה פליקמן. אורנים – שירים
דוד מרקיש. מעשה בגיאוגרפיה
מיכאל קיציס. שני שירים

הר הזיכרון

דמיטרי סוחרב. "הייתי לכם ידידה טובה"
זינאידה פלבנובה. ביתך
תמר זיירמונסקאיה. הפגישה האחרונה
יקטרינה בריזובסקאיה. אחריה
גלינה קלימובה. לזכרה של טטיאנה בק
גריגורי קרוז'קוב. הספד
מריה בורודיצקאיה. שיר אנאקריאונטי
אירנה סקורידינה. "שביל חיפוש בלתי אנוכי..."
טאטיאנה בק. גם עכשיו אני רואה בו גאון

שמות

יוצרים ודמויות

ספרות ישראלית בשפה הרוסית

רבעון אמנותי

אגודת הסופרים כותבי רוסית במדינת ישראל
עמותת "אנתולוגיה ירושלמית"

מערכת :

איגור ביאלסקי (עורך ראשי),
הלנה איגנטובה, רומן טימנצ'יק, יולי קים,
זינאידה פלבנובה, וולוול טשרנין, דינה רובינה, סבטלנה שנברון
מזכיר – לאוניד לוינזון
ציירת – סוסנה צ'רנוברובה
עיצוב באיטרנט – קרינה פסטרנק
עריכה והגהה – בינה סמחובה, לובה ליבזון
תמיכה לוגיסטית וטכנית – אולגה אקסיוטינה,
מיכאל ביאלסקי, דניאל בורשטיין, בוריס ברונשטיין,
ויקטור גופמן, גריגורי גורדין, לינה וילנסקי,
סבטלנה מויבר, אנטון מוכין, אילן ריס, בוריס שטיין

הוצאה לאור: "סקופוס" הדפסה: דפוס "צור-אות"

בתמיכת



מועצת הפיס
לתרבות ולאמנות



משרד המשפטים,
הועדה הציבורית לקביעת
ייעודם של עזבונו לטובת המדינה

© 2005 כל הזכויות שמורות למחברים ול"כתב-עת ירושלמי"

ISSN 1565-1347

כתובת: "כתב-עת ירושלמי" ת. ד. 32297, ירושלים 91322
טל. 02-6720025, 02-5666622, 0544-745322, 02-6451288, 02-6432962
E-mail: review@antho.net

